

ФАЛАНСТЕР

Гуидо Карпи
**ДОСТОЕВСКИЙ-
ЭКОНОМИСТ.
Очерки по
СОЦИОЛОГИИ
ЛИТЕРАТУРЫ**

ФАЛАНСТЕР
МОСКВА
2012

УДК 82(091)
ББК 83.3(2)
К 26

К 26 Карпи Г. Достоевский-экономист. Очерки по социологии литературы / Пер. с ит. Изд. 2-е, испр. — М.: Фаланстер, 2012. — 224 с.

Книга Гвидо Карпи посвящена анализу социально-экономических взглядов Достоевского и его современников, а также влиянию этих взглядов на творчество великого писателя. Гвидо Карпи — славист, профессор Пизанского университета, автор нескольких монографий по истории и социологии классической русской литературы.

ISBN 978-5-87987-067-1



Публикуется под лицензией Creative Commons.
Разрешается любое некоммерческое воспроизведение
со ссылкой на источник.

*Вирджинии,
«рыжей, не увидевшей земли»*

Содержание

Предисловие	9
Достоевский-экономист	21
«Умственная оргия». Ф.М.Достоевский и тверские либералы	133
Ф.М.Достоевский и судьбы русского дворянства (по роману «Идиот» и другим материалам)	155
Почвенничество и федерализм (А.П.Щапов и журнал «Время»)	181
Были ли славянофилы либералами?	203
«Деньги до зарезу нужны»: темы денег и агрессии в «Братьях Карамазовых» (опыт статистического анализа)	217

Предисловие

(...) реальность выражается сама; и (...) литература является не чем иным, как средством делать реальность способной к выражению самой себя, когда она физически не присутствует. То есть поэзия суть заклинание, и важно то, что заклинаяемая реальность говорит наедине с читателем так же, как говорила наедине с писателем¹.

П. П. Пазолини

0

Эта книга сложилась из работ, вызванных к жизни историко-литературным и теоретико-методологическим замыслом, основанном на представлении об исторической реальности как о единственном объекте искусства: «любое культурное творчество — одновременно индивидуальное и общественное явление; оно размещается между структурами, созданными автором, и общественной группой, в среде которой выработаны категории, определяющие сознание автора»².

Проблемы ставит история. Разумеется, определенный общественно-исторический момент не является статичным пейзажем, воспроизводимым на речевом холсте, — он представляет собой пучок разных действий, противодействий и взаимоотношений, которые находят в прошлом свои предпосылки и открываются к будущему (точнее, одновременно к многочисленным возможным бу-

1 *Pasolini P.P.* La fine dell'avanguardia (1966) // *Pasolini P.P.* Saggi sulla letteratura e sull'arte. Т. 1. Р. 1421. В примечании Пазолини продолжает: «Таким образом оправдывается общее место, согласно которому "всякий настоящий писатель — писатель-реалист". Только у некоторых писателей (например, у Толстого) подлежат выражению большие и синтетические формы реальности, поэтому их средства для заклинания — большие и синтетические (синтагматические). У других писателей (например, у Эзры Паунда) подлежат выражению специфические и темные формы реальности (или их чувства относительно реальности, которые сами являются частью реальности), поэтому они вынуждены прибегать к специфическим и темным (формальным) заклинаниям».

2 *Goldman L.* Marxisme et sciences humaines. Paris: 1970. P. 27.

дущим: нередко создателями великих произведений мысли и искусства бывают представители обойденных или побежденных групп данной эпохи). Художник не «воспроизводит» и не «отражает» историческую действительность (она динамична, противоречива и не поддается «воспроизведению»), но отбирает определенные ее явления и тенденции, чтобы переорганизовать их во вторичную структуру — произведение искусства, которое переориентирует мировоззрение определенного социального круга и содействует определению его исторической роли, его близкого будущего, объективированного в условном художественном настоящем. На международном конгрессе лингвистов в Осло в 1957 году Луи Ельмслев произнес фразу, которая может послужить эпиграфом для любого объединения социологии со структурализмом: «Вводить понятие структуры в изучение семантических фактов значит вводить в него понятие ценности (*valeur*) вместе с понятием значения (*signification*)»³. Тот факт, что сознание не отражает мир, но строит и организует его, комбинируя элементы эмпирии, рассортированные согласно ценностям (аксиологическим) критериям, хорошо понимал, например, Александр Богданов, крупнейший теоретик-марксист начала XX века⁴.

1

Сортировка может касаться элементов содержания и повествовательной структуры: «гомологией» между сюжетом и социальными структурами, определяющими жизнь писателя, занимался, например, Люсьен Гольдман в классической работе «Социология романа» (1964). На этом уровне анализа нетрудно увидеть, какое социальное мировоззрение позволило Карамзину и Пушкину создать образы и описать судьбы бедной Лизы (дочь «зажиточного поселянина», обедневшая вследствие вторжения рыночных отношений в хозяйство ее семьи и погибшая в неравном столкновении

3 *Hjelmslev L. Pour une semantique structurale // Hjelmslev L. Essais linguistiques (Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague, 12). Copenhague: 1959. P. 102.*

4 Разумеется, эстетическая и идейная ценность произведения, будучи генетически связанной с оформлением исторически определенного круга общественных вопросов, не исчезает после изменения данного исторического соотношения. Поколения потомков, правда, не видят в текстах классиков прошлого того, что в них вкладывал автор в соответствии со своей эпохой, но — сквозь цепь исторических реминесценций и ассоциаций — ищут подтверждение собственному, исторически обусловленному, видению мира. См.: *Линдбург Л.Я. Проходящие характеры. Проза военных лет. Записки блокадного человека. М.: 2011. С. 155–164.*

с городским миром) и Татьяны (мелкая дворянка, которая благодаря своим народным корням «преодолевают» блестящего, но оторванного от корней и потому бесплодного Онегина); не менее перспективен анализ того, как изображено дворянство в «Идиоте» Достоевского.

Еще один пример. Уже Лев Пумпянский заметил равнодушие Пушкина к миру провинциального города, который так интересовал Гоголя: «Губернский город — этого, действительно, в «Евгении Онегине» нет. Почему? Что произошло между 1823 и 1838 годами?»⁵ Произошло то, что рано или поздно должно было случиться: целое сословие окончательно разорилось. Пушкин представлял себе русское общество как историческое пространство, порожденное двумя активными силами: помещичьим дворянством и бюрократическим государством, то и дело вступающими в конфликт, но тем не менее неспособными обходиться друг без друга. С одной стороны — Петербург, с другой — сетка помещичьих имений: больше ничего, кроме разве Москвы, зимнего места сбора дворянства. Дворяне, изображенные в «Мертвых душах», уже не добираются до столицы, а если и добираются, то сразу же отбрасываются назад как сор (капитан Копейкин): их место сбора — губернский или уездный город, «возникшая до высшей степени пустота»⁶.

2

Более глубокие формы гомологии следует искать в поэтике, которую можно определить как «явный, ощутимый след от шва между отдельным художественным фактом и исторической — экономической, политической, юридической, культурной — обстановкой, которая его окружает и объясняет»; то есть поэтика — это «то упорядоченное членение культурных факторов и выразительных предпочтений (исторически обоснованное и обусловленное определенной ситуацией в обществе), которое готовит сюжет для того, чтобы потом на его основе разворачивалась игра живой фантазии»⁷. Сложнее всего уловить ту особую, неповторимую связь, которая раз за разом, благодаря индивидуальности конкретного автора и его «живой фантазии», преобразует реальные отношения со всеми свойственными им

5 Пумпянский Л.В. <Гоголь> // Пумпянский Л.В. Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. М.: 2000. С. 707.

6 Гоголь Н.В. Собрание сочинений. Т. 5. М.: 1994. С. 471.

7 Sapegno N. Marxismo, cultura, poesia // Rinascita. Luglio-agosto. 1945. P. 182.

противоречиями в столь же противоречивые системы знаков, облекая их в социальные плоть и кровь.

Почему в поэме «Домик в Коломне» легкий и иронический тон порой окрашивается тревожной злобой? «В поэме, — пишут два исследователя, весьма далеких от социологизма, — прорывается «аристократическая» неприязнь Пушкина к торгово-промышленной современности. Когда дело идет о вторжении рыночных отношений в литературу, тема принимает бурлескные очертания (...). Но иную, трагическую тональность обретает неприятие современности, когда новая жизнь наступает на патриархальный уклад, с разрушением которого у автора связана жгучая ностальгия»⁸. Несмотря на иллюзорную победу Татьяны, к середине 30-х годов патриархальное дворянство и его быт вымирают — соответствующие факты сам Александр Сергеевич излагает с точностью профессионального социолога в «Путешествии из Москвы в Петербург». Как и большинство деятелей его поколения, Пушкин ощущал необходимость политического и культурного возрождения России, однако в то же время не мог и не хотел связывать эти перспективы с развитием новых экономических и социальных отношений. Все его творчество (с наибольшей очевидностью в 30-е годы) представляет собой блестящую попытку изобразить происходившую историческую катастрофу, сглаживая и сублимируя (в области поэтического вымысла) ее неизбежные социальные последствия: образно выражаясь, это попытка зализать социальные раны, на которых, как корка, возникают и наслаиваются произведения искусства.

По той же самой причине (вымирание поместного дворянства) Гоголь отодвигает то «веселье», которое для него является «этической формулой, гармонически сочетающей общие понятия — стихии, народа, истории — с понятием личности»⁹, в далекое казачье прошлое, в то время как современный мир, с его точки зрения, — царство разложения: попытка положительного описания современности ведет к отказу от беллетристики и диктует переход к политэкономическому трактату (фрагменты второго тома «Мертвых душ») и квази-библейской проповеди («Выбранные места»)¹⁰.

Достоевский индифферентен и даже враждебен к вымирающему дворянству, но диалектика экономических

8 Шапир М.И. Эволюция стилей в русской поэзии от Ломоносова до Пушкина (набросок концепции) (совместно с И.А. Пильщиковым) // Шапир М.И. Статьи о Пушкине. М.: 2009.

9 Лотман Ю.М. О русской литературе. СПб.: 1997. С. 576.

10 См.: Карпи Г. Гоголь-экономист. Второй том «Мертвых душ» // Вопросы литературы. 2009. № 3.

отношений играет важнейшую роль и в его поэтике. Связь между темой денег и темой насилия (как и некоторые другие особенности поэтики Достоевского: цепь «эмблематических испытаний», превращение реальности в фантазмагорию символов-фетишей и т. д.) объяснима лишь на фоне анализа наиболее характерных черт общественно-экономического развития России в период отмены крепостного права (впрочем, черты эти характерны для всех периферийных капиталистических систем, в которых вторичная, осторожная модернизация сталкивается с комплексом по большей части архаичных отношений).

3

Стиль и язык. Родоначальник итальянского марксизма Антонио Грамши в «Тюремных тетрадах» (начало 1930-х годов) писал: «Два писателя могут представлять (выражать) один и тот же общественно-исторический момент, но один из них будет художником, а другой — простым писакой. Исчерпать вопрос голословным описанием того, что они выражают с социальной точки зрения, т. е. резюмируя более или менее удачно характерные черты определенного историко-общественного момента, означает вообще не касаться проблемы искусства»¹¹. Иными словами, необходимо ставить вопрос о «фактуре» текста: о языке как сортировке средств п е р е д а ч и смысла и о стиле как их комбинации в целях в ы р а ж е н и я смысла¹².

Неслучайно среди «исторических элементов» произведения искусства Грамши называет и «язык, понятий не только как чисто речевое выражение, которое можно зафиксировать в определенное время и в определенном месте грамматики, но как совокупность выразительных образов и способов, в грамматику не включенных»¹³: общественные представления писателя имеют решающее влияние на стилистическую организацию его текстов. Это вопрос о стиле, поставленный как вопрос социальный: тут я разделяю концепцию Луковского об «идее стиля», то есть о существовании диалектической связи между формой, содержанием и социальной сущностью как в отдельном произведении, так и в целом жанре, как в эволюции писателя, так и в развитии целого течения. «Каждый стиль имеет

11 Gramsci A. Letteratura e vita nazionale. Roma: 1996. P. 4.

12 Шапир М.И. Поэзия в ряду языков духовной культуры // Шапир М.И. Unversum versus: Язык — стих — смысл в русской поэзии XVIII—XX веков. М.: 2000. С. 10-12 (с ссылками на Л. Шлицера, Г.О. Винокура, Р.О. Якобсона и т. д.).

13 Gramsci A. Letteratura e vita nazionale. P. 25.

свою идею, сам есть, в конце концов, идея, как и каждый элемент стиля, — а каждая идея есть социальное явление и социальный поступок, есть отражение и выражение социальной судьбы и борьбы; следовательно, в самой художественной ткани произведения постараемся обнаружить его социально-историческую роль»¹⁴.

Вернемся к Гоголю. Подобно тому, как поместья и их жители концентрируются вокруг «города», также и в сказе, типичном для передачи этого мира, то и дело мелькает далекий петербургский «центр» со всеми его характерными чертами — бюрократической иерархией, глобализированной торговлей и соответствующими психическими деформациями — и со своим стилем («Положим, например, существует канцелярия, не здесь, а в тридевятом государстве, а в канцелярии, положим, существует правитель канцелярии», середина 3 главы «Мертвых душ»). «Вдруг другой язык — язык «Шинели» и пр. А так как эта сцена введена для пояснения, поясняется же что-либо через более близкое, то здесь перед нами под снятием «провинциального» слоя обнажается более глубоко лежащий «петербургский»: Гоголь пишет о провинции для столичных читателей». То же самое можно сказать о фрагменте, посвященном «господам большой руки» (начало 4 главы): «Снова обнажается дно поэмы: столица». Мелкопоместные дворяне и столичные аристократы — всегда противопоставлявшиеся в культуре от Сумарокова до Пушкина — теперь уже одинаково вырождаются экономически и нравственно; вместе с Коробочкой упоминается «сестра ее», петербургская дама, которая гоняется за модой и пренебрегает разоренными поместьями (конец 3 главы): «Снова отпадение в языковой мир петербургских повестей: переложение темы на столичное измерение, которое предполагается основным (...). Итак, под сферой смеха (провинция) лежит иная сфера (связана со столицей)»¹⁵.

По мнению Пазолини, «стиль является формой собственности или (...) привилегией, несмотря на отсутствие осознания этого факта, характерное для всякой материальной собственности или привилегии, приобретенной благодаря принадлежности к господствующему классу»¹⁶.

14 *Гуковский Г.А.* Пушкин и русские романтики. М.: 1965. С. 42.

15 *Пумпянский Л.В.* Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. М.: 2000. С. 708. Ср.: «Словечки у Гоголя — литературный рефлекс (...) в корпоративно образованной стране. Словечки — вообще суть корпоративное явление, потому что они слишком много подразумевают молча». Там же. С. 709.

16 *Pasolini P.P.* La liberta stilistica // Pasolini P.P. Saggi sulla letteratura e sull'arte. T. 1. P. 1234.

Это, безусловно, относится к итальянскому литературному языку, сложившемуся в результате чрезвычайно медленных трансформаций и принадлежавшему (по крайней мере, со времен Ренессанса) закрытой касте деятелей культуры; в значительно меньшей степени это относится к русским писателям, которые вынуждены были создать новый литературный язык в течение одного столетия (1730–1830) и поэтому охотно прибегали к сознательной социолингвистической инженерии.

Таков случай Карамзина: в конце XVIII века он моделирует собственный стиль (который будет доминировать в литературе нескольких следующих десятилетий), соответствующий представлениям и ожиданиям среднего провинциального дворянства (то же самое относится и к сюжету «Бедной Лизы»): *medietas* без шатания вверх и вниз по стилистической лестнице, кальки и конструкты с французского (воспринимаемые провинциальным дворянством как «престижные») ¹⁷. Или, например, у Пушкина — в строфе, впоследствии вычеркнутой из 8 главы «Онегина», — Татьяна описывается как реформатор салонного речевого стиля, в духе языковой политики самого Пушкина 30-х годов: переход от устаревшего карамзинского стандарта к новому «гетерогенному» сплаву, способному восстановить патриархальные связи между «истинным» поместным дворянством и народными массами ¹⁸.

4

Краткий перечень выхваченных наугад примеров не является сколько-нибудь исчерпывающим: нашей задачей в данном случае было показать некоторые перспективы герменевтики, производящей общественно-историческую

17 Полусерьезные советы Карамзина Дмитриеву показывают, что автор «Бедной Лизы» сопоставляет лексические элементы и образы, тем самым создавая/навязывая определенные модели социального поведения: «То, что не сообщает нам дурной идеи, не есть низко. Один мужик говорит *пичужечка* и *парень*: первое приятно, второе отвратительно. При первом слове воображаю себе летний день, зеленое дерево на цветущем лугу, птичье гнездо, порхающую малиновку или пеночку и спокойного селянина, который с тихим удовольствием смотрит на природу и говорит: «Вот гнездо, вот пичужечка!» При втором слове является моим мыслям дебелый мужик, который чешется неблагопристойным образом или утирает рукавом мокрые усы свои, говоря: «Ай, парень, что за квас!» Надобно признаться, что тут нет ничего интересного для души нашей» (письмо от 22 июня 1793 года). Выбор идиоматизмов указывает на различие двух противоположных социокультурных моделей крестьянина: ручной «спокойный селянин» vs «дебелый мужик», грубиян и потенциальный мятежник.

18 См.: *Гаспаров Б.М.* Поэтический язык Пушкина. СПб.: 1999. С. 59.

контекстуализацию литературного произведения. Причем не имеет значения, каким именно уровнем произведения мы будем заниматься: изучение знаковых систем без учета исторического (= социального) контекста подобно охоте за теньями; однако изучение контекста не есть самоцель: ни одно историко-социологическое обобщение не должно совершаться, пока в него не будет вложен конкретный литературоведческий смысл.

Потенциал социологического литературоведения гораздо шире тех областей, которыми я занимаюсь: от анализа взаимоотношений автора с литературным рынком и издательской инфраструктурой (А.И. Рейтблат) до изучения соучастия писателей в разработке государственной идеологии (А.Л. Зорин) и того круга общепринятых представлений («культурной гегемонии», по выражению Грамши), которые служат имплицитным оправданием той или иной политической власти. Наряду с этими направлениями историко-социологического литературоведения — и параллельно с необходимостью восстановления филологической науки (в духе Томашевского, Винокура, Гаспарова) — марксистская герменевтика отнюдь не утратила своей привлекательности и может способствовать излечению литературоведения от пустого постмодернистского солипсизма.

Возможности науки не безграничны. В заключении образцового лингвостиховедческого исследования М.И. Шапир признавался: «(...) благодаря долгим разысканиям мы можем твердо сказать, чем отличаются друг от друга язык и поэтика разных текстов, но, к сожалению, мы все еще не в состоянии, исходя из их языка и поэтики, сделать научно приемлемое заключение об их авторе — в качестве реального объекта изучения его для филологии не существует (...). Несмотря на всю привлекательность проблемы автора для науки XX века, творческий субъект, как и раньше, остается научной фикцией»¹⁹. Наша наука пока не позволяет распознать в тексте автора; и если в этом признавался крупнейший русский филолог современности, то всем нам еще долго брести по «стезе непостижимой». Но распознать социальный характер и социальную судьбу того мира, который структурируется в произведении, — можно и должно. Несмотря на все

19 Шапир М.И. Феномен Батенькова и проблема мистификации (лингвостиховедческий аспект) // Шапир М.И. *Universum versus: Язык — стих — смысл в русской поэзии XVIII–XX веков*. М.: 2000. С. 420. Кстати, Максиму Ильичу мы обязаны ярким примером того, как подчас общественный контекст оказывает решающее влияние даже на развитие стихосложения. См.: Шапир М.И. У истоков русского четырехстопного ямба: генезис и эволюция ритма (Социолингвистика раннего Ломоносова). Там же.

ее ухищрения, культуре дано обрести сущность только через материальную (= социальную) реальность, только ей она может подпитываться и только о ней говорить²⁰.

5

Статьи, дополняющие основной текст этой книги, впервые были опубликованы в следующих изданиях:

- «Умственная оргия». Ф. М. Достоевский и тверские либералы // Вопросы литературы. 2005. № 5;
- Ф. М. Достоевский и судьбы русского дворянства // Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения (по роману «Идиот» и другим материалам). М.: 2001;
- Почвенничество и федерализм (А. П. Шапов и журнал «Время») // Вопросы литературы. 2004. № 4;
- Были ли славянофилы либералами? // Вопросы истории. 2002. № 9.

Невозможно перечислить всех, кому я признателен за помощь, так что назову здесь всего двух человек, которые взяли на себя труд прочесть и исправить работы, составляющие эту книгу: Иван Аксенов и Михаил Велижев. Отдельно хочу поблагодарить Игоря Пильщикова, а также всех участников проекта «Фаланстер» за поддержку, доверие и доброжелательность.

Все сноски на тексты Достоевского даются по изданию: *Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений. В 30 т. Л.: Наука, 1972 и приведены к виду: 1; 2, где 1 — том, 2 — номер страницы. По причине обилия таких ссылок в статье «Достоевский и судьбы русского дворянства» они были оформлены как внутритекстовые.

20 *Карпи Г.* К истории русской литературы // Вопросы литературы. 2010. № 5 (слегка переработанный перевод введения к: *Carpi G.* Storia della letteratura russa. Dalle origini alla rivoluzione d'Ottobre, Roma: Carocci, 2010). Рекомендую читателям эту статью, идейно и методологически дополняющую настоящее введение.

Достоевский-экономист

Я бы не смог, я бы физически надорвался, изображая ту власть, которую ныне терплю, я мог бы сделать это всегдашним способом — используя метафору.

*П. П. Пазолини. Из интервью,
посвященного фильму «Сало, или
120 дней Содома» (август 1975)*

Часть 1. Контекст

В поэме Пушкина отец героя никак не может понять, что товар — деньги. Но что деньги — товар, это русские поняли уже давно (...).

*К. Маркс. К критике
политической экономии*

1846. Проклятие господина Прохарчина

Среди множества символов в творчестве Достоевского *деньги* отличает глубокая и тревожная двусмысленность¹. *Деньги* появляются уже в ранних произведениях писателя: неряшливый и слабоумный господин Прохарчин из одноименного рассказа (1846) — «тьнь разумного существа», он проводит дни, лежа на кровати и охраняя свои сбережения, — отражение социально-экономического застоя эпохи Николая I, а также того воздействия, которое этот застой оказывал на психологию современников. После смерти чиновника в его тюфяке обнаруживается причудливая нумизматическая коллекция:

Благородные целковики, солидные, крепкие полутора-рублевтики, хорошенькая монета полтинник, плебеи-четвертачки, двугривеннички, даже малообещающая, старушечья мелюзга гривенники и пятаки серебром, — все в особых бумажках, в самом методическом и солидном порядке. Были и редкости: два какие-то жетона, один напольондор, одна неизвестно какая, но только очень редкая

1 Единственным исследованием, непосредственно посвященным этой теме, является статья: *Christa B. Dostoevskii and money // The Cambridge companion to Dostoevskii*. Cambridge U. P. 2002. Это исследование богато фактическим материалом — который, впрочем, легко обнаруживается в текстах Достоевского — и меткими замечаниями, однако в нем не учитывается социально-экономический контекст, в котором рассматриваемая тема получает свое развитие; такая постановка проблемы носит отвлеченно-описательный характер.

монетка... Некоторые из рублевиков относились тоже к глубокой древности; истертые и изрубленные елизаветинские, немецкие крестовики, петровские монеты, екатерининские; были, например, теперь весьма редкие монетки, старые пятиалтыннички, проколотые для ношения в ушах, все совершенно истертые, но с законным количеством точек; даже медь была, но вся уже зеленая, ржавая... Нашли одну красную бумажку — но более не было².

Такая панолия³ возникает благодаря разнообразным очуждающим приемам: пестрый и неправдоподобный состав сокровища, конкретизация и «оживление» каждой монеты — подобный подход использовался уже Гоголем, а потом и его последователями (достаточно вспомнить оживленные здания в «Белых ночах»).

Повесть «Двойник» открывается гротескным пеаном «пачке зелененьких, сереньких, синеньких, красненьких и разных пестрененьких бумажек», которая «глянула на господина Голядкина» из глубины кошелька «весьма приветливо и одобрительно». Словно загипнотизированный «утешительной пачкой», Голядкин попадает во власть того же самого фетишизма, который определял отношение Акакия Акакиевича к шинели: «Семьсот пятьдесят рублей ассигнациями! (...) Семьсот пятьдесят рублей... знатная сумма! Это приятная сумма, — продолжал он дрожащим, немного ослабленным от удовольствия голосом, сжимая пачку в руках и улыбаясь значительно, — это весьма приятная сумма! Хотя кому приятная сумма! Желал бы я видеть теперь человека, для которого эта сумма была бы ничтожною суммою? Такая сумма может далеко повести человека»⁴.

Фетишистское созерцание денег компенсирует и сублимирует чувство социальной нестабильности — на это указывают фантазии Голядкина: «А любопытно было бы знать, куда бы меня, например, могла повести эта сумма (...), если б я, например, так, от каких бы то ни было причин, вдруг, по какому там ни есть случаю, вышел в отставку и таким образом

2 *Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 1. Л.: Наука, 1972. С. 261 (далее — 1; 261). «Красная бумажка» — десятирублевая банкнота. Ср. с описанием нищенского наследства, оставленного Акакием Акакиевичем Башмачкиным, в конце гоголевской «Шинели» и с кладом из «Евгении Гранде». О раннем Достоевском, переводчике Бальзака (ему принадлежит перевод именно «Евгении Гранде», опубликованный в 1844 году), см. *Нечаев В. С.* Ранний Достоевский. 1821–1849. М.: 1979. С. 95–129.

3 *Панолия* — в искусстве Ренессанса и барокко декоративная композиция из элементов античных военных доспехов, щитов, оружия и знамен. — *Ред.*

4 1; 335.

остался бы без всяких доходов?»⁵ Подобное же происходит и с Прохарчиным: к параноидальному бреду и смерти этого героя приводит иррациональный и необоснованный страх, связанный с реорганизацией канцелярии, в которой он служит⁶. В фантазмагорическом и зловещем денежном паноптикуме Прохарчина и Голядкина отражена экономическая история России того времени: компульсивное накопление богатств при отсутствии малейшего стремления превратить их в капитал и вложить в производство. Бесконечные «покупки» Голядкина носят воображаемый характер: осыпав купцов Гостиного Двора своими виртуальными заказами и пообещав как можно быстрее внести фараоновски неправдоподобные «задаточки», на деле он приобретает «лишь одну пару перчаток и стклянку духов в полтора рубля ассигнациями»⁷.

Само раздвоение Голядкина — самый загадочный момент повести — начинается с «отречения от самого себя», совершенного героем в той сцене, где начальник увидел его в карете, которой Голядкин не мог пользоваться по причине низкого бюрократического статуса: «Поклониться иль нет? Отозваться иль нет? Признаться иль нет? — думал в неописанной тоске наш герой, — или прикинуться, что не я, а кто-нибудь другой, разительно схожий со мною, и смотреть как ни в чем не бывало? Именно не я, не я, да и только! (...) Я, я ничего, — шептал он через силу, — я совсем ничего, это вовсе не я, Андрей Филиппович, это вовсе не я, не я, да и только»⁸. В некотором смысле это разрушение личности, связанное с невозможностью согласовать собственные социальные запросы с общественными механизмами.

Россия 30-х и 40-х годов, страна, в которой складываются психология и воображение Достоевского, — это иерархическое сословное общество с застойной аграрной экономикой, основанное на крепостном праве и авторитарной патерналистской политической системе. Полуфеодальный характер носят и система кредитования (необходимой гарантией для получения кредита являлось владение определенным количеством крепостных, хотя зачастую, как в «Мертвых душах», они существовали только на бумаге), и налоговая система, получавшая большую часть средств за счет винных откупов и подушной подати — налога,

5 1; 335. Во второй, переработанной, версии повести (1866) последнее замечание Голядкина отсутствует. См.: 1; 110.

6 1; 225.

7 1; 122–123, 344.

8 1; 113, 337.

которым облагали всех представителей недворянских сословий вне зависимости от их экономического положения: «При взгляде на наш бюджет, — писал еще в 1872 году Алексей Головачев, либеральный экономист, тверской общественный деятель и знакомый Достоевского с 1859 года, — мы видим, что он весь проникнут началами крепостного права, по которым высшие классы обязаны личною службою, а низшие уплатою податей и налогов, для доставления средств существования высшим классам». Через десять лет после отмены крепостного права в российской налоговой системе «и тени нет тех начал, на которых основаны бюджеты более образованных народов Европы, где каждый гражданин участвует в общих налогах соразмерно своему имуществу или доходу»⁹. Головачев стал одним из первых, кто понял, что отсталость российской экономики проистекала из налоговой системы, которая не подвергала налогообложению состояния, доходы и капиталы, тем самым лишая себя значительного дохода, — а вместо этого возлагала налоговое бремя на производительные классы, приговорив их к недоразвитию и низкой покупательной и инвестиционной способности, которые привели рынок к хронической депрессии.

Постоянная угроза понижения цен на зерно (цены на него начали расти только к концу царствования Николая I — тем самым был запущен маховик аграрной модернизации и возникла одна из предпосылок для отмены крепостного права в 1861 году)¹⁰ и анахронический характер аграрной экономики, основанной на принудительном труде (барщина), — в то время как международная торговля активно распространялась по российским водным путям, а также проникала в области страны, более развитые в рыночном отношении (Москва, юг России), — привели к тому, что средние и мелкие помещики, вцепившись в крепостное право и царскую систему кредитования, прятались, словно раненые звери, в своих разоряющихся поместьях.

Этот социоэкономический феномен вызывал интерес и едва прикрытую иронией глубокую тревогу уже у Пушкина — начиная с привлекшей внимание Маркса

9 Головачев А. А. Десять лет реформ. 1861–1871. СПб.: 1872. С. 7. Об отношениях Головачева с Достоевским см.: Карпи Г. «Умственная оргия». Ф. М. Достоевский и тверские либералы // Наст. изд. С. 121.

10 Установление взаимосвязей между колебаниями цен на зерно на европейском рынке и российской внутренней политикой в 1820–1850 годах — одно из важнейших достижений Михаила Покровского. См.: Покровский М. Н. Русская история. Т. 3. СПб.: 2002. С. 60–62.

«экономической строфы» из первой главы «Евгения Онегина» и заканчивая «Путешествием из Москвы в Петербург» и размышлениями об оскудении русских старинных родов. Не случайно социальным типом, преобладавшим в литературе того периода, является гоголевский персонаж, невзрачный помещик из глухой провинции, раздробленной на мириады разобщенных производительных ячеек, которые волей-неволей ограничиваются экономикой голого самопотребления при полной неконкурентоспособности на любом мало-мальски развитом рынке (достаточно вспомнить поведение Ноздрева на ярмарках).

Достоевский уже в первых произведениях учитывает этот социально-экономический контекст: череда «мечтателей», живущих в полном разладе с окружающим миром, — это портрет abortивной буржуазии, того зарождавшегося среднего класса, о котором с излишним оптимизмом мечтали либералы 40-х и укреплению которого пытался в 30-е годы способствовать сам Николай I. Однако в 40-е годы образование независимого и дееспособного среднего класса оборвалось, оставив после себя социально и психологически искалеченных людей, изображением которых и занимались наиболее дальновидные представители «натуральной школы»: кроме героев Достоевского можно вспомнить персонажей «Дневника лишнего человека» и «Нахлебника» Тургенева, а также «Запутанного дела» Салтыкова-Щедрина.

1847–1849. Экономисты-петрашевцы

Определить политико-экономические источники, на которых основывались взгляды раннего Достоевского, несложно. В кружках, организованных молодежью Петербурга конца 40-х годов, подчас на весьма наивном и утопическом уровне разрабатывались прагматические стратегии модернизации социально-экономических структур: отмена крепостного права, свобода печати и гласность судебного разбирательства — за это неоднократно выступал организатор ставшего впоследствии самым известным кружком такого рода Михаил Буташевич-Петрашевский.

Среди близких знакомых Достоевского были пропагандисты радикального модернизаторского *либеризма*¹¹, которые считали необходимым преодоление феодальных

11 *Либеризм* — понятие, введенное итало-американским ученым Джованни Сартори для различения социального либерализма, предполагающего широкое вмешательство государства в экономику, и либеральных экономических теорий, основанных на отмене такого вмешательства. Близкие по смыслу понятия: неолиберализм, правое либертарианство, фритредерство, *laissez-faire*. — *Ред.*

барьеров за счет уравнивания прав и максимальной текущей денежной средств и товаров. Другом Достоевского был Евгений Ламанский, финансовый эксперт, в будущем служащий Государственного банка и один из вдохновителей экономической политики России 60–70-х годов. В 1847 году двадцатидвухлетний Ламанский руководил отделом при Государственном совете и настолько открыто рекомендовал себя в качестве убежденного либериста, что именно экономический либеризм, считавшийся в России того времени опаснейшим учением, стал главным пунктом обвинения со стороны комиссии, расследовавшей дело Петрашевского: «Вопросы касались преимущественно освобождения крестьян и свободы торговли, — не без едкого сарказма будет вспоминать финансист в старости. — Это экономическое учение было известно генералам в смысле избавления купцов от какой-то зависимости от правительства и чуть ли не призыва к бунту всего коммерческого люда в России. (...) Я объяснил, что учение о свободе торговли есть учение экономическое, что о нем нам читали с кафедр профессора, что она признается в Европе»¹².

Незадолго до ареста петрашевцев, в начале 1849 года, в их круг попадает еще один молодой человек, которому суждено будет войти в финансово-экономический эмпирей при Александре II: Владимиру Безобразову тогда было всего двадцать два года, со временем он станет публицистом, министерским чиновником, знаменосцем ортодоксального либеризма и сторонником самобытного русского пути к индустриализации. В многочисленных статьях он провозглашает превосходство буржуазных ценностей над феодальными, описывая смену экономических систем как настоящий антропологический палингенезис¹³: «Когда труд человека, на что бы он ни был обращен, есть труд, понесенный на предприятие, в котором он *участник* (хотя бы даже только работник), но уже не *служитель* лица (...), то это совершенно изменяет положение человека в обществе и ставит его неизмеримо выше»¹⁴, — напишет Безобразов в защиту отмены крепостного права. Достоевский успел познакомиться с ним в 1849 году в доме у поэта-бунтаря Алексея Плещеева, который, судя по всему, собирался исполь-

12 Ламанский Е. И. Из воспоминаний // Первые русские социалисты. Воспоминания участников кружков петрашевцев в Петербурге. Л.: 1984. С. 332–333.

13 Палингенезис — возврат, появление давно утраченных особенностей организма в какой-нибудь период его развития. — *Ред.*

14 Безобразов В. П. Аристократия и интересы дворянства // Русский вестник. 1859. Т. 21. С. 394.

зовать для «неблагонадежных» целей его компетентность в делах экономики¹⁵.

Либеральных взглядов придерживался еще один петрашевец, Иван Ястржембский, преподававший политическую экономию в Санкт-Петербургском инженерном училище. В январе-феврале 1849 года он прочитал для друзей цикл лекций, посвященных основным принципам политической экономии. На Ястржембского повлияли труды Джона С. Милля — он выступал за сведение роли государства к скромной функции гаранта экономических процессов: «Правительство (...) в смысле политико-экономическом есть тоже товар: граждане в виде податей и налогов покупают себе внешнюю и внутреннюю безопасность, т.е. жертвуют частью своего достояния, чтобы иметь войско, флот, суды, администрацию, полицию и т.п.»¹⁶. Во время допросов Достоевский подтвердил, что посещал лекции экономиста, и коротко пересказал их содержание. Тем не менее он отрицал личное знакомство с Ястржембским. Писатель и экономист разделили длинную дорогу в Сибирь в декабре 1849 — январе 1850 года с Сергеем Дуровым, писателем, близким к Достоевскому, бывшим в 30-х годах банковским служащим¹⁷.

Еще одной важной идеей, разрабатывавшейся в молодежных кружках при активном участии Федора Михайловича, был «ассоциационизм» — преодоление подневольного труда через сотрудничество между производителями и владельцами капитала: уже в 1846–1847 годы Достоевский лелеет мысль о том, чтобы вместе с братом Михаилом заняться финансовой деятельностью, т.е. основать «ассоциацию» — судя по всему, агентство по кооперативному кредитованию, которое должно было улучшить скромное финансовое положение братьев. «Наша ассоциация может осуществиться», — пишет Достоевский брату 17 октября 1846 года, возвращаясь мимоходом к этой теме 9 сентября следующего года¹⁸. «Ассоциация есть дело великое и святое», — отвечает ему Михаил 13 сентября, а из письма от 16 августа 1847 года мы узнаем другие подробности этой

15 См.: 18; 170. О нем см.: Безобразов В.П. Избранные труды. М.: 2001. В 70-е годы Безобразов преподавал политическую экономию великому князю Константину Константиновичу — будущему поэту К.Р.

16 Львов Ф.Н., Бугашевич-Петрашевский М.В. Записка о деле петрашевцев // Первые русские социалисты. Воспоминания участников кружков петрашевцев в Петербурге. Л.: 1984. С. 41.

17 См.: Белов С.В. Достоевский и его окружение. Энциклопедический словарь. Т. 2. СПб.: 2001. С. 469–471. Семевский В.И. Пропаганда петрашевцев в учебных заведениях // Голос минувшего. 1917. № 2.

18 28/1; 129, 143.

инициативы: « (...) я могу надеяться привезти в Петербург рублей 200 сер (сбром), которые нам с тобой послужат для заложения общего банка. Эти деньги будут началом тех 350 000, которыми счастливыми обладателями мы будем, по твоим словам, лет через 10»¹⁹. Едва ли нужно уточнять, что этими туманными проектами все дело и кончилось.

Еще один петрашевец, Владимир Милютин, полагал, что, вопреки идеям Адама Смита, организация отношений производства и кредитования должна осуществляться на кооперативной основе. Юрист и экономист, автор экономических статей в либеральных журналах того времени, в 1847–1848 годах он был вдохновителем культурно-политического кружка, который посещали Салтыков-Щедрин, Майков, Плещеев и сам Достоевский²⁰. По некоторым свидетельствам, Достоевский и Милютин участвовали в деятельности еще одного кружка «с целью произвести переворот в России»²¹. Однако участие молодого экономиста в этом проекте представляется более чем сомнительным: он вскоре отдалился от политического подполья и посвятил себя гораздо более умеренным исследованиям по истории права. С 1850 года Милютин преподавал в Петербургском университете, а его публикации носили популярный характер. Тяжелобольной, в 1854 году он переселился в Западную Европу, где через год покончил жизнь самоубийством²².

Конец кружка петрашевцев хорошо известен: Достоевского и прочих ждали арест, заключение в крепости и следственная комиссия. Однако даже во время следствия Достоевский не перестает размышлять об экономике: 14 сентября 1849 года он, к тому времени уже почти пять месяцев заключенный в крепости и ожидающий смертного приговора, помечает для брата Михаила «прекрасную статью о банках»²³, опубликованную в «Отечественных записках». Речь идет о статье анонимного автора «Банки в Германии и Бельгии»²⁴, в которой критиковались крупные и пользовавшиеся особыми привилегиями национальные банки и их роль в экономической политике государства: деятельность этих банков зачастую ущемляла интересы частных предпринимателей. Под влиянием сенсимонизма и теорий Прудона автор статьи превозносит мелких производителей

19 Искусство. 1927. Кн. 1. С. 107–109.

20 См.: Милютин В. А. Избранные произведения. М.: 1946.

21 18; 194.

22 См.: Дубнов А. С. Экономические взгляды В. А. Милютина. М.: 1958.

23 28/1; 161.

24 Банки: их польза и действия. Статья вторая. Банки в Германии и Бельгии // Отечественные записки. 1849. № 9. С. 1–28.

и противопоставляет их интересы государственным: в качестве разрешения конфликта между ними в статье предлагалось учредить разветвленную сеть кооперативного кредитования, управление которой находилось бы в руках самих мелких производителей. Предложенная в статье протосоциалистическая панацея так и осталась на бумаге, однако справедливость самого анализа экономических противоречий позже подтвердилась: статья предупреждала об опасности инфляции и производственного коллапса вследствие финансового лоббизма и военного гигантизма, и именно с этим столкнулась российская экономика уже через пять лет, после Крымской войны.

Смертный приговор, которого ожидал Достоевский, в последний момент был заменен каторжными работами в Сибири: когда писатель через десять лет возвратится в Петербург, его представления о соотношении общественных сил и сложности социально-экономических процессов станут значительно более зрелыми.

1850–1852. Роман «Деньги» М. М. Достоевского

Пока Достоевский влачил дни на каторге, его брат Михаил продолжал по мере своих куда более скромных способностей разрабатывать «денежную поэтику», в которой деньги отсылают к фетишистской сублимации давно изживших себя социальных отношений, зажатых между застоём настоящего и будущим кризисом, тяжесть которого была более чем предсказуема. Примером этой поэтики служит созданный Михаилом Михайловичем в 1850–1852 годах незавершенный роман «Деньги»; первая его часть удостоилась журнальной публикации, хотя и не пользовалась особым успехом²⁵. Основанное на классической любовной интриге — роман между выходцами из разных социальных слоев, — это произведение свидетельствует о том всепоглощающем и потенциально разрушительном воздействии, которое финансовые операции оказывали на личностное самовосприятие и на межличностные отношения.

Главное действующее лицо романа — Алексей Мироньч Похлебкин — обанкротившийся торговец, который «принужден был оставить торговлю»²⁶. Его сестра, хоть и состоятельная, но одержимая страхом потери капитала, «никому

25 Брат и сестра // Пантеон. 1852. Т. II, кн. 3. С. 21–36. О романе «Деньги» см.: Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». 1861–1863. М.: 1972. С. 22–24.

26 Достоевский М. М. Деньги. Роман в 3-х частях. Часть 1. Похлебкин и его семейство. ОР РГБ, ф. 93/III, карт. 8, ед. хр. 1, л. 2 об.

не верит, все боится, что пропадут как-нибудь ее деньги и она останется без куска хлеба»²⁷. При очевидной невозможности получить помощь со стороны сестры, Похлебкин вместе с дочерьми Катей и Лизой снимает «квартирку» в доме у зажиточного Матвея Федоровича Нерадова, «господина довольно плотного, отчасти статного, еще молодого, однако уже лет тридцати»²⁸.

Михаил Достоевский так характеризует Нерадова, у которого Похлебкин при случае играет роль мальчика на побегушках: «спекулянт (...), делец, барышник (...), купит примерно дом, али землю какую, да и продает потом с барышом (...). Есть у него и другие дела. Только бы барыш дали, он за всякие возьмется»²⁹. В еще более ярких красках своего покровителя описывает сам Похлебкин перед дочерью Катей: «Живодер, каких свет не производил, разбойник, душегубец! (...) Кровопийца! Из всех из нас кровь сосет (...). Дал нам конуру какую-то, да и говорит: живите в ней, а я из вас стану кровь сосать, а когда вы побледнеете от изнурения, от нужды и у вас сил более не станет, я брошу вам на поправку как милостью несколько целковых, и опять начну из вас кровь сосать, пока вы снова не побледнеете и не похиреете!»³⁰

В подобном положении Катю ждет участь, постигшая Соню Мармеладову, а именно — оказаться в борделе Авдотьи Петровны, которая уже начала ее обольщать (на это намекает автор). Однако в Кате заинтересован и младший брат Нерадова, двадцатипятилетний Дмитрий Федорович. Внешне движимый нежными чувствами, на самом деле он хочет жениться на Кате по тем же причинам, что и Лужин в «Преступлении и наказании»: «Ты и ищешь себе в жоны женщину посмирнее, без претензий, хочешь заранее связать ее по рукам и по ногам благодарностью»³¹, — упрекает его брат, который питает к девушке еще менее благородные чувства: шантажируя ее подписанием отцом векселем на значительную сумму, Нерадов-старший заманивает Катю к себе домой с вполне очевидными намерениями.

Следовательно, уже в этом несостоявшемся романе власть, которую гарантирует наличие денег, имеет садистско-эротическую силу, значение которой гораздо полнее будет раскрыто в зрелых произведениях Федора Достоевского: если Нерадов-младший с наивным и полусознанным желанием власти походит на Лужина,

27 Там же. Л. 5 об.

28 Там же. Л. 18.

29 Там же. Л. 9.

30 Там же. Л. 22.

31 Там же. Л. 28.

в Нерадове-старшем намечается еще более сильное, психологически углубленное слияние алчности и эротического садизма с очевидной склонностью к педофилии. По сравнению с такими персонажами, как князь Валковский, Свидригайлов, Федор Карамазов или Стебельков из «Подростка», в Нерадове и его отношениях к Кате нет глубины и последовательности, это всего лишь набросок, хоть и с некоторыми чертами тонкого психологического анализа: «Катя лукаво улынулась, и в этой улыбке Нерадов увидел столько кокетства, столько детского неведения опасностей и вместе с тем столько ребяческого желания показать, что она уже не ребенок и кое-что смыслит»³². Садистско-эротическое влечение, знаком и стимулом которого являются деньги, приводит жертву к сходному, но противоположному, мазохистскому влечению — в произведениях Достоевского найдется множество и таких примеров.

Впрочем, сюжет романа развивается неровно и непоследовательно: не слишком правдоподобные приключения сменяются любовными тирадами. Упомянутую выше попытку соблазнения прерывает появление Лизы, которая ищет сестру, входит в квартиру Нерадова (Катя в тот момент спряталась за шторами) и узнает, что Нерадов — не кто иной, как бедный, но честный юноша, который пять лет назад пользовался ее расположением. Затем следуют легко вообразимые излияния, пока неожиданное появление Кати из-за штор не повернет повествование, которое и далее ведется в судорожной и лихорадочной манере. Происходит столкновение, подобное тем, которые будут многократно повторяться в зрелом творчестве Федора Михайловича: деньги выступают как демонический знак власти и жестокости, и как таковой они подвергаются катарсическому поношению.

Нерадов подошел к столу. Вынул из ящика какую-то бумагу и, разорвав ее в клочки, сказал Кате:

— Я обещал вам разорвать вексель вашего отца. Вот он разорван. Теперь можете уйти и оставить меня в покое.

— А! Теперь уйти! Оставить в покое! — Отвечала Катя, передразнивая его. — А зачем вы всегда к себе зовете? Вы и меня хотите потом бросить, как бросили ее! Как бы не так! (...)

И подобрав клочки разорванного векселя, она бросила их в голову Нерадова и захохотала³³.

32 Там же. Л. 34.

33 Там же. Л. 38–38 об.

Тема «деньги-садизм» на этом себя исчерпывает и не получает последующего развития. Зато в тексте часто подчеркивается, сколь важную роль играет перераспределение богатств и связанные с ним соотношения сил — в позднее царствование Николая I, когда при полном отсутствии свободных и прозрачных общественных отношений господствовало имущественное превосходство, которое дестабилизировало как межличностные отношения, так и самовосприятие отдельных людей. В этом смысле неудивительно, что в своих воодушевленных беседах вновь нашедшие друг друга влюбленные, Нерадов и Лиза, вдруг опускаются до куда более прозаичных тем.

Нерадов, как все пройдохи и вышедшие из нищеты люди, легче переносил невнимание к своей собственной особе, чем к своему скоро- и благоприобретенному богатству. Не подивиться какому-нибудь пузатому мандарину или вазе, какой-нибудь вычурной мебели новейшего фасона, картине, бутылке лафиту или какой-нибудь богатой вещи, которую он, впрочем, с самым равнодушным видом и ни на шаг не отступая от приличий, выставлял на показ и на удивление — значило сделать ему личную обиду. Все его самолюбие заключалось в деньгах, и так как желания человека зависят в частую от мнений и жизни того кружка, в котором он живет и вращается, то и желания Нерадова, от непрерывных столкновений его с банкирами, капиталистами, золотопромышленниками, биржевыми спекулянтами, разного рода заводчиками и фабрикантами по необходимости приняли биржевой оттенок. В круге этом на него смотрели свысока, как на новичка: в сравнении со всеми этими господами он был почти нищий, и если его только терпели, то потому только, что он был человеком ловким, показавшим в некоторых случаях редкую проницательность. Там самолюбие его беспрепятственно страдало, и вот почему ему приятно было производить впечатление на людей посторонних. Как ни смешно и ни странно покажется это, но равнодушие Лизы, равнодушие, протекавшее от такого светлого, прекрасного источника, даже и оно кольнуло его. Ему хотелось, чтоб внимание ее оставило поскорее в покое его собственную особу и перешло на другие предметы, тоже очень близкие его сердцу³⁴.

Примечательным примером страшной отчуждающей силы, наложенной тогдашней экономикой на пси-

34 Там же. Л. 36 об. — 37.

хику людей, является по-гоголевски полукомический-полутрагический образ Ивана Ивановича Носкова, мелкого табачного торговца, находящегося на грани банкротства:

И прежде еще Носков имел странную привычку смотреть на мирские дела не иначе как из покосившихся окон своего табачного магазина, но теперь глаза его, вероятно от напряженного зрения сквозь зеленые, заржавевшие стекла табачной лавчонки, совершенно помутились, так что все предметы стали представляться ему в форме четверток, полфунтов, фунтов, помочей, мыл и пр. и пр., а люди казались ему фантастическими покупателями, в которых он уже давно перестал верить³⁵.

Бывший крепостной, с трудом откупившийся, чтобы затем попасть в еще более жестокую нищету, Носков представляет собой отражение застойного общества, общества неудавшихся афер и обманутых надежд. Другу Похлебкину, который спрашивается о его делах, он отвечает: «Что торговля? В будущем месяце все опишут. Если б знал, что все так кончится, не откупался бы на волю, а ходил бы себе по пашпорте. Ах, свет-то ныне такой!»³⁶ В последние годы николаевского царствования невозможно было по-настоящему освободиться даже за выкуп: в экономическом контексте «по-нерадовски» спекулятивного накопления труд не создавал добавочную стоимость и неминуемо приводил к краху.

Экономический детерминизм, которым пропитан этот роман (как психология персонажей, так и отношения между ними), наиболее отчетливо виден в сцене встречи двух антагонистов. Похлебкин, унаследовавший миллионное состояние благодаря своевременной кончине сестры, направляется к Нерадову с намерением взять реванш за годы оскорблений. Однако тот реагирует на изменение статуса собеседника почти автоматическим измененным поведением: «Вы знаете, я всегда уважал деньги, — заявляет Нерадов без излишних околичностей, — и, признаюсь вам, смотрю на вас теперь, как на совершенно другого человека»³⁷. Психологическая метаморфоза, рождающаяся из-за появления денег, немедленно заражает Похлебкина, который из противника Нерадова становится его союзником и тут же забывает о своих воинственных намерениях, чтобы отдаться нарциссическому самолюбванию:

35 Там же. Л. 39 об.

36 Там же. Л. 41.

37 Там же. Л. 10 об.

Он оглянулся кругом и все так ласково, так примири-тельно посмотрело на него: бойкий огонек так весело тре-щал в белом мраморном камине, как будто сетуя на нового миллионера — отчего он так далеко сидит от него, отчего он не придвинет своего кресла поближе к его умеренной те-плоте, и в его постоянном треске и редких прищелкивани-ях Похлебкину так и слышались предостережения от окна, его лукавого соседа. Пузатые мандарины кривлялись перед ним совершенно не так, как бывало прежде, когда он, бед-ный и оборванный, просил в их присутствии денег, обещая в наискорейшем времени заработать их своими ногами. Правда, и он смотрел на них тогда совсем иначе и как будто укоряя их за то, что они, пузатые дармоеды, ничего не дела-ют, никакой пользы не приносят, а между тем живут себе да поживают среди роскоши и великолепия. Добрые мандари-ны! Они совершенно позабыли прошлое и взапуски крив-лялись теперь перед ним, как какие-нибудь заезжие фокус-ники перед почтеннейшею публикою. Стол, диван, кушетки, кресла, шкапы и этажерки с книгами молча и с каким-то лю-бопытством смотрели на нового богача и, казалось, готовы были предложить ему свои услуги, лишь только он позволит им эту смелость³⁸.

Фетишистское одушевление предметов, спровоциро-ванное внезапным обогащением, приобретает все более эротический характер, когда оно переносится с китайских статуэток на более подходящие предметы домашнего обихо-да: «Белая нагая Венера, стыдливо спрятавшаяся в темной зелени миртов, камелий и рододендронов, также переста-ла смотреть на него с своею прежнею неприступностию и посылала к нему из своей засады такие веселые и оболь-стительные мысли, что Похлебкин только подымал брови да посмеивался, и тут же дал себе слово непременно завести у себя точно такую же большую, мраморную и нагую Венеру вместе с китайскими мандаринчиками».

В этот фетишистский водоворот вовлечены не толь-ко человекоподобные тела, но и предметы с косвенно-эротическим значением: «Но что все более щекотало его воображение, так это сигарка, нескромно высунувшаяся из лежащей на столе сигарочницы и смотревшая на него с таким глупым равнодушием, что Похлебкин ощутил недо-лимое желание закурить ее (...). Сигарка, казалось, так и под-дразнивала его и как будто говорила: а вот и не закуришь»³⁹. Сигара вызывает у Похлебкина двойственное ощущение

38 Там же. Л. 11.

39 Там же. Л. 11.

притяжения-отталкивания с очевидными невротическими чертами — позднее оно будет часто возникать у героев Федора Михайловича: среди многочисленных предметов-фетишей, связанных с тягой к (само)унижению и (само)разрушению, у Достоевского мы неоднократно встречаем именно с и г а р к и — сопряженные с ними эротические ассоциации характеризуют, например, соблазнителя Вельчанинова в «Вечном муже», бахвальство генерала Иволгина в «Идиоте», единственную (несостоявшуюся) попытку соблазнения Варвары Петровны со стороны Степана Трофимыча; призрак Марфы Петровны, навещающий мужа и женоубийцу Свидригайлова, вызван именно дымом его сигарки⁴⁰.

Овладением сигары завершается трансформация окружающих предметов и людей из катализаторов негативных влечений в своего рода положительных «двойников» Похлебкина: «Нерадов сидит прямо перед ним и только подсмеивается, глядя на своего странного гостя. Но гость сам знает, что он смешон в эту минуту: он первый готов смеяться над собою, и точно, смеется, и вместе с ним смеется и светлая комната, и мягкая мебель, и сам Нерадов с мраморной Венерой и пузатыми мандаринами. О добрый Нерадов, о добрая Венера, о тысяча раз добрые, незлобивые китайские мандарины!»⁴¹

Картина, на первый взгляд, исполненная благородного самодовольства, на самом деле чревата потенциальными противоречиями, особенно если учесть следующее обстоятельство: то, что придает конкретность представлениям персонажей и смысл взаимоотношениям между ними, суть все те же деньги. Аферист Нерадов об этом ни на миг не забывает, и его вежливость обусловлена одной целью: он хочет заставить Похлебкина отдать миллион рублей в приданое Лизе — с явной надеждой возобновить платоническую любовную историю и придать ей гораздо более крепкую основу.

На этом, если не учитывать некоторое количество черновых записей и пометок, повествование и прекращается. Каким бы ни было возможное продолжение этого романа, бросается в глаза контраст между неуклюжим развертыванием сюжета и пристальным вниманием автора к той власти, которую имеют деньги над психологическим состоянием персонажей и динамикой их взаимоотношений. Экономические мотивы портят и без того довольно слабую фабулу: поведение персонажей настолько определяется

40 8; 93, 10; 18, 502, 6; 219.

41 ОР РГБ, ф. 93/III, карт. 8, ед. хр. 2, л. 11 об.

изменяющимися соотношениями экономических сил, что утрачивает последовательность и достоверность. Прошедший ту же школу, что и отец Горио и господин Прохарчин, намеревавшийся сам стать предпринимателем, Михаил Достоевский был эпигоном с достаточно скромными способностями. Однако именно он определил некоторые тематические узлы, которые Федор Достоевский со временем раскроет с гораздо большей глубиной. Проблема, впрочем, заключается не только в большем или меньшем художественном таланте, но еще и в изменении исторического контекста: застой николаевской эпохи подходит к концу, и вскоре «животные духи» капитала проснутся после долгого летаргического сна под старыми тюфяками и в двусмысленных улыбках фарфоровых мандаринов.

1856–1858. Русские внуки Эжена Растиньяка

После возвращения Достоевского из сибирской ссылки экономическая проблематика приобретает у писателя более сложные и тревожные черты; и это неудивительно, учитывая характерные черты русской «модернизации» после отмены крепостного права (кстати, типичные для периферийных капиталистических систем, где извне навязанная модернизация наслаивается на комплекс в большинстве своем архаичных норм и отношений): «катастрофическое» развитие экономики, которую раскачивают волны ажиотажа и спекуляций и кризисы в ноябре 1863, в конце 1869 и (самый тяжелый) в октябре 1875 года.

Неслучайно в «Игроке» Достоевский проводит знак равенства между механизмами, которые регулируют финансы, и логикой азартных игр⁴². Вообще о диалектических отношениях между капиталистическим финансово-спекулятивным накоплением и игровыми механизмами уже писал В. Беньямин в связи с поэтикой Бодлера, основанной на эстетике сна и фантастическом искажении пространства и времени, а также по поводу «расцвета спекуляции» в орлеанитской Франции: «Игра на бирже оттесняет пришедшие из феодального общества формы азартной игры. Фантасмагориям пространства, в которые погружается фланер, отвечают фантасмагории времени, охватывающие игрока. Игра превращается в наркотик»⁴³. Впрочем,

42 См.: 5; 216–217.

43 Беньямин В. Париж, столица XIX века // Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М.: 1996. С. 158.

здесь немецкий мыслитель лишь кратко подводит итоги изучения явления, уже давно отмеченного марксистской социологией, — речь о психологических и поведенческих эффектах, вызванных превращением промышленного капитализма в финансовый. «Все современное экономическое развитие стремится мало-помалу превратить капиталистическое общество в обширный международный игорный дом, где выигрывают и теряют капиталы, благодаря событиям, которых они не знают, которые ускользают от всякого предвидения, всякого расчета и которые, кажется им, зависят от удачи, от случая, — читаем в статье начала века, помеченной Беньямином в ходе работы над эссе «Париж, столица XIX века». — «Непознаваемое» царит в буржуазном обществе, как в игорном доме. Игра, которая откровенно ведется на бирже, была всегда одним из условий торговли и промышленности: риск так велик и непредвиден, что часто операции, лучше всего задуманные, рассчитанные и проверенные, не удаются, тогда как другие, предпринятые наобум и представленные своему течению — удаются. Этот успех и неуспех, обязанные неожиданным причинам, обычно известным, и, как кажется, зависящим лишь от случая, предрасполагают буржуа к настроению игрока»⁴⁴. Из видимой иррациональности финансовой «игры» рождается фантазмагорическая и «демоническая» сила денег:

Но игрок (...) в высшей степени суверен, у всех завсегдаеав игорных домов имеются магические формулы заклинаний судьбы; кто-то бормочет молитву Св. Антонию из Падуи или какому-нибудь другому небесному святому, другие садятся только если выпадает определенный цвет, иные сжимают в левой руке лапу животного и т.д. «Непознаваемое» социального порядка окружает буржуа, как «непознаваемое» естественного порядка окружало дикаря⁴⁵.

Этот анализ верен для таких стран, как орлеанистская Франция, и тем более для России, стран, которые не имели английского опыта мануфактурного развития, в которых финансиализация экономики приводила к разрушительным последствиям, не смягченным стабилизирующей ролью отсутствовавшего там промышленного сектора. Чем все это должно было закончиться, поняли и описали — с большой долей крайне чуждой Достоевскому

44 *Lafargue P.* Die Ursache des Gottesglaubens // Die neue Zeit. XXIV, I. Stuttgart, 1906. P. 512.

45 Там же.

патриархально-дворянской ностальгии — Пушкин в «Пиковой даме» и Гоголь в драматическом фрагменте «Игроки», где забавные жулики без колебаний сравнивают «командную игру» мошенников за зеленым столом с политэкономическим понятием разделения труда⁴⁶. Гоголь намекал на то, что если в Европе падение феодальных отношений в результате капиталистического разделения труда приводит к промышленному производству и накоплению капиталов, то в России феодализм в процессе разложения проходит тот же путь в других формах паразитического существования, таких как азартные (шулерские) игры или спекулятивные операции разного масштаба: по Лотману, еще со времен екатерининского фаворитизма «причудливое перемещение богатств невольно напоминало перемещение золота и ассигнаций на зеленом сукне во время карточной игры»⁴⁷.

Франция времен Июльской монархии была во многом схожа с Россией 50-х годов, однако на берегах Невы спекулятивный капитализм приобрел особенные, куда более грубые черты, которые существенно повлияли на степень «фантасмагоричности» творчества писателей вроде Достоевского — в сравнении с художественно-литературными процессами, проанализированными Беньямином. Среди этих социально-экономических черт выделяются бессвязность, а часто и противоречивость элементов, составляющих общественный строй: одни — буржуазные, другие — феодальные, третьи — относящиеся к общинно-родовому строю. Отсюда и легкость, с которой традиционно паразитическое феодально-аграрное сословие трансформируется (правда, отнюдь не во всех его представителях) в паразитическую же финансовую верхушку: эта ситуация с предельной ясностью проиллюстрирована в романе «Идиот» образами «благородных» дельцов (Тоцкий и Епанчин), которые, впрочем, уже не представимы без выскочек вроде Птицына⁴⁸. Перефразируя известное высказывание Маркса о Германии, можно сказать, что с этого момента Российская империя начинает переживать одновременно капитализм и его недостаточное развитие⁴⁹.

46 См.: Гоголь Н.В. Собрание сочинений. В 9 т. Т. 3–4. М.: 1994. С. 356.

47 Лотман Ю.М. «Пиковая дама» и тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века // Лотман Ю.М. Пушкин. СПб.: 2003. С. 796.

48 См.: Карпи Г.Ф.М. Достоевский и судьбы русского дворянства (по роману «Идиот» и другим материалам) // Наст. изд. С. 155.

49 См. удивительно схожий анализ экономического развития Италии после объединения в: Серени Э. Развитие капитализма в итальянской деревне. 1860–1900. М.: 1951.

В 1854–1859 годах Достоевский, после освобождения от исправительных работ отбывавший службу в дальнем степном гарнизоне, получал вполне ободряющие известия о том, что происходит в метрополии. После Крымской войны и смены императора деспотический застой казался уже далеким прошлым: « (...) общество напрягало все силы, чтобы создать себе новое независимое положение и перенести центр тяжести общественной инициативы на себя. И правительство (по крайней мере, поначалу) не видело в этом ничего несогласного с его желанием» — так в старости будет отзываться об атмосфере 1856–1858 годов Николай Щелгунов. Позднее эту эпоху будут вспоминать в основном как прелюдию к отмене крепостного права, однако ее современники нередко подчеркивали головокружительный дух наживы, который, освобождая на первый взгляд бесконечное движение капитала, начал уничтожать государственные монополии: «Словом, — комментирует Щелгунов, перечисляя виды деятельности, в которых эти капиталы легко находили употребление, — реакция против прежнего всепоглощающего государственного вмешательства и казенного руководства была не только всеобщей, но и легла в основу общественно-экономических реформ и всей системы государственного хозяйства прошедшего царствования»⁵⁰.

Схожий анализ предлагают и политики гораздо более умеренных взглядов: « [Правительство] поощряет частные предприятия (...); оно понизило банковый процент, — докладывал в конце 1857 года будущий министр финансов Михаил Рейтерн великому князю Константину Михайловичу, покровителю тех просвещенных бюрократов, которые занимались разработкой буржуазных реформ. — Благодаря богу правительство поняло, что надобно развить источники народного богатства»⁵¹. Намек Рейтерна на понижение процентных ставок (с 4% до 3% годовых) не кажется случайным: мощный стимул для привлечения частных капиталов в промышленность, переоценка ставок была на самом деле вынужденной мерой. Она должна была облегчить бремя государственной кредитной системы, истощенной во время войны. Тем не менее последовавшие за понижением процентных ставок инвестиции в частный сектор были внушительными: так, послевоенные годы озаменовались мимолетным «золотым временем» в экономике, которое в гиперболической форме описал уже упоминавшийся выше приверженец либеризма

50 *Щелгунов Н. В.* Воспоминания. М.: 1923. С. 115.

51 *Цит. в: Шелелев Л. Е.* Акционерные компании в России. Л.: 1973. С. 67.

Владимир Безобразов: «И простые рабочие, и фабричные, и фабриканты, и купцы всюду говорили нам об этом времени: «Мы тогда озолотились». Фабрики не успевали изготовлять товары, которые быстро расхватавались; строились новые фабрики и расширялись старые; удваивалось число рабочих часов, работали ночью; цены на товары и заработки росли непомерно»⁵².

Волна финансовых спекуляций радикально меняет существование и образ мышления населения империи: если в 1830–1852 годах в России появлялось не более двух акционерных обществ в год, то с окончанием Крымской войны их число показательно растет (1856 — 6; 1857 — 14; 1858 — 39)⁵³. «Не успеет составиться новая акционерная компания, смотришь, все ее акции разобраны нарасхват до дня официальной продажи, и тотчас же начинают ходить из рук в руки с надбавкой», — провозглашал «Вестник промышленности», и там же приводились характерные примеры: желающие приобрести акции новой компании «у дверей конторы прождали целую ночь, и при открытии дверей только весьма немногие получили желанные бумаги». Жажущих наживы спекулянтов было так много, что «началась теснота, давка, были и такие, которым сделалось дурно, другие принуждены были вылезать в окно, потому что назад протесниться было невозможно»⁵⁴.

Достоевский по пути из Сибири в августе 1859 года останавливался во Владимире, там он встретился с Михаилом Хоментковским, начальником провиантской комиссии (семипалатинским штаб-офицером и добродушным пьяницей, знакомым писателю еще по ссылке), который сразу объяснил желавшему обустроиться Достоевскому, откуда дует ветер: « (...) лучше всего места частные. Развелось столько частных компаний, управлений, обществ, что люди честные и добросовестные нужны донельзя, жалованья колоссальные»⁵⁵.

Широко распространившийся в крупных городских центрах буржуазный аферизм стремительно разрушал феодальные структуры и оказывал колоссальное воздействие на умы людей: «Министры и другие сановники, чиновники всех рангов бросились играть на бирже, — будут вспоминать десятки лет спустя в одном специализированном издании, — помещики стали продавать имения, домовладельцы

52 *Безобразов В.П.* О некоторых явлениях денежного обращения в России в связи с промышленностью, торговлей и кредитом. М.: 1863. С. 20–21.

53 См.: Указатель экономический. № 4 (23 января 1860 года).

54 Вестник промышленности. 1858. Т. 1. С. 3, 17.

55 28/1; 364–365.

— дома, купцы побросали торговлю, многие заводчики и фабриканты преобразовали свои учреждения в акционерные компании, вкладчики в правительственных банках начали выбирать отсюда свои вклады, — и все это бросилось в азартную игру на бирже»⁵⁶. В этом контексте немедленно вспоминается Штольц из «Обломова», участвовавший «в какой-то компании, отправляющей товары за границу» и изображенный Гончаровым «беспременно в движении: понадобится обществу послать в Бельгию или Англию агента — посылают его; нужно написать какой-нибудь проект или приспособить новую идею к делу — выбирают его. Между тем он ездит и в свет и читает: когда он успевает — бог весть»⁵⁷; или Лужин из «Преступления и наказания», психологически более правдоподобный, так же как и уже знакомый нам Нерадов или Калинович из «Тысячи душ» Писемского: «Надобно сказать, что комфорт в уме моего героя всегда имел огромное значение. И для кого же, впрочем, из солидных, благоразумных молодых людей нашего времени не имеет он этого значения? Автор дошел до твердого убеждения, что для нас, детей нынешнего века, слава... любовь... мировые идеи... бессмертие — ничто пред комфортом»⁵⁸. Русские внуки Эжена Растиньяка, эти энергичные молодые люди не церемонились на развалинах старого режима — как в литературе, так и в реальности.

Вместо того чтобы просто разлагаться под натиском капиталовладельцев, старая феодально-бюрократическая система сразу начала с ними взаимодействовать. Например, уже в конце 1859 года графы Шувалов и Бобринский — представители придворной элиты и будущие столпы «аристократической партии» — занимаются весьма прибыльным делом: строительством многоквартирных жилых домов, причем в компании известных экономистов-либералов типа Александра Абазы (будущий министр финансов) и других предпринимателей не особенно знатного рода⁵⁹. В 1859 году происходит значительное увеличение числа

56 Русский экономист. 1884. Вып. 1. С. 147.

57 Гончаров И. А. Обломов. Л.: 1987. С. 127–128. Гончаров отчасти объясняет буржуазный налет Штольца его принадлежностью к национальному меньшинству и прогнозирует: «Сколько Штольцев должно явиться под русскими именами!» (там же, с. 130). Предвестником подобного социального типа Иван Александрович мог с уверенностью считать самого себя: отпрыск состоятельной купеческой семьи из Симбирска, с 1822 по 1830 годы он был студентом Московского коммерческого училища, а со второй половины 30-х годов — служащим Министерства финансов (отдела внешней торговли).

58 Писемский А. Ф. Сочинения. Т. 3. М.: 1956. С. 143.

59 См.: Одоевский В. Ф., князь. Переписка с великой княгиней Марией Павловной, великой герцогиней Саксен-Веймар-Эйзенах. М.: 2006. С. 220.

министерских комиссий и подкомиссий, которые по официальной версии создаются с целью модернизации банковской системы, а в действительности не столько преобразуют ее, сколько начинают выполнять посреднические функции между традиционной придворной олигархией и новыми экономическими силами⁶⁰. Ярким примером подобных махинаций можно считать основание Главного общества российских железных дорог (ГОЖД), которому принадлежало 60% всего инвестиционного капитала страны: в течение десятилетий оно было мощнейшей экономической организацией и ширмой для всевозможных злоупотреблений. К моменту ее образования среди членов ГОЖД числились влиятельные и опытные финансисты (барон Александр Штиглиц), московские купцы и южнорусские греки, сколотившие состояние на винных откупках (Василий Кокорев, Дмитрий Бенардаки), влиятельные придворные (Алексей Орлов, Николай Юсупов, Эдуард Баранов), члены императорской семьи и... сам Александр II, владелец 1200 акций⁶¹. Это, кстати, и было главной причиной, по которой, несмотря на очевидное кризисное состояние, в 60-е годы система царской власти уцелела. Сразу после реформ административные и экономические интересы позволили обществу объединиться: всем был выгоден политический режим, который, учитывая его персоналистский архаизм и непрозрачность, тогдашние олигархи справедливо считали более податливым, нежели любой другой. «Мерзости всегда приходили к нам исподтишка, — замечал наблюдательный современник. — Так подошло к нам, ползучи на животе, пядень за пяденью и крепостное право; так подползет, пожалуй, и зависимость от земляного капитала»⁶².

1859. «Денег нет! Денег нет!»

«(...) что год тому назад было *поступком*, то теперь отсталая манера»⁶³, — пишет Анненков Тургеневу в конце 1856 года, подразумевая чрезвычайную динамичность культурной и политической жизни. «(...) кто не жил в пятьдесят шестом году в России, тот не знает, что такое жизнь,

60 См.: Боровой С.Я. Кредит и банки России. М.: 1958. С. 274–282; Гиндин И. Ф. Государственный банк и экономическая политика царского правительства. М.: 1960. С. 24–32.

61 См.: Лизунов П.В. Санкт-петербургская биржа и российский рынок ценных бумаг (1703–1917 гг.). СПб.: 2004. С. 112–113.

62 Анненков П.В. Письма к И.С.Тургеневу. Кн. 1. 1852–1874. СПб.: 2005. С. 104 (письмо от 25 марта 1861 года).

63 Там же. С. 49 (письмо от 7 ноября 1856 года).

— полушутя напишет через несколько лет Л. Н. Толстой, не склонный, впрочем, идеализировать буржуазную современность. — (...) все россияне, как один человек, находились в неопisanном восторге»⁶⁴. Между тем сложное и противоречивое изменение экономических порядков и имущественных отношений, которое приведет к Манифесту 19 февраля, основывалось на далеко не благоприятных предпосылках, предвещавших немало проблем. В состоянии эмбарго Россия тратила огромные средства на нужды армии, участвующей в Крымской войне: уменьшался металлический фонд и бесконечно увеличивался выпуск бумажных купюр. Последовавшая инфляция сначала стимулировала частный сектор: средний землевладелец, который уже в пушкинскую эпоху прятался в глухой провинции, доверив свое существование низким ценам и николаевской кредитной системе, вынужден был теперь искать новые, более прибыльные способы для вложения своих скромных и быстро обесценивающихся капиталов. Самый трезвый анализ происходящих в то время процессов мы обязаны публицисту-экономисту Алексею Головачеву (Достоевский со времен тверской ссылки 1859 года водил знакомство с Алексеем Унковским, сподвижником которого был Головачев): «При таких выгодах, которые давали торговые сделки, капиталисты стали брать свои капиталы, а помещики закладывать и перезакладывать свои имения (...). Таким образом, на рынке вдруг явилась новая масса денежных знаков, ища помещения. Все старые предприятия расширились, стали образовываться новые компании, капиталы предлагались со всех сторон, и спекулятивная горячка охватила все общество». Однако речь шла преимущественно о виртуальных капиталах, возникавших из-за неконтролируемого выпуска валюты: рано или поздно спекулятивный пузырь должен был взорваться.

Дорого поплатилась Россия за это увлечение. Все потерпели: серьезные предприятия лопнули, потому что вследствие возвышения всех цен не хватило оборотного капитала, а кредита не было; дела же дутые потому, что аферисты или сами надулись или других надули. При таком печальном положении денежного рынка отовсюду раздается крик: денег нет! Денег нет! И это после так недавно выпущенной массы кредитных билетов! Не денег не было, а не было капиталов. Обманутые обилием бумажных денежных знаков, мы начали массу новых промышленных предприятий,

64 Толстой Л. Н. Собрание сочинений. В 20 т. Т. 3. М.: 1961. С. 385.

которые потребовали значительных основных капиталов, а между тем общий оборотный капитал страны уменьшился вследствие войны⁶⁵.

Из-за цензуры Головачев смог позволить себе столь недвусмысленную критику лишь спустя десятилетие, но в частных и получастных беседах (в близких к Герцену, а также в более умеренных кругах) подобный анализ находил широкую поддержку уже в 1859–1860 годах. Среди немногочисленных свободных от цензуры русскоязычных изданий сигнал тревоги прозвучал впервые в герценовских «Голосах из России»:

Финансы наши вряд ли были когда-нибудь в худшем положении. Монета почти исчезла из обращения; бумажные знаки наводняют рынок; доверие к ним поколебалось; непомерное возрастание дороговизны обличает постоянное падение их курса; полумеры, вроде понижения внутреннего достоинства монет, принесут только временное облегчение, а затем усилят зло, уничтожив остаток нравственного доверия; возрастающий deficit по торговому балансу будет по-прежнему требовать вывоза монеты. Кредит внешний и внутренний потрясен до основания. Точное положение государственного казначейства хотя и неизвестно, но финансовые преобразования, предпринятые в последнее время, и обнародованные правительством объяснения о финансовых затруднениях дают меру опасности. Биржа каждый день чувствует влияние кризиса, самые солидные дома удаляются от дел и даже прекращают платежи; заграничный курс причиняет ежедневно громадные потери. Панический страх распространяется. Носятся слухи, что массы капиталов переводятся за границу. Одним словом, финансы в крайнем расстройстве⁶⁶.

Дальше следуют конкретные советы, и уже тот факт, что будущий организатор первой «Земли и воли» для приведения в порядок шаткой национальной экономики не находит ничего лучшего, чем предложить продать русско-американские колонии Соединенным Штатам, красноречиво говорит о критическом положении России в то время; весьма озабочены финансовыми проблемами

65 Головачев А. А. Десять лет реформ. 1861–1871. С. 16–17 (разрядка моя. — Г. К.). Об отношениях Достоевского с группой Унковского см.: Карпи Г. «Умственная оргия». Ф. М. Достоевский и тверские либералы // Наст. изд. С. 121.

66 Серно-Соловьевич Н. А. Публицистика, письма. М.: 1963. С. 5.

были и те люди, у которых, казалось бы, имелось достаточно средств для воздействия на ситуацию (например, великий князь Константин или сам царь)⁶⁷.

Таким образом, мощная волна деловой активности середины 50-х грозила в любой момент схлынуть, оставив после себя одни развалины. Уже в конце этого десятилетия появляются тревожные признаки кризиса: в 1859 году были основаны всего лишь 20 новых акционерных обществ, т. е. вдвое меньше, чем в предыдущем году; многие компании прекратили существование после ликвидации проработавшего 57 лет банка «Штиглиц & Со». Эти данные были опубликованы в первом номере ежемесячника «Светоч», основанного в начале 1860 года группой людей, с которыми был близко знаком Достоевский. «Светоч» выступал за большую финансовую прозрачность и за реальную либерализацию экономики: «Наступило другое время, — с преждевременным, увы, удовлетворением отмечалось в журнале А. Милюкова. — В числе акционеров, так долго терпевших и вообще занимавших довольно плачевное положение относительно своих партнеров-директоров, нашлись люди, которые энергически стали за поправные права»⁶⁸.

Другие, более сведущие в финансово-экономической области наблюдатели указывали на хаос, который был спровоцирован крахом империи Штиглица, монополиста российских финансов во время николаевского царствования, вытесненного с рынка после появления Ротшильда: «Исчезновение монеты, крайнее колебание и ослабление вексельного курса, быстрое падение кредитных ценностей, непомерное вздорожание предметов потребления, стеснение сбыта товаров, прекращение платежей, ликвидация могучих коммерческих фирм»⁶⁹ — так в начале 1860 года в «Журнале для акционеров» описывался только что закончившийся год.

Под критику подпадает большинство акционерных обществ, которые до тех пор действовали при полном произволе директоров и не осведомляли акционеров о своих

67 См.: Записки Великого Князя от 1 января и от 29 февраля 1860 года в: Переписка Императора Александра II с Великим Князем Константином Николаевичем. Дневник Великого Князя Константина Николаевича. 1857–1861. М.: 1994. С. 222, 235. См. также переписку Александра II, цит. в: Герасимова Ю. И. Кризис правительственной политики в годы революционной ситуации и Александр II (по документам личного архива) // Революционная ситуация в России в 1859–1862. М.: 1962. С. 100–101.

68 Светоч. 1860. № 1. С. 10.

69 Журнал для акционеров. № 156 (6 января 1860). С. 1291. Об империи семьи Штиглиц см.: Лизунов П. В. Санкт-петербургская биржа. С. 100 и далее.

финансовых стратегиях: дивиденды распределялись произвольно (часто путем фальсификаций) и каждое общество при этом действовало в полумонопольных условиях. Полемика о критериях управления Обществом русского пароходства и торговли достигла апогея в нашумевшем тогда скандале в Пассаже 13 декабря 1860 года, когда публичная дискуссия между управляющими Общества и журналистами левого толка (среди которых были Чернышевский и Серно-Соловьевич) закончилась руганью. Модератор дискуссии — тот самый Ламанский — распустил собрание со ставшим потом крылатым выражением: «Мы еще не созрели до публичных прений», вызвав, как будет вспоминать один из очевидцев, «бесчисленные протестации»⁷⁰. В 1866 году Герцен заметит с горькой иронией: ««Мы еще не созрели», — говорил кто-то в Петербурге, и все сердились на него, *«а уж сгнили», — прибавим мы, — страшно сгнили»*⁷¹.

Достоевский после окончательного переезда в Петербург, скорее всего, был сразу же оповещен об этом эпизоде: «Еще так недавно господин Ламанский среди всего Пассажа доложил нам, что мы не созрели. Господи, как мы обиделись!»⁷² — будет иронически вспоминать писатель в первом выпуске журнала «Время». Скандал в Пассаже и в «Бесах» станет символом общественного хаоса и идеологического брожения эпохи: «Говорили об уничтожении цензуры и буквы ъ, о замене русских букв латинскими, о вчерашней ссылке такого-то, — рассказчик в «Бесах» с сарказмом вспоминает атмосферу предыдущего десятилетия, смешивая при этом события разных лет, — о каком-то скандале в Пассаже, о полезности раздробления России по народностям с вольною федеративною связью, об уничтожении армии и флота, о восстановлении Польши по Днепр, о крестьянской реформе и прокламациях, об уничтожении наследства, семейства, детей и священников, о правах женщины»⁷³.

Если по прошествии лет Достоевский смешивает симптомы экономического кризиса и спровоцированного им идеологического водоворота, то в 1860 году проблема заключается в слабости финансовой системы, которую стоит приписывать не только недобросовестности администраторов или якобы «незрелости» общества. Прочитируем один хорошо известный Достоевскому источник: статистическое исследование журнала «Указатель экономический», в ко-

70 Пантелеев А. Ф. Воспоминания. М.: 1958. С. 233.

71 Герцен А. И. Собрание сочинений. В 30 т. Т. 19. М.: 1954–1966. С. 85.

72 18; 60.

73 10; 22 (разрядка моя — Г. К.).

тором проанализирована деятельность 99 акционерных обществ (из 120 существовавших в стране):

1) Только 45 компаний находятся на месте предприятия (...).

2) Из числа 90-та, 60 компаний пребывают в Петербурге, 16 — в Москве, 7 — в Риге, 1 — в Нарве и 6 в остальной России; т.е. компании существуют почти исключительно в столицах (...).

3) Из числа 76 компаний, находящихся в столицах, можно положить 35 выполняющих предприятия, которые составляют местную потребность самих столиц; остальные столичные компании имеют предметом своим такие предприятия, которые составляют непосредственную потребность других мест России или же общую надобность жителей всей России. Таким образом, в акциях затрачен главным образом капитал столичных жителей, и он употребляется как на предприятия, составляющие местную потребность России, так *и на предприятия, имеющие в виду удовлетворение надобностей других мест*, тогда как было бы естественнее, чтобы на последние употреблялись капиталы местных жителей как непосредственно в них заинтересованных.

4) (...) 45 компаний, *распоряжающиеся предприятиями заочно, находятся все в столицах.*

5) (...) *Возможность учреждать компании принадлежит у нас почти исключительно лицам, живущим в столицах, т. е. там, где дается разрешение на учреждение компаний.*

6) Население столиц состоит, как известно, главным образом *не из класса промышленного*, а между тем этому населению преимущественно принадлежит акционерная деятельность; *собственно же промышленный класс русский в этой деятельности почти не участвует.*

7) На удовлетворение потребностей собственно столиц (1 млн жителей) существуют до 35 компаний. Затем, для удовлетворения потребностей целой России, хотя бы лишь в той мере, в какой акционерная деятельность удовлетворяет ныне надобностям столиц, следовало бы быть *в России 2300 компаниям*⁷⁴.

Выкуп земли крестьянами вот-вот освободит огромные денежные ресурсы по всей стране, а на местах их невозможно инвестировать, так как хрупкая и неуравновешенная финансовая система концентрируется в столицах. Все это знал

74 Указатель экономического. № 43 (22 октября 1860 года). С. 741–742.

прекрасно ориентировавшийся в российском финансовом лабиринте Александр Порецкий, политический обозреватель «Времени» и одновременно главный инспектор Министерства государственных имуществ. Уже в первом выпуске «Времени» Порецкий не только многократно цитировал приведенное выше исследование «Указателя экономического», но и выражал согласие с журналом И. В. Вернадского относительно необходимости финансовой децентрации, которая притормозила бы спекулятивный паразитизм Москвы и Петербурга и открыла бы мелкому «диффузному» предпринимательству доступ к необходимым ресурсам на местном уровне: «Ясно, что отвлечь излишек акционерной деятельности из столиц в другие пункты, на самые места, было бы очень полезно. Столичная предприимчивость, принадлежащая преимущественно классам непромышленным, имеет свой особый характер: здесь потребность в том или другом предприятии часто прямо рождается из голов учредителей (...). Нужно только, чтоб учредилась компания и разошлись акции, а там — как пойдет самое предприятие, это уже не их дело, потому, что и капиталы не их»⁷⁵.

Порецкий пользуется материалами «Указателя экономического» и в следующем номере: он анализирует соотношение между снижением цен на акции, инфляционной спиралью и падением промышленного производства, особенно в текстильной области. Крестьяне, главные потребители дешевого сукна, настороженно ожидали отмены крепостного права и ограничивались самыми необходимыми покупками. Понижение спроса подавляло предложение и съедало вложенные в него капиталы: «Вопрос о безденежки связан с крестьянским вопросом, и с разрешением этого вопроса денежный рынок по всей вероятности улучшится»⁷⁶. Таким образом, ставка была очевидной: освободить крестьян, стимулируя при этом рост спроса на товары, и одновременно освободить через механизм земельного выкупа инвестиционные капиталы для вложения их в производство.

Речь идет о предложениях, близких к программе тверичей-унковцев: «сделать из земельного дворянства (точнее, из наиболее продвинутых его представителей) катализатор нового социального блока (в перспективе — современной земельной буржуазии); быстро перераспределить участки земли, чтобы примирить социальные отношения в деревнях и продолжить реформы»⁷⁷, но Россия пошла

75 Время. 1861. Т. 1. С. 5–6.

76 Время. 1861. Т. 2. С. 32.

77 Карпи Г. «Умственная оргия» // Наст. изд. С. 121.

по иному пути. Очевидно, что в российской экономике, лишенной юридических и этических механизмов саморегулирования, с разрастанием кризиса спекуляции принимают все более лихорадочный характер. Вот как историк С. М. Соловьев описывает ту эпоху в записках для своих детей:

С одной стороны — дороговизна, нужда в деньгах, уменьшение доходов, неудобство положения, даже разорение людей, которые, в какой бы то ни было степени, были представителями духовного развития в народе; с другой — примеры быстрого обогащения людей, которые успели, обдуманно или случайно, употребить выгодно свои капиталы; с третьей — шум, суетня преобразовательного движения, крик печати, — все это должно было произвести страшную смуту между людьми, нисколько не приготовленными, сжатыми в своей деятельности царствованием Николая, или затянувшимися в это царствование в мелких интересах, покорно повиновавшимися команде: «Не рассуждать!»⁷⁸.

Кстати, и либеральная интеллигенция не гнушалась предложенными той эпохой азартными формами обогащения, что в известных случаях привело к резкому снижению интереса к радикальным реформам: «За ужином шли разговоры о текущих делах, — вспоминает Щелгунов характерный разговор с Алексеем Писемским. — Государственный банк уже понизил тогда проценты по вкладам, явился курс, явились процентные бумаги. Когда заговорили о реформах, Писемский начал раздражаться и, достав из бокового кармана бумажник (довольно толстый, замечу), щелкнул по нем пальцами и сказал: «Вот тут тысяча рублей, а почему я знаю, что она будет и завтра — может из тысячи останется шестьсот»⁷⁹.

Среди тех, кто на собственной шкуре почувствовал опасность промышленной деятельности в подобных условиях, был и Михаил Достоевский: его табачная фабрика пережила введенное после Крымской войны увеличение цен, а также конкуренцию со стороны производителей импортного табака, которая последовала за отменой таможенных сборов. Так, в марте 1857 года брат Федор — будучи еще в ссылке в Семипалатинске — пытался отговорить его от инвестиций со слишком высокой степенью риска: «Ты надеешься на сигары; что если они не пойдут! А ведь это как легко может случиться. Мне кажется, что важнейшее неудобство — высо-

78 Соловьев С. М. Избранные труды, записки. М.: 1983. С. 345.

79 Щелгунов Н. В. Воспоминания. С. 99.

кая цена твоих сигар. Но в этом я не знаю толку. Дай бог, дай бог тебе! Переживи этот кризис — и, ради Христа, не рисковей больше; не забирайся много, а помаленьку это крепче»⁸⁰. Значительно позже Федор Михайлович напишет: « (...) когда я приехал [т.е. в 1859 году. — Г. К.], фабрика была в упадке; папиросы, которые пошли вначале, совершенно лопнули под конец и были задавлены Миллером и Лаферм; долгов же было пропасть, и он все охал, предчувствуя банкротство». Пришлось продать фабрику всего за 1000 рублей, тем более что гораздо более доходной оказалась журналистская деятельность «Времени»: «Журнал спас брата от банкротства»⁸¹. Впрочем, встреча Достоевских с финансовым возмездием была всего лишь отложена.

1861–1863. Пропущенные встречи «в настоящее время, когда...»

«В государстве появилось и усиливается общее безденежье»⁸², — в начале 1862 года писал царю Николай Чернышевский в открытом письме, из которого цензура не пропустила ни строчки. В то же время московские дворяне, представители иной области идеологического спектра, возмущались из-за невозможности защитить «личность» и «имущество» перед «произволом администрации» и перед текущим общественно-экономическим смятением: «сословия восстановлены одно против другого, и антагонизм между ними растет все более и более (...), при этом полное безденежье вследствие финансового кризиса, полное отсутствие кредита и, наконец, бездна ложных слухов, волнующих умы»⁸³.

Помимо прочих свидетельств такого положения дел можно привести высказывание Михаила Дмитриева, племянника знаменитого поэта-сентименталиста, посредственного поэта и апологета патриархальной эпохи: «Что мы теперь видим? — пишет в 1863 году уже пожилой аристократ *d'antan*. — Пьянство страшное, грабеж по улицам, города и селы горят, торговля остановилась, земледелие упадает; между тем все веселятся напропалую! — Но эти увеселения не веселят духа, а показывают только жадность

80 28/1; 276.

81 28/2; 330–331. Письмо А. Н. Майкову от 11 декабря 1868 года. Н. Н. Страхов тоже предлагает свою, похожую версию обстоятельств продажи фабрики (см.: Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1. М.: 1990. С. 464).

82 Чернышевский Н. Г. Сочинения в 2 томах. Т. 2. М.: 1987. С. 342.

83 Цит. в: Полов И. П. Тверское выступление 1862 г. и его место в событиях революционной ситуации // Революционная ситуация в России в 1859–1862 гг. М.: 1974. С. 272.

к наслаждению (...)! Это напоминает увеселения Рима перед его падением: *panem et circenses*»⁸⁴.

Летучесть капиталов и спекулятивные пузыри, возникающие из-за непрекращающейся эмиссии бумажных купюр (за которыми следовали волны банкротств и значительные колебания рубля), в 60-е годы приобретают характер хронического явления, которое вскоре стало источником вдохновения сатириков. Известные тогда стишки высмеивают многочисленные пороки эпохи в строфах с рефреном «*В настоящее время, когда...*» — тривиальный оптимистический лозунг, которым часто начинались статьи официозной печати: «Акцию ли купишь, чтоб жить оборотами — / Обществу, смотришь — беда; / Плачут директора, ставши банкротами, / *В настоящее время, когда...*»⁸⁵ На самом деле смешного было мало: «Что будет с ценами на землю? Что будет с ценами на труд? Что будет с ценностью монетных знаков? — комментирует “Время” ситуацию сразу после отмены крепостного права. — Обо всем этом недоумевают и ничего разрешить или предусмотреть не умеют люди, которые не догадались заранее сделаться глубокими экономистами и давно упустили время учиться». Автором рубрики о внутренней политике был Александр Порецкий, с которым Достоевский был знаком с 40-х годов, — в 60-е он служил главным инспектором канцелярии Министерства государственных имуществ. «Так размышляют простые люди и недоумевают, — продолжает анализ недостатков отечественной экономики Порецкий, — над ними мелкие собственники недоумевают о судьбе своей собственности; далее — крупные промышленники недоумевают об участи своих промышленных дел, и наконец, едва ли не падают в недоумение самые глубокие экономисты (...). Все недоумевают, каждый по-своему и каждый в своем круге дел и взглядов»⁸⁶.

Большинство объединившейся вокруг «Времени» группы почвенников считало необходимым унифицировать разрозненные «недоумения», высказанные представителями ущемленных социальных слоев, а также определить как цели переходного периода, так и необходимые для их выполнения средства.

В 1860–1863 годы Достоевский и его единомышленники-почвенники представляют лишь одну из частей широкого

84 Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. М.: 1998. С. 499–500.

85 «В настоящее время, когда...» (современная песня) // Современник. 1860. № 7. С. 36.

86 [Порецкий А. В.] Наши домашние дела // Время. 1861. Т. 8. С. 119–120.

и неоднородного движения, дистанцирующегося, с одной стороны, от умеренных либералов, сторонников реформизма сверху: в централизованной, наполеоновской версии (Б. Н. Чичерин) или в духе аристократического и проанглийского *self-government'a* (М. Н. Катков и его журнал «Русский вестник»). С другой стороны, для русского реформизма — в том числе и для Достоевского — был неприемлем и радикализм «Современника» и «Русского слова», не столько из-за целей, которые ставили сторонники этого направления, сколько из-за предполагаемых способов их достижения: «Куда вы торопитесь? — полемически спрашивает Федор Михайлович Чернышевского в одном из черновиков начала 60-х годов. — Общество наше решительно ни к чему не готово. Вопросы стоят перед нами. Они созрели, они готовы, но общество наше отнюдь не готово! Оно разъединено»⁸⁷. Очевидно, что Достоевский рассматривает агрессивную революционную пропаганду «Современника» как бесплодный, вредящий делу авантюризм: «В основе мы с вами согласны; но вы построили на этой основе всё вздор»⁸⁸.

Помимо почвенников (придерживавшихся весьма разнородных идеологий: от шеллингианского органицизма Аполлона Григорьева с мистическим учением о коллективном народном сознании до позитивизма Алексея Разина) — к «третьей силе» можно отнести и тверских либералов во главе с Унковским, Головачевым и бывшим петрашевцем Александром Европеусом; «левого» славянофила Ивана Аксакова, возглавлявшего воинственный журнал «День»; федералистов, вдохновленных теориями историка Афанасия Щапова; близких к Герцену молодых людей, уповавших на полуанархическую, полуобщинную крестьянскую революционность: Николая Щелгунова, Григория Елисеева, Николая Серно-Соловьевича, Александра Энгельгардта и др.⁸⁹

Литераторов, публицистов, экономистов, юристов и т. д., исходивших из различных идеологических установок, объединила общая цель: сделав ставку на отмену крепостного права, добиться устранения всех пережитков феодализма. Так, Головачев, бывший в группе Унковского наиболее осведомленным в экономических вопросах человеком, находит в освобождении труда краеугольный камень предстоящей социальной революции:

87 20; 153.

88 20; 155.

89 Более подробно об этих группах см.: Карпи Г. Почвенничество и федерализм (А. П. Щапов и журнал «Время») // Наст. изд. С. 167.

Уничтожение крепостного права не есть реформа, касающаяся только помещиков и их крестьян, а напротив есть реформа общегосударственная и вносит в нашу жизнь новое начало: *свободный труд*. Это новое начало должно изменить весь строй социальной жизни народа, должно изменить понятия, нравы и потребности общества, а с ними направление не одной сельскохозяйственной, но и всей вообще промышленности; при таком значении реформы уединять ее от всех других — значит парализовать действие тех начал, которые вдвигаются в жизнь новым законом⁹⁰.

Сходным образом на страницах герценовского журнала Серно-Соловьевич называл отмену крепостного права «краеугольным камнем великого обновления России»⁹¹. Не столь важно, что *a posteriori* умеренный тверской экономист и будущий революционер, которому было суждено умереть в ссылке в 1866 году, будут причислены к разным сегментам политического спектра России: в начале 1860 года они объединились если и не в сплоченные, то уж точно в однородные по намерениям группы. То же касается и почвенников: в тот исторический момент игра велась все еще с открытыми картами, с более или менее одинаковой для всех перспективой (одним словом — герценовские социальные прогнозы, облеченные в более умеренную политическую оболочку). Разногласия начнутся позднее, когда придет время более горьких разочарований.

В ноябре 1862 года в доступной форме подобные установки излагал Разин, известный автор учебных пособий, позитивист и куратор отдела внешней и внутренней политики журнала «Время»: «Революция, как всякому известно, значит переворот, перемена, преобразование, и революция в быте наших бывших крепостных есть без сомнения не исключительная, не одиночная мера: она есть только начало, краеугольный камень будущего здания, приближающегося к идеалу (...). Вперед, вперед! — есть девиз нашего правительства»⁹².

Вскоре Разин определил, в чем собственно состоит «идеал», объединяющий весь тот идеологический лагерь, за который он в данном случае выступает: быстрое и справедливое перераспределение наделов, которое дало бы и помещикам и крестьянам необходимые средства для реорганизации собственных хозяйств; отмена сословий

90 Головачев А. А. Десять лет реформ. 1861–1871. С. 160.

91 Серно-Соловьевич Н. А. Публицистика, письма. М.: 1963. С. 6.

92 [Разин А. Е.] Наши домашние дела // Время. 1862. Т. 11. С. 89.

(особенно дворянского как привилегированной касты) и введение всех граждан в единый юридический статус; реформа процессуального права; налоговая реформа и перевод налогов с распределенных по сословиям физических лиц на имущество; реформа банковской системы, упразднение старых институтов государственного кредитования (лишенных всякой гласности и тоже действовавших согласно сословной логике) и создание банков для частных капиталов; выправление баланса финансовой системы (полностью сконцентрированной в Москве и Санкт-Петербурге) и ее частичное отклонение от пока доминирующих больших инфраструктурных предприятий в сторону малого, локального предпринимательства; создание сети местного самоуправления, представители которой избирались бы путем всеобщего голосования и владели широкими компетенциями в административной и экономической областях.

Подобные реформы — почерпнутые главным образом из всем знакомой герценовской платформы, теперь же проработанные согласно текущему положению дел — должны были продвинуть Россию на ее самобытном пути к социально-экономическому развитию, которое, согласно более «левому» крылу почвенников, должно было привести к радикальному перераспределению ресурсов и средств: иногда на страницах «Времени» проскальзывали осторожные намеки на «ассоциации» и «кооперативы» как возможный синтез между «капиталом» и «трудом». В этом смысле особенно показательна большая анонимная рецензия (возможно, принадлежащая перу того же Разина) на русский перевод труда по политической экономии Бруно Гильдебранда, ныне забытого немецкого последователя Фр. Листа⁹³. Автор статьи, вышедшей в номере, в котором упоминается обнаружение Манифеста об отмене крепостного права, характеризует экономическое развитие как фактор национального и культурного объединения, а затем переходит к его функции социального регулятора в эгалитарном смысле: отсюда интерес автора к новым «социальным теориям хозяйства»⁹⁴. В отличие от Гильдебранда, он разводит утопистские и уравнивающие коммунистические теории и более последовательный «социализм», который «стоит на пути к своему исчезновению в строгой, экономической

93 Политическая экономия настоящего и будущего. Соч. Бруно Гильдебранда. Перев. М. П. Щепкина // Время. 1861. Т. 3. Ср.: Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». 1861–1863. М.: 1972. С. 181–183.

94 Там же. С. 81.

науке, широко развивающейся на новых основаниях»⁹⁵: ярчайшим примером подобного «социализма» является, по мнению рецензента, книга «О положении рабочего класса в Англии» Фридриха Энгельса, который

(...) не отрицал частной собственности, стремился не к уничтожению, а только к тесному соединению частных хозяйств в ассоциации и доказывал пользу не общности, но «полуобщности» (...) или общения имуществ, т.е. их более тесную и органическую связь между собою (какая и замечается в новейшее время как в разного рода товариществах и ассоциациях капитала, так еще более в трудовых и чисто производительных ассоциациях западных работников)⁹⁶.

«Ассоциация» рассматривается как единственная альтернатива индивидуалистическому эгоизму и происходящему от него социальному раздроблению: «У хозяйственных общин как собирательных единиц и самостоятельных, правильно рассчитанные отношения между собою, — несравненно более чем у частных людей, с их страстями и капризами»⁹⁷.

Нет сомнения в том, что это тот же самый автор, который в другой длинной рецензии на одну экономическую работу высказал в сентябрьском номере несколько существенных замечаний по поводу российского экономического развития. Начав сразу с «вопроса о распределении богатства»⁹⁸, автор указывает на общий кризис ортодоксального фритредерства и строит апологию промышленного развития, которое основывалось бы на малом децентрализованном производстве, поддерживаемом аграрным сектором. Подобное производство подходит почти для всех отраслей промышленности по причине своей гибкости, малозатратности, конкурентоспособности и при этом менее вредно для рабочих.

Анонимный рецензент «Времени» продолжает линию Л. В. Тенгоборского, проживавшего в Европе русского экономиста и главного идеолога для тех, кто в те годы считал основными приоритетами российской экономики

95 Там же. С. 82.

96 Там же. С. 82.

97 Там же. С. 89.

98 О формах промышленности вообще и о значении домашнего производства в Западной Европе и России. Сочинение А. К. Корсака // Время. 1861. Т. 9. С. 42.

протекционизм и сельское хозяйство (причем он не отрицал перспективы промышленного развития, но представлял его как сеть мелких предприятий, занятых преимущественно обработкой продуктов сельского хозяйства): если одним он импонировал благодаря своему консервативному антикапитализму, то другие формулировали на основе его теорий идею «иноге» экономического прогресса, социально менее травматичного, нежели тот, что имел место в Западной Европе.

По мнению Тенгоборского, у русской промышленной системы «отпечаток особенный и, в некотором роде, национальный»; его корни — в долгой зиме, в больших расстояниях и слабости городских центров, что заставляет деревню производить продукты для себя, а отдельного крестьянина — в течение длительного периода заниматься несельскохозяйственной деятельностью: «От этих обстоятельств, свойственных России, и от нашего общественного устройства (...) произошла наша сельская промышленность, которая, в противоположность другим странам, предшествовала городской и быстро развилась сама собой и без помощи таможенных или других принудительных или искусственных мер»⁹⁹. Далее следовал развернутый список преимуществ данной модели развития; аргументы Тенгоборского были близки всем заинтересованным в недопущении в Россию западноевропейской модели развития и ее социальных последствий:

Эта-то промышленность приняла, так сказать, народный характер и так усвоилась нравам и обычаям нашего народа, применяясь легко к патриархальному устройству наших сельских общин, этому прочному основанию нашего общественного порядка, не отнимая рук от земледелия, не отвращая крестьянина от семейной жизни, не влеча за собой больших неудобств и гибельных последствий, происходящих от умножения и сосредоточивания рабочих классов в больших городах, не заражая пролетариата, этого бича новейших обществ. Именно эта сельская промышленность, говорим мы, заслуживает преимущественно перед другими охраны и покровительства¹⁰⁰.

99 Тенгоборский Л. В. О производительных силах России. Ч. 2. Вып. 2. О мануфактурной промышленности. СПб.: 1858. С. 9.

100 Там же. С. 10. «Сельская промышленность имеет также много невыгод и уступает городской, — дистанцируется в примечании И. В. Вернадский, редактор «Указателя экономического», сторонник фритредерства и индустриализации, участвовавший в издании этой книги, — в техническом отношении она производит и менее, и хуже городской, и потому уже особенного покровительства не заслуживает».

Идеал «легкого» и децентрализованного промышленного развития, подчиненного сельскому хозяйству и сохранению патриархальных и общинных структур, останется постоянным ориентиром для органов печати, в деятельности которых принимали участие Достоевский и его единомышленники. Изначально этот идеал был ориентирован на демократические и общинные ценности: по сравнению с ними национальный дифференциализм (противопоставление России Европе в качестве автономной формы цивилизации) играл второстепенную роль. Позднее в журналах «Эпоха», «Заря», «Гражданин» и в «Дневнике писателя» будет преобладать именно этот элемент; вера в особенную систему производственных отношений, якобы присущую России, приведет Достоевского к регрессивному сельскохозяйственному упрощенчеству, а также будет служить оправданием культурной политики, основанной на ксенофобии и имперском экспансионизме.

Однако в период издания «Времени» до этого было еще далеко: во второй статье анонимный рецензент-экономист прогнозировал, что благодаря предусмотрительной кредитной политике промыслы крестьянина-предпринимателя могут принять кооперативную форму развития с социалистическими чертами по примеру сельской общины. Позднее в том же духе высказывался Разин — о том, «что надо определить с точностью, что мы такое — земледельческий народ, или какой другой, определить отношение между собою различных слоев общества, определить наши свойства, наклонности, стремления, восприимчивость к преобразованиям, т. е. революционную способность, определить нашу способность к городской и сельской жизни и т. д.»¹⁰¹.

Похожими (хотя терминологически менее определенными) были высказывания и самого Достоевского. Однако к концу 1862 года подобные положения звучали уже анахронично, подтверждением чему стало решение властей закрыть журнал в марте следующего года. И действительно, с начала лета ход внутренней политики принял совсем не то направление, на которое надеялись почвенники. Иначе и быть не могло: хотя бы частичная реализация их программы поставила бы под угрозу само существование традиционного аппарата власти.

Оказавшийся в довольно сложном положении и находившийся под влиянием различных, зачастую противоборствовавших министерских лобби, неспособный

101 [Разин А. Е.] Наши домашние дела. С. 93.

воспринимать сигналы гражданского общества, царский режим принимал все более хаотичные и непоследовательные решения по всем ключевым вопросам того времени: от административной децентрализации до реформы судопроизводства, от перераспределения земельных наделов до колебаний в отношении общественного мнения.

В финансовом плане остались неосуществленными две крайне важных реформы: налоговая и реформа кредитной системы. Налоговое бремя продолжало угнетать исключительно крестьян: даже после отмены крепостного права их квота возросла до 89% от общего прямого налогообложения. В подобной ситуации были немыслимы ни сглаживание дефицита бюджета (который увеличился в пять раз с 1857 по 1864 годы), ни возникновение стабильного внутреннего спроса, который изменил бы направленность российской экономики (со спекуляций на развитие промышленного сектора).

Новый Государственный банк, задуманный Ламанским как получастное учреждение, способное осуществлять независимую от правительства денежную политику, быстро превратился в простой источник кумовского финансирования предприятий (достаточно напомнить, что первым его директором стал уже известный нам барон Штиглиц), а также в резервную кассу для операций министра финансов Рейтерна (правда, весьма скудную). Самой необдуманной из этих операций была попытка в мае 1862 — ноябре 1863 года восстановить конвертируемость бумажного рубля: эта операция привела к окончательному опустошению государственной казны и к падению бумажного рубля до рекордно низкого уровня. В 1873 году журнал Достоевского «Гражданин» так описывал эту проблему: « (...) государственный банк (...) стал ежемесечно назначать повышение курса, приплачивая разницу между естественным и назначаемым курсом, но, издержав на это почти 100 миллионов рублей, он не в силах был продолжать более делать такие же бесполезные затраты, должен был остановить выдачу на этот предмет денег и курс вдруг рухнул в ноябре *гораздо ниже того курса, как было 28 апреля 1862 года*».

Даже спустя десять лет после этого события автор статьи — отнюдь не горячая голова, но солидный предприниматель и экономист А. П. Шипов — не мог скрыть крайнего возмущения: «Вот результат пренебрежения значением торгового баланса, следуя внушениям плутократии, придумавшей эту операцию для собственного обогащения, на которую мы потеряли около 100 миллионов рублей и не только не достигли обещанной цели, но нанесли чрезвычайный

вред нашей торговле таким *быстрым* колебанием вексельного курса»¹⁰².

Еще один опытный предприниматель и публицист, сторонник «мягкого» славянофильства А. И. Кошелев сделал из валютного кризиса заключение, которое вскоре стало лозунгом всей «русской партии», включая Достоевского: протекционизм, отказывающийся от не связанных напрямую с производством финансовых капиталов. «Нагревайте термометр (...) сколько угодно, кладите его в футляр, или в мех: температура в комнате от этого не поднимется», — иронически отзывается Кошелев о неудавшейся попытке искусственной поддержки валютной конвертируемости:

Лишь топкою печи вы можете нагреть горницу, и тогда ртуть в термометре сама собою поднимется. Точно также исправить курс может одно развитие производительных сил в государстве; прилагайте все усилия к последнему, и первое придет само собою. Всякое искусственное поддержание или повышение курса — есть выдача премий в пользу привоза заграничных товаров и наложение подати на внутреннюю производительность; следовательно тут не приближение к цели, а противодействие ее достижению¹⁰³.

1864. «Крокодил»

Легко себе представить то смятение, с которым 5 ноября 1863 года современники встретили валютный крах, особенно если учитывать не внушающий уверенности в будущем политический контекст: польское восстание, майские пожары в Петербурге и волну нигилизма. «Биржевой наш кризис был неожидан и пал не на одного тебя, — утешал В. П. Боткин — не только утонченный литературный критик, сторонник “чистого искусства”, но и ловкий предприниматель — Тургенева, тогда проживавшего в Париже и именно в тот день благодаря одной неудачной транзакции (при посредничестве А. А. Фета) потерявшего 350 рублей. — Наша фирма должна была перевести в Лондон 280 тыс. рубл. И потеряла при этом кризисе более 30 тыс. руб. сер. (...) Да и сколько других потеряли при этом. Такое быстрое падение курса было беспримерно»¹⁰⁴.

102 Шипов А. П. Об устранении давлений плутократии // Гражданин. 1873. № 45. С. 1204.

103 Кошелев А. И. О нашем денежном кризисе. М.: 1864. С. 11–12.

104 Боткин В. П., Тургенев И. С. Неизданная переписка 1851–1869. М. — Л.: 1930. С. 195.

Прекращение платежей в Государственном банке «взволновало весь город или, лучше сказать, всю Россию». По свидетельству цензора А. В. Никитенко, «винят министерство финансов: Рейтерна, Ламанского, Штиглица, который теперь уехал за границу для каких-то финансовых операций, и об нем говорят, что он бежал. Слухи носят даже, будто Рейтерн увольняется. Одна газета даже советует ему застрелиться. Словом, в денежном и промышленном мире страшная суматоха»¹⁰⁵. Штиглиц не стал эмигрантом, а Рейтерн не застрелился: их карьеры спасло восстание в Польше. Тем не менее это было началом экономической депрессии, которая будет длиться несколько лет. Девальвация рубля вызвала подорожание импорта, а затем и российских товаров, цены выросли в полтора раза по сравнению с 1857 годом. Все это привело к банкротству большинства российских предпринимателей, включая братьев Достоевских.

Правительство, пытаясь сократить дефицит, было вынуждено поднять налоги, все больше принуждая участников рынка делать новые займы у Запада и принимать экстраординарные меры, самая значительная из которых — продажа в марте 1867 года Аляски и других колоний Соединенным Штатам за 11 миллионов рублей. Эта сумма помогла восстановить лишь малую часть золотых запасов, растраченных во время эксперимента с «конвертируемостью» рубля.

С середины 60-х годов начинается новая спекулятивная волна, которую поддерживала экономическая политика Рейтерна, а именно — финансирование через Государственный банк строительства инфраструктуры (в частности, железных дорог и паровой навигации) и выпуск заемных бумаг, которые при такой нестабильности рубля не могли не иметь головокружительный процент: «Четыре раза в год, — будет вспоминать Сергей Соловьев о первом внутреннем займе 1864 года, — множество людей обоего пола — в распаленном лихорадочном состоянии вследствие возможности обогатиться вдруг, без всякого труда, усилия со своей стороны, по воле бессмысленной судьбы; страшный нравственный и даже физический вред от нервного напряжения, от бессонных ночей»¹⁰⁶. О втором займе, обнародованном в феврале 1866 года Рейтерном (100 миллионов на 5% годовой прибыли за строительство железной дороги между Москвой

105 Никитенко А. В. Дневник в 3 томах. Т. 2. Л.: 1955. С. 380.

106 Цит. в: Бугров А. В. Очерки по истории Государственного банка Российской империи. М.: 2001. С. 203.

и Черным морем и за оплату внешних долгов), Анненков рассказывал Тургеневу:

Будучи провинциалом, Вы также не знаете, что такое финансовый и банковый кризис, а мы знаем (...). Люди сегодня, ничего не подозревая, покупают себе бумаги, приносящие проценты, а завтра вдруг неожиданно-негаданно объявляется второй внутренний заем во 100 миллионов — и все бумаги трещат, как клопы на свечке. Люди бледнеют, мечутся по сторонам с проклятиями, некоторые складывают багаж и собираются удавиться, а второй заем идет себе молчаливо, не обращая внимания. Все это мы видели на прошлой неделе¹⁰⁷.

Сходным образом Достоевский показывает в «Идиоте», какое разрушающее влияние могут оказывать социальные и антропологические последствия спекулятивной лихорадки на общество, только что вышедшее из феодально-бюрократического застоя николаевского царствования: «Если, например, в продолжение десятков лет все тащили свои деньги в ломбард и натащили туда миллиарды по четыре процента, то уж разумеется, когда ломбарда не стало, и все остались при собственной инициативе, то большая часть этих миллионов должна была непременно погибнуть в акционерной горячке и в руках мошенников, — и это даже приличием и благонаравием требовалось»¹⁰⁸.

В эти годы заканчивается процесс перераспределения собственности, начало которого совпало с Крымской войной. Его также можно назвать процессом «первоначального накопления» российского капитала: в небогатом государстве образовалась и вскоре соединилась с элитой предшествующей эпохи крупная финансовая буржуазия, еще немногочисленная, сконцентрированная в двух столицах, но уже весьма агрессивная. Самая главная ее черта — это ориентация на получение доходов не столько от производственной деятельности, сколько от участия в финансовых спекуляциях и в крупных инфраструктурных объектах, имеющих отношение к международной торговле и военно-промышленному сектору. С точки зрения этой финансовой аристократии, вечные колебания российского финансового рынка от ажиотажа до дефолта отнюдь

107 Анненков П. В. Письма к И. С. Тургеневу. Кн. 1. С. 184 (письмо от 24 февраля 1866 года). См. также письмо от 24 ноября 1864 года, в котором Анненков давал Тургеневу советы, достойные опытного брокера, о том, как пользоваться благами первого займа (там же. С. 163).

108 8; 269.

не представлялись чем-то достойным порицания или поводом для критики правительства; наоборот, нестабильность была для нее главным источником обогащения: таким образом воспроизводилась на русской почве та же система интересов, которая доминировала во Франции 30–40-х годов в период орлеанистской монархии, когда «через каждые четыре или пять лет — новый заем. А каждый новый заем давал финансовой аристократии новый удобный случай обирать государство, искусственно поддерживаемое на грани банкротства, — оно должно было заключать займы у банкиров на самых невыгодных условиях»¹⁰⁹.

В апреле 1864 года Федор Михайлович предложил брату приобрести в качестве приданого дочерям Маше и Соне 40 акций Московско-ярославской железной дороги: прибыль составляла 7 рублей годовых за акцию. Неожиданная кончина Михаила лишила семью возможности оплатить акции: они были выкуплены лишь в апреле 1866 года — вероятно, при поддержке Федора Михайловича¹¹⁰. Возможно, именно подобные опыты и привели впоследствии Аркадия Долгорукого к крайней осторожности в составлении экономической стратегии: «Главное, не рисковать, а это именно возможно только лишь при характере, — проповедует герой «Подростка»:

Еще недавно была, при мне уже, в Петербурге одна подписка на железнодорожные акции; те, которым удалось подписаться, нажили много. Некоторое время акции шли в гору. И вот вдруг не успевший подписаться или жадный, видя акции у меня в руках, предложил бы их продать ему, за столько-то процентов премии. Что ж, я непременно бы и тотчас же продал. Надо мной бы, конечно, стали смеяться: дескать, подождали бы, в десять бы раз больше взяли. Так-с, но моя премия вернее уже тем, что в кармане, а ваша-то еще летает¹¹¹.

Юный Аркадий в своей пропаганде непроизводительного накопления отважится противопоставлять себя уже упомянутому нами В. Кокореву, ярчайшему представителю тогдашних «приблатненных» русских дельцов: «Скажут, что этак много не наживешь; извините, тут-то и ваша ошибка, ошибка всех этих наших Кокоревых (...). Узнайте

109 Маркс К. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г. М.: 1985. С. 28.

110 См.: Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. Т. 2. СПб. 1994. С. 62, 111, 13, 70.

истину: непрерывность и упорство в наживании и, главное, в накоплении сильнее моментальных выгод даже хотя бы и в сто на сто процентов!»¹¹²

Из-за нехватки капиталов ассигнование на финансовые операции шло в основном из Западной Европы: в последующие за реформой 20 лет она будет поставлять 72% инвестированного капитала¹¹³. Сам Кокорев будет вспоминать об этом с горькой иронией:

После Парижского мира мы сознали необходимость покрыть Россию сетью железных дорог и начали с того, что народное дело сооружения дорог предоставили в руки французов — наших, так сказать, вчерашних врагов, и на русской земле во время коронации Александра II появился из Парижа известный аферист времен Наполеона III Перейра с толпой булочников, парикмахеров, башмачников и т. д., называвших себя опытными инженерами. Составленное под руководством этих лиц общество получило название Главного общества российских железных дорог (...) ¹¹⁴.

Патриотически настроенному дельцу из Костромы можно было бы заметить, что его негодование против «вторжения французов в дело русского народного труда» весьма подозрительно, поскольку как раз в то время он принимал деятельнейшее участие в маневрах ГОЖД. Однако подобная критика звучала и со стороны менее скомпрометированных очевидцев. Среди них был, например, Иван Аксаков, занятый в тот период разработкой неославянофильской программы «русского пути к капитализму», которую вскоре он будет пропагандировать на страницах еженедельника «День», не случайно субсидировавшегося самим Кокоревым. Уже в апреле 1857 года Аксаков писал из Парижа:

Все спрашивают здесь (...), отчего не участвует ни один русский в этом деле? Это отсутствие русского участия подрывает кредит к правительству за границей: «даже свои не верят», говорят негоцианты. Что отвечать на этот вопрос? Сказать ли, что ни к одному русскому и не обращались, что ни один купец не был спрошен, что русские вовсе устранены от этого

112 13; 70. Ср. первоначальный набросок отрывка в: 16; 218.

113 Ср.: *Гиндин И. Ф.* Государственный банк и экономическая политика царского правительства 1861–1892 гг. М.: 1960. С. 50–51.

114 *Кокорев В. А.* Экономические провалы. С. 72–73.

дела, что наше правительство плюет на общественное мнение в России... Но духу недостает говорить это иностранцу»¹¹⁵.

Спустя несколько лет в рассказе «Крокодил» (1864) сам Достоевский критиковал русский капитализм за его агрессивный и спекулятивный характер, а также за иностранное происхождение инвестированного в него капитала и за угрозу для традиционного социального равновесия, которую несла подобная модель развития. Очутившись в животе крокодила Карлхена, выставленного перед публикой петербургского Пассажа каким-то немецким полупушотом-полуантрепренером, бедный чиновник Иван Матвевич утешает себя, думая о «благодетельных результатах привлечения иностранных капиталов в наше отечество»¹¹⁶. На основе аналогичных умозаключений его начальник, Тимофей Семенович, отказывается вытаскивать подчиненного из живота крокодила:

Сами же мы вот хлопчем о привлечении иностранных капиталов в отечество, а вот посудите: едва только капитал привлеченного крокодилыщика удвоился через Ивана Матвевича, а мы, чем бы протезировать иностранного собственника, напротив, стараемся самому-то основному капиталу брюхо вспороть. Ну, сообразно ли это? По-моему, Иван Матвевич, как истинный сын отечества, должен еще радоваться и гордиться тем, что собою ценность иностранного крокодила удвоил, а пожалуй, еще и утроил. Это для привлечения надобно-с. Удастся одному, смотришь, и другой с крокодилом приедет, а третий уж двух и трех зараз привезет, а около них капиталы группируются. Вот и буржуазия. Надобно поощрять-с¹¹⁷.

Упоминание Пассажа тоже не случайно: построенный по образцу стеклянно-металлических галерей Парижа, он символизировал абсолютизацию торговли как стержня архитектурно-урбанистической организации пространства, в соответствии с которой «искусство поступает на службу к торговцу»¹¹⁸; возникновение Пассажа в Петербурге напоминало об инородном, нерусском происхождении этого процесса. «Проглотившее существо либеральнее проглоченного»¹¹⁹: такова была в черновиках

115 Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Т. 3. Письма 1857–1886 гг. М.: 2004. С. 15.

116 5; 186.

117 5; 190.

118 *Беньямин В.* Париж, столица XIX века. С. 158.

119 5; 329.

к «Крокодилу» формула «пути к капитализму», навязанного России собственной отсталостью, экономической политикой правительства и преобладанием иностранного капитала. Очевиден тут и автобиографический фактор: в месяцы, последовавшие за смертью брата Михаила (июль 1864 года), в пасть к беспощадному крокодилу попал сам Достоевский. Впрочем, происходившее перераспределение капитала следовало своим правилам: опять вспоминаются процессы, имевшие место во Франции Луи-Филиппа, когда «неустойчивое положение государственного кредита и обладание государственными тайнами давало банкирам и их сообщникам (...) на троне возможность вызывать внезапные, чрезвычайные колебания в курсе государственных бумаг, которые каждый раз неизбежно влекли за собой разорение множества менее крупных капиталистов и баснословно быстрое обогащение крупных биржевиков»¹²⁰.

Под влиянием кризиса подписка на российские журналы сократилась к 1865 году на четверть: «Подписчик едва наползает, а прежде он несся на крыльях веселия, — едко замечает Анненков. — Объясняют дело обеднением гнусного класса помещиков, который один только и занимается чтением (...). Мое мнение, что подписка упала оттого, что все сделались литераторами до последнего волостного писца, а литераторы норовят у нас читать на даровщинку»¹²¹. Уже обремененный долгами журнал «Эпоха» теряет аж 75% своих подписчиков. Лишенный возможности найти финансовых партнеров (среди отказавшихся участвовать можно назвать, например, Н. Некрасова), Достоевский был вынужден объявить о банкротстве и закрыть журнал. Начался тяжелый период в жизни Достоевского, который продлится более пяти лет, и связанная с ним общеизвестная «черная легенда» — бродяжничество по Европе, азартные игры, приступы эпилепсии, мрачные медитации и неистовая работа для выполнения невыполнимых обязательств, наложенных на него издателями.

Интерлюдия: Поэтика

Скажем несколько слов о тех кардинальных изменениях, которые в первой половине 60-х произошли в поэтике Достоевского — под гнетущим впечатлением от краха реформаторских перспектив и кажущейся иррациональности и неуправляемости экономических процессов.

120 *Маркс К.* Классовая борьба во Франции. С. 29.

121 *Анненков П. В.* Письма к И. С. Тургеневу. Кн. 1. С. 148 (письмо от 1 января 1864 года).

В привлекающей незаслуженно мало внимания юмореске «Скверный анекдот» (ноябрь 1862 года)¹²² писатель строит сюжет по канве, впоследствии неизменно повторявшейся в его произведениях: сюжет держится на «самонавязанном эмблематическом испытании» — герой переносит добытую теоретическим образом «истину» (суждение или ценность) в свой личный жизненный опыт, чтобы доказать ее всеобщую и обязательную значимость. Субъект, отчужденный от реального исторического процесса, перемещает ось своих влечений с уровня отношений между реальными людьми на одно или несколько иллюзорных начал (теоретические «истины» или фетишистски конкретизированные «объекты») компенсаторного характера. Эти начала в свою очередь проецируются на окружающую действительность в попытке пересоздать ее раз и навсегда по своему образу и подобию, следуя принципу «навязчивого повторения» (*Wiederholungszwang*)¹²³; отсюда чередование крупных и мелких «самонавязанных испытаний», носящих эмблематический характер (именно это Лев Пумпянский называл «тяготением к «квалифицированному» поступку»¹²⁴).

Тем не менее очевидная бесполезность навязчиво повторяющихся попыток пересоздать сферу реальных отношений все больше отчуждает субъекта-невротика от самой этой сферы. В «Скверном анекдоте» все оканчивается сравнительно безобидно — загулом и тяжелым стыдом героя повести: либерально настроенный генерал Пралинский, который «Не выдержал!», т. е. позорно провалил свое «эмблематическое испытание», которое состояло в том, чтобы зайти на свадьбу самого ничтожного из своих подчиненных и тем самым доказать сослуживцам-ретроградом возможность сближения и взаимопонимания сословий, до сих пор бывших искусственно отчужденными друг от друга.

Связь исторического контекста с настроением героя и его поступками подчеркивается в начале рассказа: «Этот скверный анекдот случился именно в то самое время, когда началось с такою неудержимою силою и с таким

122 Это единственное беллетристическое произведение, опубликованное занятым публицистикой Достоевским в течение более чем полутора лет — после издания «Записок из Мертвого дома» (май 1862 года) и до «Записок из подполья» (март 1864 года), которые были основаны на новой поэтике. Далее в наст. параграфе — все цитаты по: Т. 5. С. 5–45.

123 См.: Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. М.: 2001. С. 22.

124 Пумпянский Л. В. Романы Тургенева и роман «Накануне». Историко-литературный очерк (1929) // Пумпянский Л. В. Классическая традиция. Собрание трудов по истории русской литературы. М.: 2000. С. 382.

трогательно-наивным порывом возрождение нашего любезного отечества и стремление всех доблестных сынов его к новым судьбам и надеждам». Типичный представитель либеральной бюрократии Пралинский — «большой говорун и даже любил принимать парламентские позы» — всецело привержен туманной гуманистической риторике тех лет:

А между тем я именно держусь и везде провожу идею, что гуманность, и именно гуманность с подчиненными, от чиновника до писаря, от писаря до дворового слуги, от слуги до мужика, — гуманность, говорю я, может послужить, так сказать, краеугольным камнем предстоящих реформ и вообще к обновлению вещей. Почему? Потому. Возьмите силлогизм: я гуманен, следовательно, меня любят. Меня любят, стало быть, чувствуют доверенность. Чувствуют доверенность, стало быть, веруют; веруют, стало быть, любят... то есть нет, я хочу сказать, если веруют, то будут верить и в реформу, поймут, так сказать, самую суть дела, так сказать, обнимутся нравственно и решат все дела дружески, основательно.

Весь ход рассказа показывает, насколько новая поэтика Достоевского зависима от общественно-политических вопросов тех лет: постепенное уменьшение возможностей лавировать и действовать для «просвещенной» бюрократии (и для сочувствующей ей либеральной интеллигенции), в то время как проводимые реформы вызывали опасение «сверху» и непредвиденные и все менее управляемые общественно-экономические противоречия «снизу».

Вместо того чтобы реализовать мечтания Пралинского, «испытание» погружает героя в водоворот постепенно обостряющихся конфликтов: вторжение генерала дестабилизирует пеструю ткань социальных «низов», представленную на свадьбе (студенты, военные, мелкие чиновники, фамилии которых указывают на поповское происхождение), и дестабилизированный коллектив реагирует подобострастно и с едва завуалированной агрессивностью.

Состояние все усугубляющегося алкогольного отупения, охватывающее Пралинского, — точный метафорический эквивалент идеологических шатаний русских либералов перед крушением абстрактного идеала «прогресса», управляемого сверху:

В нем вдруг явились, даже осязательно для него же самого, какие-то две стороны. В одной был кураж, желание победы, ниспровержение препятствий и отчаянная уверенность

в том, что он еще достигнет цели. Другая сторона давала себя знать мучительным нытьем в душе и каким-то засосом на сердце. «Что скажут? чем это кончится? что завтра-то будет, завтра, завтра!..»

С возрастанием опьянения совершается переход от традиционного внутреннего монолога к характерному для зрелого Достоевского фрагментарному и мультивекторному монологу¹²⁵. Этот монолог, родственник сновидению, бреду, видению и отчасти смежный с ними, служит выражением для общества, раздробленного на группы и индивидов, неспособных принять общую ценностную парадигму и склонных, наоборот, к столкновениям разрушительного характера. Происшествия не являются элементами некоей логически мотивированной и рационально определяемой причинно-следственной цепи, но кажутся результатом вынужденного колебания между противоположными началами, не поддающимися синтезу. Можно сказать, что «Скверный анекдот» извлекает новую поэтику и новую топiku из стоящего непосредственно за ними общественного контекста и проецирует их в надысторический план.

Этот последний идентифицируется в конечном итоге с богом, но нередко гипостазируется либо в коллективный, тоже надысторический «народный дух», либо в ту или иную харизматическую личность, в некую *figuram Christi*, которая, благодаря своему эмпатическому заряду, спасает героя от эгоизма и влечения к энтропии, непобедимых рациональным способом. В «Скверном анекдоте» такому персонажу — матери Пселдонимова — отведена довольно скромная функция (она помогает приходящему в себя Пралинскому), но ясна сущность наметившейся между ними связи: «Иван Ильич сознал, что если есть на всем свете хоть одно существо, которого он бы мог теперь не стыдиться и не бояться, так это именно эта старуха» (5; 42). Поэтика зрелого Достоевского уже четко определена:

1. начальное тревожное состояние героя, вызываемое (не всегда эксплицитно) каким-то непреодолимым

125 Этот вид внутреннего монолога генетически связан, с одной стороны, с гоголевским сказом и, с другой, с сатирическими нарративными вставками в публицистике Достоевского предыдущих лет. См.: *Достоевский Ф. М.* Щекотливый вопрос: статья со свистом, с превращениями и переодеваниями. Время. 1862. Т. 10. Представленная здесь сценка, направленная против катковского «Русского вестника», имеет много общего со «Скверным анекдотом» не только в стилистике монологов, но и в идеологии, характеристике персонажей (Катков — Пралинский) и возникающих между ними конфликтах.

противоречием — или разрывом — между устремлениями (или «влечениями», см. далее) субъекта и комплексом общественных отношений, в который субъект погружен;

2. герой «упрощает» это состояние и придает ему форму некоего выбора между двумя (на самом деле иллюзорными) альтернативами и вырабатывает проблематическое «начало», за счет проверки которого он и надеется преодолеть разрыв;

3. самонавязывание «эмблематического испытания» для проверки проблематического «начала»;

4. испытание не ведет к преодолению разрыва, но наоборот усугубляет его, ускоряя процесс отчуждения и, наконец, разрушения субъекта; комплекс отношений, в которых он участвует, воспринимается и описывается им как некая все более бессвязная фантазмагория, сплетенная из символов-фетишей;

5. появляется харизматический персонаж, наделенный развитой способностью к эмпатии: он побуждает героя к духовному перерождению (евангельская *μετάνοια*);

6. положительный или отрицательный исход: духовное перерождение героя или его гибель (сумасшествие или самоубийство).¹²⁶

126 См.: *Carpi G. Verso Raskol'nikov. Dostoevskij fra letteratura e politica: 1856–1865.* Pisa: 2008. P. 179; *Carpi G. Storia della letteratura russa. Da Pietro il Grande alla rivoluzione d'Ottobre.* Roma: 2010. P. 484–486.

Часть 2. Достоевский

Разве нет определенной структуры денег, которую можно познать лишь в судьбе; и разве нет определенной структуры судьбы, которую можно познать лишь в деньгах?¹²⁷

Мы не жадны, нет, но однако же подавайте нам денег, больше, больше, как можно больше денег, и вы увидите, как великодушно, с каким презрением к презренному металлу мы разбросаем их в одну ночь в безудержном кутеже. А не дадут нам денег, так мы покажем, как мы их сумеем достать, когда нам очень того захочется¹²⁸.

Мистика «даровых и бешеных»

«В России вся собственность выросла из “выпросил”, или “подарил”, или кого-нибудь “обобрал”. Труды собственности очень мало. И от этого она не крепка и не уважается»¹²⁹. Возможно, именно о Достоевском вспоминал Розанов, когда в конце лета 1911 года писал эти строки, возвращаясь на поезде со своей дачи под Лугой. Ведь в произведениях Достоевского деньги никогда не возникают вследствие какой-либо производительной деятельности: в качестве исключения можно вспомнить предприимчивого Разумихина в «Преступлении и наказании», который решил вложить в издательское дело дядины капиталы, а также Шатова из «Бесов», пыгавшего начать торговую карьеру, правда, без особого успеха¹³⁰.

127 *Benjamin W. Parigi, capitale del XIX secolo. I «passages» di Parigi. Torino: 1986. P. 643 (критическое издание на итальянском языке, включающее все подготовительные материалы).*

128 15; 128.

129 *Розанов В. В.* Уединенное (прил. к журналу «Вопросы философии»). Т. 2. М.: 1990. С. 216.

130 6; 238, 10; 28.

В «Братьях Карамазовых» стремление к непроизводительному стяжанию — перводвижитель кошмарной эпопеи Дмитрия, судорожно разыскивающего роковые 3000 рублей, несмотря на очевидную невозможность их получить: «А между тем он до конца все то время надеялся, что достанет эти три тысячи, что они придут, слетят к нему как-нибудь сами, даже хоть с неба». Здесь Достоевский подмечает специфическую социоповеденческую черту: «Но так именно бывает с теми, которые, как и Дмитрий Федорович, всю жизнь свою умеют лишь тратить и мотать доставшиеся по наследству деньги даром, а о том, как добываются деньги, не имеют никакого понятия»¹³¹.

На нетрудоспособность русской интеллигенции указывает герою «Игрока» английский сахарозаводчик мистер Астлей¹³², но Алексей Иванович и не думает возражать и твердит с оттенком самолюбования: «В катехизис добродетелей и достоинств цивилизованного западного человека вошла исторически и чуть ли не в виде главного пункта способность приобретения капиталов. А русский не только не способен приобретать капиталы, но даже и расточает их как-то зря и безобразно». Далее следует саркастическое описание аккуратного и безупречного «немецкого способа накопления богатств» из поколения в поколение, который чужд герою: «Я уж лучше хочу дебоширить по-русски или разживаться на рулетке. Не хочу я быть Гюппе и Комп. чрез пять поколений. Мне деньги нужны для меня самого, а я не считаю всего себя чем-то необходимым и придаточным к капиталу»¹³³.

Подобные высказывания напоминают о «человеке из подполья», который хотя и держался далеко от области экономики и развивал диалектику в гораздо более отвлеченной форме, представлял все то же явление: нигилистический солипсизм как мнимое возмещение отсутствующей системы отношений (социальных и/или логических), при которых смысл, длительность и последствия действий отдельных людей становятся рационально предсказуемыми. Выражаясь языком Фрейда, деньги становятся объектом невроза, т.е. на них переориентируется влекущая сила (Triebkraft), оторванная от своего первичного объекта.

Поэтому неудивительно, что уже Л. Пумпянский, хоть и в иной перспективе, говорил о «мистической» силе денег

131 14; 331–332.

132 5; 317.

133 5; 225–226.

у Достоевского — они становятся носителем влечений, которые не поддаются рационализации и не подвержены диалектике: в «Игроке» «(...) деньги и денежная страсть есть род исторической благодати». Так Пумпянский объясняет, почему «бальзасизм», т. е. повышенный интерес к социально-экономическому измерению сюжета, часто оказывается у Достоевского смежным с мистическим восприятием мира и дополняет его: «В этом смысле у Достоевского правильно осмеян и отвергнут путь постепенного накопления богатства (Гюппе и Комп), который относится к деньгам даровым и бешеным так же, как нравственные заслуги (*ethica honesta* католического богословия) к благодати и чистой религиозной свободе»¹³⁴. Для личности, перерожденной опытом «чистой религиозной свободы», сфера экономических отношений не определяется больше конкретными причинно-следственными связями (например, трудовыми накоплениями, созданием прибавочной стоимости); более того, она им противоречит: «нравственные дела внерелигиозны, правильно накопленные деньги — неисторичны»¹³⁵.

У Достоевского накопление богатства обычно связано с азартными играми, с преступлениями (кражи, убийства, мошенничество), проституцией, спекуляцией или с непредвиденным получением наследства. В сибирских произведениях (в которых Достоевский — правда, не совсем удачно — пытался соперничать с Тургеневым и Салтыковым-Щедриным в описании провинциального мелкопоместного дворянства) полученные или обещанные наследства выражаются в крепостных «душах»: от шестисот душ, полученных полковником Ростаневым в «Селе Степанчикове и его обитателях», до четырех тысяч князя К. («Дядюшкин сон»). Однако вскоре наследство будет выражаться — не теряя при том ни капли своей причудливости и непредсказуемости — в деньгах: от жалких шести тысяч у героя «Записок из подполья» и ста тридцати пяти тысяч, доставшихся князю Мышкину, до «двух с половиной миллионов чистого капитала»¹³⁶, просыпавшихся дождем в руки Рогожина благодаря смерти его отца. Понятно, что так же неожиданно и иррационально деньги могут и испариться: вспомним Евгения Павловича Радомского и его «разврат-

134 Пумпянский Л. В. Достоевский и античность (1922) // Пумпянский Л. В. Классическая традиция. Собрание трудов по истории русской литературы. М.: 2000. С. 521–522.

135 Там же. С. 522.

136 8; 9.

нейшего» дядю, застрелившегося после того, как он промотал «триста пятьдесят тысяч казенных»¹³⁷.

Если мотовство, преступления и азартные игры характерны не только для произведений Достоевского, то только в них мы находим «катастрофически» экстравагантные капризы, из-за которых деньги меняют своих хозяев: самый известный из них — стотысячная пачка, предложенная Настасьей Филипповной Гане Иволгину как ордалия¹³⁸ в конце первой части «Идиота». Катастрофизм и иррациональность тесно связаны со способом денежного накопления, преобладавшим и в произведениях Достоевского, и в окружавшей его реальности: исключенные из процесса увеличения прибавочной стоимости через работу, деньги становятся неуловимым, но и всепроникающим призраком. Они — символ и катализатор подсознательных первичных влечений человека (каких именно, увидим дальше) и его же этико-метафизических колебаний, прообразом которых являются весы Иова: «Так же, как его героиня обошлась с Ганей, как Бог поступил с Иовом, писатель Достоевский испытывает деньгами свои создания», — это отмечает даже ученый, не слишком интересующийся экономикой. —

Испытание через деньги — это одна из самых неизменных форм человеческого сознания в мире романа. У Толстого переживание человеком перехода от жизни к смерти — это то, что очищает и раскрывает душу; для Достоевского же именно испытание через деньги спасает или разрушает человека и раскрывает его реальную сущность. *Денежное испытание — это ордалия мира романа*, со всем тем варварским безумием и произвольным трагизмом, которые вкладываются в этот термин. Природные стихии иных времен — воду, огонь — писатель заменяет современным и искусственным денежным элементом¹³⁹.

Укажем лишь на самые очевидные примеры: «смятая синяя пятирублевая бумажка»¹⁴⁰, которую в знак только что испытанного ею унижения засовывает в руку Лизы человек из подполья; Раскольников, который с запятыми руками роется в драгоценностях Алены Ивановны;

137 8; 290.

138 *Ордалия* — в Средние века: способ определения виновности или правоты обвиняемого путем пыток, т. н. суд божий — *Ред.*

139 *Catteau J.* La creation litteraire chez Dostoevskij. Paris: 1978. P. 220–221. См.: размышления на эту тему в книге, в целом написанной весьма туманно: *Rolland J.* Dostoevskij e la questione dell'Altro. Milano: 1990. P. 73–77.

140 5; 177.

Соня Мармеладова, которая приносит мачехе полученные после дефлорации тридцать целковых (есть соблазн назвать их «тридцатью серебряниками»); сложенная в восьмую долю сторублевая купюра, которая вылетела из правого кармана той же Сони и «описав в воздухе параболу, упала к ногам Лужина»¹⁴¹ в сцене поминок по Мармеладову; Раскольников и Заметов, которые спорят о том, как должен себя вести настоящий фальшивомонетчик; Аркадий, которого отец подозревает в том, что он «берет у князя [Сергея] за сестру деньги зазнамо»¹⁴². Опять в «Подростке» — Макар Иванович рассказывает нравоучительное житие купца-предпринимателя Максима Ивановича Скотобойникова, который «ситцевую фабрику построил и рабочих несколько сот содержал; и возомнил о себе безмерно»¹⁴³: он почти до смерти растерзал ребенка и потом откупился пятнадцатью рублями... Начиная с «Преступления и наказания» деньги и их судорожный и иррациональный переход из одних рук в другие представляют собой — перефразируя высказывание известного специалиста по Достоевскому — «шевеление того самого — родимого — хаоса, который проглядывает сквозь внешне устойчивые формы российской жизни»¹⁴⁴.

Еще современники Достоевского иронизировали насчет «случайности» фатального для человеческих судеб богатства в его произведениях: «Люди сталкиваются, знакомятся, влюбляются, дают друг другу пощечины — и все это по первому капризу автора, без всякой художественной правды, — возмущается критик и бывший сотрудник “Времени” Д. Минаев, констатируя нелогичную фрагментированность фабулы “Идиота”. — Миллионы наследства летают в романе, как мячики». Далее следуют насмешливые стихи: «У тебя, бедняк, в кармане/Грош в почете — и в большом,/А в затейливом романе/Миллионы нипочем./Холод терпим мы, славяне,/В доме месяц не один,/А в причудливом романе/Топят деньгами камин»¹⁴⁵.

В литературном мире Достоевского — выражаясь словами Адорно — «мысль о деньгах и все следующие за ней конфликты неизбежно проникают даже в самые

141 6; 304.

142 13; 241. Именно на это намекал незадолго до того Версиллов, а не на продажные гомоэротические отношения между Аркадием и князем, как полагает Б. Христа (С. 98). Ср. 13; 216.

143 10; 313–314.

144 Волгин И.Л. Пропавший заговор. Достоевский и политический процесс 1849 г. М.: 2000. С. 158.

145 Искра. 1868. 19 мая. № 18. С. 221.

тонкие эротические и самые возвышенные духовные отношения»¹⁴⁶. Вспомним хотя бы сцену, в которой Аглая Епанчина затевает не менее садомазохистскую игру, чем ее соперница Настасья Филипповна, и публично задает вопросы о деньгах пришедшему просить ее руки князю Мышкину: ее поведение вызывает у присутствующих недоумение, граничащее со страхом, «поскольку все отношения являются деловыми отношениями, упоминать последние нельзя, как нельзя говорить о веревке в доме повешенного»¹⁴⁷. И все же эта «веревка» тянется через все произведения Достоевского начиная с середины 60-х гг.

Достоевский часто с чрезмерной точностью указывает, в каком виде и количестве появляются деньги и как они переходят из одних рук в другие. Например, Разумихин рассчитывает стоимость каждого купленного для Раскольникова предмета одежды с той же товароведческой точностью, как торговец-покойник из рассказа «Бобок» обсуждал цены на могилы: «(...) лежу по собственному капиталу, судя по цене-с. Ибо это мы всегда можем, чтобы за могилку нашу по третьему разряду внести»¹⁴⁸. Даже мечтательные разговоры героев «Белых ночей» прерываются прозаичными денежными соображениями: едва ли случайно, что Настеньке удается так легко расстаться со своим поклонником после известия о его небольшом заработке (всего 1200 рублей в год)¹⁴⁹, в «Подростке» историк российских финансов может даже найти намек на систему монометаллического (серебряного) обмена, введенную в начале 40-х годов министром финансов Канкриным и отмененную сразу после Крымской войны¹⁵⁰.

Иногда тщательность описаний подобного рода становится маниакальной: «Наутро, — вспоминает Рогожин финансовые операции, выполнение которых было так неосторожно доверено ему отцом, — покойник дает мне два пятипроцентные билета, по пяти тысяч каждый, сходи, дескать, да продай, да семь тысяч пятьсот к Андреевым на контору снеси, уплати, а остальную сдачу с десяти тысяч, не заходя никуда, мне представь»¹⁵¹. С такой же скрупулезностью отчитывается Митя перед братом Алешей о том, как закончилась его первая встреча с Катериной: «Вскрываю — сдача с билета в пять тысяч. Надо было всего четыре ты-

146 Adorno T. W. *Minima moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben*. Darmstadt: 1998. [Gesammelte Schriften. Bd. 4]. S. 48 (Aph. 22).

147 Там же. S. 38 (Aph. 20).

148 21; 45.

149 2; 137.

150 13; 165.

151 8; 12.

сячи пятьсот, да на продаже пятитысячного билета потеря рублей в двести с лишком произошла. Прислала мне всего двести шестьдесят, кажется, рубликов, не помню хорошенько»¹⁵². Так же подробно и с едким сарказмом Иван Карамзov описывает будущее «семинариста-карьериста» Михаила Ракитина: он покинет монастырь, займется публицистикой в симпатизирующих социалистам журналах и в конце концов станет их владельцем. Сам Ракитин предсказывает Алексе свое будущее сходным образом:

(...) оттенок социализма не помешает мне откладывать на текущий счет подписные денежки и пускать их при случае в оборот, под руководством какого-нибудь жидишки, до тех пор, пока не выстрою капитальный дом в Петербурге, с тем, чтобы перевести в него и редакцию, а в остальные этажи напустить жильцов. Даже место дому назначил: у Нового Каменного моста через Неву, который проектируется, говорят, в Петербурге, с Литейной на Выборгскую...¹⁵³

Совсем уж нелепым при кратком пересказе покажется скопление низостей и мелочных интересов, из которых сплетен сюжет «Бесов»: Николай Ставрогин, движимый тайнственным позывом к самоуничтожению, тайно обручается с калеккой и слабоумной Марией Тимофеевной Лебядкиной, за что его шантажирует, вымогая деньги, ее брат, отставной капитан Игнат Лебядкин; в Швейцарии, где Ставрогин намеревался организовать празднование своей помолвки с Елизаветой Николаевной (к тому времени уже им соблазненной), он обольщает еще и сестру Шатова Дарью Павловну; он же поручает Дарье передать триста рублей капитану Лебядкину, который утверждает, что изначально сумма равнялась тысяче рублей и обвиняет девушку в том, что она прикарманила себе большую часть; мать Николая Всеволодовича и «покровительница» Дарьи Варвара Петровна пытается избежать скандала, предлагая Дарье выйти замуж за Степана Трофимовича Верховенского, согласие которого обменивается на пожизненное содержание и восемь тысяч рублей, необходимые старому либералу для улаживания недостачи в хозяйстве поместья сына Петра...

В одной части романа, так и не включенной в окончательную версию, «князь», прототип Ставрогина, растолковывает безмолвному Шатову причину такого разброда и шатаний. «Причина нравственная» объясняется общими

152 14; 106–107.

153 14; 77.

местами, выработанными идеологией почвенничества: потерей корней и «самоуверенности» из-за петровских реформ и вековой классово-бюрократической «опеки»; однако будущий «гражданин кантона Ури» не забывает и об экономическом измерении этого культурно-исторического тупика:

Ну так вот, без этого нравственного устоя и рубль не поправится. Почему? Да вы посмотрите только на русских капиталистов и на ихние капиталы: все точно на рулетке выиграны. Отец соберет миллионы и не накоплением, не трудом, а какими-нибудь фокусами. Большинство наших капиталов нажито фокусами. Сплошь да рядом, и не диво слышать, что наследники все в дворяне вышли, дело бросили и в гусары пошли или все промотали. Значит, все это фокус, до того, что тут нет и понятия, как капитал образуется¹⁵⁴.

Подтвердив устами «князя» спекулятивный и непродуцированный характер богатств (называть их «капиталами» не вполне точно), которые накоплены сначала под опекой сословно-бюрократического государственно-аппарата, а потом во время кризиса конца 50-х годов, Достоевский снова подчеркивает необходимость создания производства, соответствующего национальной специфике и основанного на широко распространенном предпринимательстве:

Да и не может там быть больших капиталов, где нет малых, огромного большинства малых, законной естественной пропорции с большими. Большой капитал существует только потому, что есть малый. Весь кредит и все упавшие рубли зависят только от одной устойчивости малых капиталов. Без того ничего не поправится и ничего не восстановится никакими фокусами. Без твердой устойчивости малых капиталов и без обилия их — кредиту не будет¹⁵⁵.

Несмотря на то, что Достоевский, решив не отягчать текст романа политико-экономическими подробностями, вычеркнул вышеприведенный анализ, очевидна близость рассуждений «князя» экономической платформе «особого», «ассоциативного» и «диффузно-мелкопромышленного» пути, который, следуя по стопам Листа и Тенгоборского, отстаивали в свое время аналитики «Времени», а также неославянофилы из журнала «День» (последние, правда, делали упор на интересы купцов-предпринимателей типа

154 11; 155.

155 11; 155–156.

Кокорева). Однако после десятилетий спекулятивных волн и производственного застоя Достоевский уже не так исполнен доверия и энтузиазма, как при издании журнала «Время», да и «народный характер» кажется теперь ему несовместимым с буржуазной этикой трудолюбия:

А ведь происхождение малых капиталов единственно от народного характера происходит и, конечно, еще оттого, насколько этому характеру развязаны руки. А есть ли у нас хоть малейшее понятие в обществе о том, как образуется капитал? Понятие-то и есть, но не в привычках, не в нравственном основании народа. А ведь и для образования капиталов нужно тоже твердое нравственное основание, капитал собирается лишь трудом и упорным накоплением от поколения к поколению¹⁵⁶.

Затем следует неутешительное сравнение русского менталитета с немецким, которое напоминает анализ Алексея Ивановича из «Игрока»: «Я видел у немцев: человек дом имеет трехэтажный, каменный и доход получает, а между тем он все тот же сапожник и сам продолжает тачать сапоги, упорством и берет. Он копит и заранее знает, сколько накопит. Он спокоен и тверд, он неизменчив, хотя и идеи приобретает, и образование приобретает, но сапожный молоток все-таки в руках»¹⁵⁷. Трудовая этика, стимулирующая накопление капиталов, необходимых для поддержания великого государства, есть результат вековых процессов, которые в России были прерваны (разумеется, речь идет о петровских реформах): «Там хвалите или не хвалите, но одно похвалы тут достойно — что идея эта твердо стоит, не шатается, выработалась, верует в себя и в силу свою — а эта самоуверенность могла лишь образоваться в народе веками, а не иначе как с твердым устоем и с твердой неуклонною верою в силу свою — что и есть самая сущность национальности. У нас этого ничего нет»¹⁵⁸.

Кровожадный фетишизм

Именно в «Братьях Карамазовых» обращение богатства обретает черты кровожадного фетишизма, который как бы принуждает персонажей машинально повторять собственные жесты и поступки.

156 11; 156.

157 11; 156.

158 11; 156.

Уже в первых главах романа, начиная с представления самих героев, денежная тема врывается в повествовательную ткань, причем ее пропорции по отношению к остальному тексту удивительны: в среднем 14,6% всего словесного материала (вычисленного по числу графем тех предложений, где так или иначе идет речь о деньгах), распределенного таким образом: 10,7% в первой части, относящиеся к предшествующим повествованию событиям, связанным с Федором Павловичем; 22,1% во второй главе — Дмитрий и его первые споры с отцом; 13,5% в третьей части — словесный материал, относящийся к двум сыновьям от второго брака; 12,1% в четвертой главе (может показаться поразительным факт, что в этой части 64,8% словесного материала, касающегося денег, относятся к Алеше).

Отношение к деньгам становится источником целой серии роковых намеков, определяющих судьбу главных героев: невротическое и «фекальное» барышничество Федора Павловича, склонность Дмитрия к непроизводительному расточительству — как денег, так и собственного существования, спокойное и блаженное — иногда даже чрезмерное — равнодушные Алеши, травматическое осознание собственной подчиненности и второстепенности, которое сопровождает Ивана всю жизнь с самого детства...

В происхождении Смердякова бесовская (ребенок-«дракон» Григория, перевоплотившийся в нем; баня, в нечистоте которой он рождается; зачатие «от бесова сына и от праведницы»¹⁵⁹) и смертоносная символика (смерть матери, причиненная его рождением) переплетаются с мотивом экономического обеднения: его дед, отец Лизаветы Смердящей, «был бездомный, разорившийся и хворый помещик Илья, сильно запивавший и приживавший уже много лет в роде работника у одних зажиточных хозяев»¹⁶⁰.

В форме государственного пятипроцентного (т.е. безымянного банковского билета внутреннего займа) или радужных сторублевых купюр — деньги появляются повсюду как тень, отброшенная актами насилия и произвола, которыми усеян роман: козни Федора Павловича; сексуальный шантаж Катерины со стороны Дмитрия; припрятанные на груди Дмитрия 1500 рублей как *temento* собственного бесчестья; возвращение пана Муссяловича, которого притягивает накопленный Грушенькой капитал; хранящаяся

159 14; 92–93.

160 14; 90. Тема насилия и тут сопутствует теме денег: «Вечно болезненный и злобный Илья бесчеловечно бивал Лизавету» (там же).

за иконой пачка банкнот, которой старик Карамазов намеревался купить благосклонность той же Грушеньки и которую в доказательство отцеубийства показывает позднее Смердяков Ивану... Характерный пример — «куча денег» в окровавленных руках Мити, когда тот направлялся к дому своего приятеля Перхотина, замышляя устроить ночную оргию в Мокром, а на рассвете покончить с собой:

Петр Ильич все больше и больше удивлялся: в руках Мити он вдруг рассмотрел кучу денег, а главное, он держал эту кучу, и вошел с нею, как никто деньги не держит и никто с ними не входит: все кредитки нес в правой руке, точно на показ, прямо держа руку перед собою (...). Бумажки были все сторублевые, радужные, придерживал он их окровавленными пальцами¹⁶¹.

Лейтмотив денег навязчиво повторяется на 13 страницах главы: 17 раз словом «деньги», 6 раз «рубли», 4 раза «кредитки», 3 раза «сторублевые», 2 раза «бумажки», и это не считая второстепенных вариантов («тысячи», «радужные»), причем этот лейтмотив почти всегда связан с другим лейтмотивом — «кровь» (встречается 20 раз)¹⁶².

Несостоявшемуся самоубийству несостоявшегося отцеубийцы служит противовесом характерный для Достоевского прием «раздвоения» — действительно совершившееся самоубийство настоящего отцеубийцы Смердякова. С аналогичным параллелизмом в последние часы жизни лакея присутствуют и беспощадно действуют деньги, «три пачки сторублевых радужных кредиток»¹⁶³, как бы зеркальные по отношению к пачке Дмитрия: та была запятнана кровью, но не была добыта отцеубийством; эта — плод и тотемический символ паррицида — наоборот чистая и аккуратно хранимая под книгой Исаака Сирина.

Деньги дестабилизируют психологическое равновесие тех, кто ими пользуется, даже если они движимы лучшими намерениями: достаточно вспомнить «страшное впечатление», которое испытал капитан Снегирев, когда Алеша вручил ему «две новенькие радужные сторублевые кредитки», подаренные ему Катериной Ивановной, и как благодарность Снегирева сразу преобразовывается в «дикую злобу»¹⁶⁴. Мотив внезапной и иррациональной смены чувства благодарности на агрессию у Достоевского периодически

161 14, 359.

162 14; 357–369.

163 15; 60.

164 14; 190–193.

ски повторяется и часто связан с дарением денег: Полина в «Игроке» бросает в лицо Алексею Ивановичу пачку с пятьюдесятью тысячами франков; а еще раньше, в «Селе Степанчиково и его обитателях», Фома Опискин осыпает потоком оскорблений полковника Ростанева, предлагающего ему пятнадцать тысяч¹⁶⁵. Также следует вспомнить, что подобная сцена состоялась между Катей и Нерадовым в романе Михаила Достоевского «Деньги».

Остается отметить, как это ни парадоксально после всего вышесказанного, *незанимательность* персонажей в богатстве как таковом: «Трагический персонаж теряет или находит себя, мирится с собой или отыгрывается в глазах других не *по вине* денег, а *через* них»¹⁶⁶ — так подытоживает свои наблюдения о Достоевском Ж. Като. «Как ни странно, деньги в романе вообще существуют как условность, — замечают по поводу “Преступления и наказания” двое русских литературоведов, обычно не уделяющих особого внимания социально-экономическому аспекту литературы. — С одной стороны — те пятаки, которые ничего не меняют (их нищий Раскольников и не считает). С другой — некий капитал как законченная, разовая сумма, которая не делится и не копится, а существует в идеальном представлении, — капитал как средство, но не цель»¹⁶⁷.

Деньги, добытые средствами, не имеющими ничего общего с каким-либо производственным процессом, сами по себе не имеют и не могут иметь ценности: ведь их обладатели не ставят себе целью накопить капитал, т. е. вложить их в какую-либо деятельность с целью получения добавочной стоимости.

Даже Аркадий Долгорукий и Федор Павлович Карамазов — двое персонажей, безоговорочно преданных мамоне, — относятся к накоплению богатств как к чистой тезавризации¹⁶⁸, направленной на удовлетворение иных, обсессивных и всепоглощающих влечений: «могущество и уединение»¹⁶⁹ в первом случае и куда более прозаичные

165 5; 298, 3; 84. Другая волнующая сцена «златоухльства» происходит в конце встречи между Ставрогиным и каторжником Федькой. См.: 10; 221.

166 *Catteau J.* La creation litteraire chez Dostoevskij. Cit. P. 221.

167 *Вайль П.Л., Генис А.А.* Родная речь. Уроки изящной словесности. М.: 1999. С. 239.

168 *Тезавризация* — накопление денег путем изъятия их из обращения. — *Ред.*

169 13; 73. Характерно, что, упомянув спекуляции Джона Ло в Париже в XVIII веке, юный Аркадий недвусмысленно объявляет о желании ограничиться тезавризацией вымышленных будущих богатств, тщательно уберегая их от любого промышленного или финансового употребления. Шипов писал о Джоне Ло в важной статье (мы к ней еще вернемся) в «Гражданине», в период, когда его возглавлял Достоевский (1873, № 35).

сексуальные аппетиты во втором¹⁷⁰; тот же Дмитрий Карамазов, вечный охотник за деньгами, воспринимает их не иначе как «аксессуар, жар души, обстановку»¹⁷¹; сама Аграфена Александровна, «сухая жидовка» под протекцией «большого дельца» Самсонова, которая «в компании с Федором Павловичем Карамазовым (...) занималась скупкою векселей за бесценок, по гривеннику за рубль, а потом приобрела на иных из этих векселей по рублю на гривенник»¹⁷², увлечена своим малопочтенным делом потому, что стремится компенсировать травму молодости, нанесенную поляком-соблазнителем. «Стала я капитал копить, без жалости сделалась, растолстела, — признается она Алеше, — помнела ты думаешь, а? Так вот нет же, никто того не видит и не знает во всей вселенной, а как сойдет мрак ночной, все так же как и девчонкой, пять лет тому, лежу иной раз, скрежещу зубами и всю ночь плачу: “Уж я ж ему, да уж я ж ему”, думаю!»¹⁷³ «В молодом сердце, может быть заключавшем в себе много хорошего, затаился гнев еще слишком с ранней поры, — говорит о ней прокурор Ипполит Кириллович, следуя указаниям Ракитина. — Образовался характер расчетливый, копящий капитал»¹⁷⁴.

Именно содержанки (но не проститутки, наделенные, как правило, жертвенной и христологической валентностью) у Достоевского как нельзя лучше иллюстрируют компенсирующую роль, которую В.Беньямин приписывает деньгам по отношению к «стыду» за символизируемую проституцией диалектику власти/подчинения, в которой выражаются социальные отношения во время торжества финансового (непромышленного) капитализма: «Этот стыд ищет и находит себе гениальное убежище: деньги. Поэтому многие оттенки денежного оборота уподобляются оттенкам любовных игр — медленным или быстрым, скрытным или свирепым. Что это означает? Рана, краснеющая стыдом на теле общества, испускает кровь и заживает. Она покрывается металлической коркой»¹⁷⁵. Грушенька (и отчасти Настасья Филипповна) использует деньги в сомнительных целях так же ловко, как и ее мучители-мужчины, и следовательно для нее это отнюдь не «a path leading to emancipation

170 14; 157.

171 14; 100.

172 14; 311. Гривенник — десять копеек, т. е. одна десятая часть рубля. Следовательно, Достоевский приписывает Грушеньке умение извлекать из спекуляций прибыль в 10 000 процентов!

173 14; 320.

174 15; 132.

175 *Benjamin W. Parigi, capitale del XIX secolo. Cit. P. 638.*

and equality»¹⁷⁶, как утверждает Б.Христа, но, наоборот, свидетельствует о том, что «униженная и оскорбленная» женщина подражает вышеупомянутым мучителям, пользуется теми же инструментами и движется к тем же (само)разрушительным последствиям.

Итак, деньги у Достоевского — это коэффициент агрессии¹⁷⁷. Коэффициент этот напрямую связан с маниакальным сексуальным фетишизмом, с амбивалентностью ненависти и любви, активности и пассивности (садомазохизм), с сублимацией выраженных в (само)разрушительной форме либидозных влечений. Удивительно, как Зигмунд Фрейд — внимательный читатель и проницательный интерпретатор творчества Достоевского — не увидел в произведениях писателя неиссякаемого источника материалов для работ, посвященных садистско-анальной фазе детского сексуального развития и комплексу символических ассоциаций, которые возникают в этой фазе между экскрементами, понятием «подарка» и — позднее — как раз деньгами: «этот ценный материал в течение жизни привлек к себе психический интерес, направленный первоначально на кал, продукт анальной зоны»¹⁷⁸.

В «садистско-анальной фазе», которая предшествует установлению либидозных влечений в области гениталий, «(...) отношение к объекту проявляется в форме стремления, которому безразлично, будет ли при этом подавлен или уничтожен объект. Эту форму предварительной ступени любви вряд ли можно отличить по ее отношениям к объекту от ненависти»¹⁷⁹. Отсюда глубокая «амбивалентность» садистской активности, понимаемой как «влечение к овладению» (*Bemächtigungstrieb*)¹⁸⁰ с оттенком разрушения,

176 Christa B. Dostoevskij and money. Cit. P. 104.

177 Я обязан этой синтагмой — как и многими другими — незабвенному другу и учителю Максиму Ильичу Шапиру. — Г. К.

178 Фрейд З. Из истории одного детского невроза [Aus der Geschichte einer infantilen Neurose] // Freud S. Gesammelte Werke. Bd. 12. Frankfurt a. M.: 1978. S. 103–104. Основа этой теории впервые была разработана в: Фрейд З. Характер и анальный эротизм [Charakter und Analerotik, 1908]. Ibid. Bd. 7. 1976. S. 203–209. В этой статье Фрейд присваивает личности, в характере которой доминирует анальный эротизм, черты «порядка, скупости и упорства» (s. 205). В пометке от 1920 года к работе «Три очерка по теории сексуальности» [Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905, 1914, 1920], он перечисляет следующие черты: «высокомерие, скудость, педантичность». Ibid. Bd. 5. 1972. S. 141.

179 Фрейд З. Метапсихология. Влечения и их судьба. М.: 1999 (первое нем. изд. 1915). С. 148–149.

180 Фрейд З. Предрасположенность к неврозу навязчивости [Die Disposition zur Zwangsneurose, 1913] // Freud S. Gesammelte Werke. Bd. 8. Frankfurt a. M.: 1978. S. 448.

и мазохистской пассивности между любовью и ненавистью, которая выражается в поведении ребенка по отношению к фекалиям¹⁸¹.

Поэтому взрослый индивид, регрессирующий в «анальную фазу», воспринимает человеческие отношения в нарциссическо-садистской форме, т.е. не иначе как насильственное присвоение, представленное теперь — вместо фекалий — фетишем денег. Позднее Фрейд дополнит теорию толкованием амбивалентности любви (нежности) — ненависти (агрессивности) как проявления первичного влечения к смерти, которое может быть направленным как на самого себя, так и на внешний объект¹⁸².

Указанное соответствие модели Фрейда психическим механизмам, представленным у Достоевского, нуждается в уточнении, поскольку русский писатель и австрийский ученый объясняют возникновение подобных феноменов совершенно разными причинами. Когда Фрейду попадались случаи регрессии пациента к прегенитальному эротизму (как в известном случае человека-волка), он создавал этиологическую картину, основанную исключительно на индивидуальном опыте, объясняя их в первую очередь подавлением онанизма и комплексом кастрации¹⁸³; у Достоевского подобная регрессия — с последующими символическими ассоциациями, подавлениями (*Verdrangung*) и неврозами — отражает общую атмосферу, в которой осуществлялась социально-экономическая «модернизация» России, а также психологические эффекты, которые эти процессы оказывали на вовлеченных в них субъектов.

Деньги в позднем творчестве Достоевского — объект непроектируемой спекуляции, исключенный из процесса валоризации посредством труда, — превращаются в символ и катализатор энтропии, а их накопление (или

181 Фрейд З. О смещении влечений, особенно в области анального эротизма [*Über Triebumsetzungen, insbesondere der Analerotik*, 1905]. *Ibid.* Bd. 10. 1981. S. 407–408.

182 Этот этиологический комплекс некоторые ученики Фрейда распространяют на психологию азартных игр с результатами, весьма показательными для Достоевского и в целом для темы «финансовое накопительство — садомазохизм» в период зарождения финансового капитализма». См.: *Simmel E.* К психоанализу игрока [*Zur Psychoanalyse des Spielers*]. *Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse*. 1920. N. 4; *Bergler E.* К психоанализу азартного игрока [*Zur Psychologie des Hasardspielers*]. *Imago*. 1936. N. 4 (XXII). Впоследствии обе статьи были кратко изложены В. Беньямином в подготовительных материалах к его шедевр «Париж, столица XIX века». См.: *Benjamin W.* *Parigi, capitale del XIX secolo. I «passages» di Parigi*. Torino: 1986. P. 658–659.

183 См.: Фрейд З. Из истории одного детского невроза. S. 49.

расходование) является всего лишь одним из эффектов влечения к смерти, которое властвует над атомизированными и изолированными индивидами: процессы российской «модернизации» отчуждают личность от социума и подвергают ее психическому «расслоению» (или «распаду», *Entmischung*), т. е. разлагают нормальную психику как систему взаимосвязей на множество независимых друг от друга влечений, стремящихся к полному удовлетворению¹⁸⁴.

Психическое «расслоение» позволяет влечению к смерти действовать автономно и нацеливаться — в зависимости от направления, приданного ему либидо, — на саморазрушение субъекта или на разрушение внешних объектов. В двух кражах-убийствах в романе «Братья Карамазовы» воровство является составной частью убийства, а не наоборот: «Краденые (...) вещи и деньги мало смущали его, — говорит Зосима о своем “таинственном посетителе”, — ибо (...) сделана кража не для корысти, а для отвода подозрений в другую сторону»¹⁸⁵; не присвоение денег, а «самолюбие необъятное, и притом самолюбие оскорбленное»¹⁸⁶, выливающееся во влечение к смерти, побуждает Смердякова совершить отцеубийство, на что указывает быстрая передача денег Ивану и последовавшее за ней самоубийство.

Преобладание аналогичных влечений объясняет молчаливое согласие самого Ивана с преступлением, хотя молодому автору «Великого инквизитора» вовсе не чужды прагматические соображения относительно отцовского наследства, которое может прикарманить себе Грушенька. Что же касается Дмитрия, то сам прокурор Ипполит Кириллович во время заключительной речи подчеркивает, что «не в деньгах было дело, а в том, что этими же деньгами с таким омерзительным цинизмом разбивалось счастье его»¹⁸⁷. Кроме того, Алеша замечает Лизе Хохлаковой, что ее маниакально-депрессивные кризисы и их садомазохист-

184 По Фрейд, например, «разрушительный первичный позыв регулярно служит Эросу в целях разгрузки», так что «в садистическом компоненте сексуального первичного позыва» мы имеем «классический пример целесообразного смешения первичных позывов, в ставшем самостоятельным садизме, в качестве извращения, пример такого распада»; и эпилептические припадки, и «многие тяжелые неврозы, например неврозы принуждения», являются результатом «распада первичных позывов смерти». Наконец, «сущность регресса в либидо — например от генитальной до садистически-анальной фазы — основывается на распаде первичных позывов, и наоборот: развитие от ранней к окончательной генитальной фазе имеет условием увеличение эротических компонентов». См.: *Фрейд З. Я и Оно*. М.: 2001. С. 132.

185 14; 278.

186 14; 243.

187 15; 132.

ские последствия являются ни много ни мало результатом роскошной жизни, которую она ведет¹⁸⁸.

Следовательно, бесцельной циркуляции непроизводительного богатства сопутствует склонность к жестокости, физическому и психическому насилию и к сексуальным извращениям. Люди, вовлеченные в перераспределение богатств, которое последовало за отменой крепостного права, впервые были изображены Достоевским в «Униженных и оскорбленных» в образе Архипова, «бесстии, шельмы», занятого надуванием торговцев-простаков: «Иуда и Фальстаф, все вместе, двукратный банкрот и отвратительно чувственная тварь, с разными вычурами»¹⁸⁹ — так неудачник-алкоголик и делец мелкого пошиба Маслобоев описывает Архипова и намекает на его склонность к педофилии, которая вскоре конкретизируется попыткой изнасилования малолетней Нелли. Таким образом, здесь впервые затронута тема сексуального извращения, которое означает у Достоевского крайнюю степень психологической дегенерации. В его романах сексуальное извращение связано с образами «хищных людей» (Свидригайлов, Ставрогин, Федор Карамазов) и является характерным качеством конкретного социального актора: финансового спекулянта. Неслучайно другой персонаж «Униженных и оскорбленных», князь Валковский, успешный и беспринципный делец, демонстрирует склонность к сексуальному эксгибиционизму.

Последующая вариация на ту же тему — без которой, о чем бы ни заходила речь, Достоевский фактически не может обойтись — это Зверков, предмет противоречивых влечений героя «Записок из подполья», который уже за школьной партией (и, следовательно, в 40-е годы) давал наставления своим товарищам о связанных с крепостным правом эротическо-садистских прерогативах: «разыгравшись наконец как молодой щенок на солнце, вдруг объявил, что ни одной деревенской девы в своей деревне не оставит без внимания, что это — *droit de seigneur*, а мужиков, если

188 15; 21. В психоаналитической перспективе порывы бешенства Лизы суть не что иное, как попытка садомазохистского соблазнения: стремление вызвать негативную реакцию и спровоцировать наказание (см.: Фрейд З. Из истории одного детского невроза. S. 52). Такое соблазнение осуществляется в отношении фигур отцовского типа со стороны регрессирующих к «анальной» фазе прегенитальной сексуальности. Этот механизм является одним из наиболее часто воспроизводимых Достоевским в отношении как персонажей-подростков (Аглая Епанчина, Аркадий Долгорукий), так и детей (Нелли, Илюша), и взрослых (Настасья Филипповна, герой «Записок из подполья»).

189 3; 263–264.

осмелятся протестовать, всех пересечет и всем им, бородатым канальям, вдвое наложит оброку»¹⁹⁰. Лет через двадцать мы увидим тех же самых школьников, остепенившихся и скромно довольствующихся борделем, поскольку их наиболее извращенные влечения к тому времени уже оказались сублимированными в область карьеризма и предпринимательства: «толковали про акциз, про торги в Сенате, о жалованье, о производстве, о его превосходительстве, о средстве нравиться и проч., и проч.»¹⁹¹.

Делячество и педофилия сочетаются и в «спекулянте и вертуне» Стебелькове, эпизодическом герое «Подростка», ненужном для развертывания сюжета и словно бы всунутом в роман только в качестве образцового примера афериста-извращенца. Внешность персонажа — его грубые попытки соблазнить юную Олю приведут последнюю к самоубийству — Достоевский описывает с особенной злобой: «Это был хорошо одетый господин, очевидно у лучшего портного, как говорится, “по-барски”, а между тем всего менее в нем имелось барского, и, кажется, несмотря на значительное желание иметь. Он был не то что развязан, а как-то натурально нахален, то есть все-таки менее обидно, чем нахал, выработавший себя перед зеркалом»¹⁹².

Далеким предшественником подобных героев был Юлиан Мастакович, носитель невероятного, но говорящего самого за себя отчества: в этом более чем сомнительном герое рассказа «Елка и свадьба» (1848) впервые соединяются страстная жажда денег и извращенное влечение к детям¹⁹³.

Впервые о созданном Достоевским сочетании бальзаковской темы денег и «темы любви–ненависти» с сильным садомазохистским налетом упомянул Пумпянский, который, отметив близость второй темы Стендалю, с удовлетворением замечал, как «одна русская повесть соединила (...) две коренные темы французского романа». Находясь под сильным влиянием теорий Вячеслава И. Иванова о «страдающем боге», Пумпянский объяснял подобную связь попыткой привести «романтизм» к его изначальному «источнику» и даже, более того, к домифологической жертвенной обрядности: «ненависть к женщине, жажда смерти в объятиях женщины есть возвращение к первоначальному ядру всякого мифа: эта кровосмесительная жажда истории погибнуть в стихиях

190 5; 136.

191 5; 134.

192 13; 118.

193 Об этом персонаже, прообразом которого был, возможно, П.А. Карепин, муж сестры Достоевского Варвары, см.: *Нечаева В. С.* Ранний Достоевский. С. 230–236.

природности, жажда глубоко культовая и сакральная»¹⁹⁴. Отдавая должное ивановской «дионисийской» культурологии¹⁹⁵, следует заметить, что, постоянно обращаясь к архаичным обрядам для решения герменевтических проблем, мы рискуем упустить из виду действительно функциональный контекст, в котором и был создан объект нашего толкования. Вполне вероятно, что архаичные культурные механизмы активизируются и производят символические образы в новом контексте; однако необходимо понимать, какая функция отводится подобным механизмам и символам в совершенно разных социально-экономических контекстах: «еще Дон Кихот должен был жестоко поплатиться за свою ошибку, когда вообразил, что странствующее рыцарство одинаково совместимо со всеми экономическими формами общества»¹⁹⁶.

В частности, относительно связи между перераспределением богатств и сферой *Eros-Thanatos* необходимо заметить, что в 60-е годы лоббистская и спекулятивная инволюция российской экономики породила целую деляческую субкультуру, которая предоставила обильную пищу для фантазии Достоевского: достаточно вспомнить о самой настоящей «параллельной бирже», которая собиралась в гостинице «Демут» (Hotel Demouth) на Большой Конюшенной. Здесь, в одном из наиболее старых общественных мест Петербурга (где лет за сорок до того останавливался уже полусумасшедший Батюшков), Альфред Бэтлинг, двадцатипятилетний спекулянт, английский подданный, известный как «русский Джон Ло», и сомнительная «коллекция преданных ему героев»¹⁹⁷ сорили деньгами, сибаритствовали и предавались еще менее благородным развлечениям: «На эти праздники уходили сотни тысяч рублей так же быстро, как быстро они приобретались, — отзывается об этом далекий от морализма А. С. Суворин. —

Разгул устраивался обыкновенно по субботам, после недели, принесшей громадные барыши. Сначала обед с возлияниями и какой-нибудь Альфонсиной или Сюжеттой... После

194 Пумпянский Л. В. Достоевский и античность. С. 522.

195 См.: Иванов В. И. «О многобожии» (ред. Карпи Г.) // Новое литературное обозрение. 1994. № 10; Карпи Г. «По сю сторону Борисфена». Джан Пьетро Лучини и «мистический анархизм» // Studia Slavica Hungarica. 1996. № 41.

196 Маркс К. Капитал. Том первый. М.: 1983. С. 92. Прим. 32.

197 См.: Гейлер И. К. Сборник сведений о процентных бумагах (фондах, акциях и облигациях) России. Руководство для помещения капиталов. СПб.: 1871. С. XVI. Ср.: Нисселович Л. Н. О биржах, биржевых установлениях и мерах ограничения биржевой игры. СПб.: 1879. С. 11. См. также: Витмер А. Н. Отрывочные воспоминания // Исторический вестник. 1911. № 9. Т. СХХV. С. 860–869.

обеда, который продолжался по-римски несколько часов, компания отправлялась к Излеру, где артистки служат ей предметом развлечений. На пути к Излеру она заезжает всюду, где рассчитывает что-нибудь найти для притупленного чувства. Восходящее солнце застает их измятыми, изможденными, но еще бодрствующими¹⁹⁸.

Финансовая аристократия обладает антропологической склонностью к разным отклонениям и эксцессам: это стало известно уже со времен Июльской революции во Франции, когда спекулятивная волна, скрытая закулисными играми орлеанистского правительства, не замедлила отразиться и на изменении нравов: «Именно в верхах буржуазного общества нездоровые и порочные вожделения проявились в той необузданной — на каждом шагу приходящей в столкновение даже с буржуазными законами — форме, в которой порожденное спекуляцией богатство ищет себе удовлетворения сообразно своей природе, так что наслаждение становится распутством, а деньги, грязь и кровь сливаются в один поток»¹⁹⁹. О том же свидетельствует и социальная философия Свидригайлова, выраженная со всем цинизмом, на который был способен этот персонаж: «Народ пьянствует, молодежь образованная от бездействия перегорает в несбыточных снах и грезах, уродуется в теориях; откуда-то жида наехали, прячут деньги, а все остальное развратничает»²⁰⁰.

К этому потоку крови, грязи и денег вернется в 1877 году Достоевский-публицист: он будет делать особый акцент на психологической связи между накоплением богатств и сексуальными извращениями: «От излишнего скопления богатства в одних руках рождается у обладателей богатства жадность чувств. Чувство изящного обращается в жажду

198 *Суворин А. С.* Очерки и картинки. СПб.: 1875. Кн. 1. С. 11.

199 *Маркс К.* Классовая борьба во Франции. С. 30. Об этом феномене с особой трезвостью написал не кто иной, как маркиз де Сад во вступлении к «Ста двадцати дням Содома» (опубликованном в начале XX века и, следовательно, неизвестном ни Марксу, ни Достоевскому): «Многочисленные войны, которые пришлось вести Людовика XIV в годы своего правления, истощив и финансы государства и жизненные силы народа, открыли, однако, секрет обогащения неизмеримому числу кровососов, кои всегда вместо того, чтобы смягчить последствия общих бедствий, стремятся использовать их ради своей пушечной выгоды». Вельможи, государственные сановники и духовные лица превращаются во времена войн «короля-солнца» в сословие спекулянтов, «тесно связанных деловыми отношениями и погоней за удовольствиями»: этим и вызван особый behaviour, пронизывающий эту назидательную сагу. *Сад А. де.* Сто двадцать дней Содома. М.: 2000. С. 10.

200 6; 370.

капризных излишеств и ненормальностей. Страшно развивается сладострастие»²⁰¹. Образ Федора Карамазова подтверждает этот анализ как нельзя лучше, и об этом же говорит прокурор Ипполит Кириллович:

Родовой дворянин, начавший карьеру бедненьким приживальщиком, чрез нечаянную и неожиданную женитьбу схвативший в приданое небольшой капиталчик, вначале мелкий плут и лстивый шут, с зародышем умственных способностей довольно впрочем не слабых, и прежде всего ростовщик. С годами, то есть с нарастанием капиталчика, он ободряется. Приниженность и заискивание исчезают, остается лишь насмешливый и злой циник и сладострастник. Духовная сторона вся похерена, а жажда жизни чрезвычайная, свелась на то, что кроме сладострастных наслаждений он ничего в жизни и не видит, так учит и детей своих²⁰².

И наоборот, персонажи, абсолютно равнодушные к деньгам (Алеша Карамазов, князь Мышкин и Верховенский-старший), оказываются лишенными и сексуальности.

«Гражданин» и борьба с «плутократией»

Процесс разложения и энтропии, «царство раздора», «эпоха всеобщего обособления»²⁰³ или, выражаясь словами предсмертной проповеди Зосимы, «период человеческого *уединения*»²⁰⁴ (так Достоевский отзывается о современной ему действительности) проистекает из экономических процессов, которые сегодня мы назвали бы финансовой глобализацией; однако, если учитывать формы проникновения этой глобализации в Россию, иначе и быть не могло: «Курс-то наш стал падать по европейским причинам»²⁰⁵, — заметил Достоевский в мае 1866 года. А шут-богослов Лебедев в «Идиоте» пытается убедить свою легкомысленную аудиторию в необходимости придерживаться трансцендентного принципа национальной самобытности и веры в Христа, при отсутствии которого «дьявол» и апокалиптическая «звезда Полюнь» вскоре низвергнут цивилизацию в хаос несмотря ни на какие финансовые фокусы: «Чем вы спасете мир и нормальную дорогу ему в чем отыскали, — вы, люди науки, промышленности, ассоциаций, платы заработной

201 25; 101.

202 15; 125–126.

203 22; 34–35, 80–83.

204 14; 275.

205 28/2; 158. Письмо А. Е. Врангель от 9 мая 1866 года.

и прочего? Чем? Кредитом? Что такое кредит? К чему приведет ваш кредит?»²⁰⁶ А в «Подростке» Версильов предсказывает Апокалипсис в форме «всемирного банкротства»:

Я думаю, что все это произойдет как-нибудь чрезвычайно ordinarily (...), просто-напросто все государства, несмотря на все балансы в бюджетах и на «отсутствие дефицитов», un beau matin запутаются окончательно и все до единого пожелают не заплатить, чтоб всем до единого обновиться во всеобщем банкротстве. Между тем весь консервативный элемент всего мира сему воспротивится, ибо он-то и будет акционером и кредитором, и банкротства допустить не захочет. Тогда, разумеется, начнется, так сказать, всеобщее окисление; прибудет много жида, и начнется жидовское царство; а засим все те, которые никогда не имели акций, да и вообще ничего не имели, то есть все нищие, естественно не захотят участвовать в окислении... Начнется борьба, и, после семидесяти семи поражений, нищие уничтожат акционеров, отберут у них акции и сядут на их место, акционерами же разумеется. Может, и скажут что-нибудь новое, а может, и нет. Вернее, что тоже обанкрутятся. Далее, друг мой, ничего не умею предугадать в судьбах, которые изменят лик мира сего. Впрочем, посмотри в Апокалипсисе...²⁰⁷

Понятно, что от этого апокалиптического «банкротства» России лучше было бы держаться в стороне: речь шла о том, чтобы найти надлежащий выход из сложившейся ситуации. В 70-е годы Достоевский, перед лицом процессов, прочно связанных с господством финансов, обращается к архаичному и изоляционистскому социоэкономическому идеалу, основанному на приоритете сельского хозяйства, — отсюда происходит полное искажение старой платформы журнала «Время»²⁰⁸.

206 8; 310.

207 13; 172.

208 Экономическая мысль позднего Достоевского рассмотрена в: *Твардовская В.А. Достоевский в общественной жизни России. М.: 1990. Гл. 3/1. Работа содержит много интересных материалов и наблюдений, но страдает односторонней постановкой вопроса: в попытке максимально сблизить позиции Достоевского и современных ему народников и создать «прогрессивный» образ писателя Твардовская не только теряет связь между экономическим анализом, политической программой и религиозной утопией Достоевского, но и противопоставляет первую сферу деятельности писателя (прогрессист в экономике) остальным двум (реакционер в политике и в мировоззрении). Таким образом, картина идеологии позднего Достоевского выходит непоследовательной, на грани шизофрении.*

В этом смысле решающим является впечатление, произведенное восхождением Пруссии — от войн с Австрией и Францией до провозглашения Германской империи, — за которым с особым усердием и беспокойством следил журнал «Заря». Став трибуной панславизма по линии, провозглашенной Н. Я. Данилевским в книге «Россия и Европа», журнал приглашает в 1870–1871 годах весь цвет националистически настроенной интеллигенции, в том числе и самого Достоевского (впрочем, опубликовавшего там не особенно ангажированную повесть «Вечный муж»), который находился в то время в Дрездене и ощущал себя непосредственным свидетелем нарастающего столкновения цивилизаций: «Вот мы покончили с французами, а теперь примемся и за вас» — таким, по свидетельству писателя, в апреле 1871 года было широко распространенное отношение немцев к русским²⁰⁹.

Аналитики «Зари» делали из подобных фактов вывод о необходимости «следовать примеру Пруссии и смело вступить на попрание нового исторического периода, называемого (...) *периодом относительного права* национальностей, соединенных под властью Империи»²¹⁰; проще говоря, столкновение неизбежно, и перед лицом общей опасности славянский мир должен объединиться вокруг Москвы, следуя динамике, имевшей место в Германии. Этнико-культурный дифференциализм, т. е. теория чередующихся «исторических циклов», каждый из которых формируется под эгидой противопоставленных друг другу наций, воспроизведена властителем дум панславистского движения в изоляционистской и имперской геополитической программе²¹¹.

Данилевский и большая часть его окружения рассматривали славянско-германское противостояние прежде всего в сугубо культурных и геополитических терминах. Однако среди них были и те, кто выступал по экономическим вопросам. В 1871 году «Заря» публикует некоторые, пока еще маргинальные, выступления А. Шипова²¹², крупного московского предпринимателя, одного из основателей Общества для содействия русской промышленности и торговле (ОСРПТ). Созданное в 1867 году группой предпринимателей, уже

209 23; 60.

210 Заря. 1870. № 9. С. 126.

211 Данилевский Н. Я. Россия и франко-германская война (дополнение к статье «Россия и Европа») // Заря. 1871. № 1.

212 Заседание IV отделения Общества содействия промышленности и торговле под председательством А. П. Шипова 28 января 1871 года // Заря. 1871. № 2; Шипов А. П. Настоящее наше экономическое положение и его последствия // Заря. 1871. № 7.

пару лет эффективно отстаивавших свои интересы и выступавших против намечавшегося русско-немецкого таможенного союза²¹³, ОСРПТ объединило элиту славянофильского и протекционистского предпринимательства и к февралю 1869 года насчитывало уже 514 членов в 65 русских городах и 2 китайских провинциях.

Учитывая влияние ОСРПТ и очевидную общность его экономической политики с главной линией панславизма, не кажется удивительным тот факт, что возникший вслед за «Зарей» журнал этого движения — «Гражданин» под редакцией Достоевского — буквально находился в руках у экономистов, близких к ОСРПТ. И действительно, за те шестнадцать месяцев, что Достоевский был у руля «Гражданина» (1873 — апрель 1874), экономической политике здесь уделялось много внимания.

Уже в марте 1873 года в «Гражданине» была опубликована программная статья М. Степанова «Плутократия», в которой рассматривалась вся история российских финансов последнего века в свете аксиомы: «Правильная система государственного управления возможна только тогда, когда правительство распоряжается и управляет совокупно тремя государственными элементами, а именно: кредитом, судом и войском»²¹⁴. Если во Франции и в Англии частный характер кредитной системы уже давно отдал управление государством в руки финансовой «плутократии», вызвав тем самым жесточайшую классовую борьбу, в екатерининской России кредитование считалось «государственным богатством, основанным на вере целого народа в его хозяйственную состоятельность»²¹⁵: это богатство было доверено Банковскому правлению, которое по статусу было фактически независимым министерством. Оно имело право проводить независимую от частного капитала кредитную политику и было «орудием для установления хозяйственного благоустройства всего государства»²¹⁶.

Автор ностальгирует по феодальной кредитной системе, абсолютно лишенной прозрачности и действовавшей в интересах одного лишь земельного дворянства, сохранение паразитического существования которого автор отождествляет с «хозяйственным благоустройством всего государства». Неудивительно, что Степанов превозносит именно

213 Ср.: История предпринимательства в России. Кн. II. Вторая половина XIX — начало XX века. М.: 1999. С. 179–183. О Шипове и ОСРПТ см. также: *Найденков Н. А.* Воспоминания о виденном, слышанном и испытанном. Т. 2. М.: 1905.

214 *Гражданин*. 1873. № 10. С. 313.

215 Там же. С. 15.

216 Там же. С. 316.

тех министров финансов, которые выступали за сохранение этой системы: Е. Ф. Канкрин (1823–1844) и Ф. П. Вронченко (1844–1852), ответственных за экономическую политику Николая I; не удивляет и то, что с ненавистным плутократическим заговором ассоциировались деятели типа М. М. Сперанского (по линии, продиктованной Карамзиным в «Записке о древней и новой России») и особенно «лица, пропитанные умозрениями западных финансистов»²¹⁷, которые в 1859 году создали кредитную систему с частным капиталом и которые «путем учреждения *акционерных поземельных банков*»²¹⁸ отдали уже и без того ослабленных отменой крепостного права землевладельцев на расправу международной плутократии.

«Освободить правительства и народы из этого ярма может, очевидно, только тот, кто сам еще не в ярме, — заключает автор, указывая на спасительную роль самодержавия не только для “умиротворения” России, но и для будущего Европы, погрязшей из-за финансовых неурядиц в анархии. — Поэтому гордиев узел наших времен ждет (...) такого своего Александра, который бы, силою законодательства и могуществом верховной власти, рассек его и который, утвердив прочное гражданское спокойствие своего народа, указал бы тем самым путь к умиротворению и всего человечества»²¹⁹. Мессианский пафос не позволяет Степанову оценить степень вовлеченности в финансовые махинации двора, причем самых высоких его представителей; также важен тот факт, что автократия формально не была ослаблена в ходе смуты начала 60-х именно потому, что новые олигархи, появившиеся благодаря этим реформам, считали такую систему власти наиболее податливой и соответствующей их интересам. В то же время страна находилась на грани новой спекулятивной волны, которая была вызвана финансовым бумом на берлинской бирже, последовавшим за победой над Францией; однако российское правительство не придавало этому вопросу большого значения²²⁰.

Шипов, весьма далекий от наивности Степанова, хотя и солидарный с ним по ряду вопросов, в марте того же года начал публиковать цикл статей «Об устранении давления плутократии». Московский предприниматель, совершенно равнодушный к судьбам поземельного дворянства, предоставил в распоряжение панславистов четкую

217 Там же. С. 317.

218 Там же. С. 317.

219 Там же. С. 318.

220 См.: Лизунов П. В. Санкт-петербургская биржа. С. 194.

и разностороннюю экономическую программу. Сначала в ней приводится анализ кризиса 1863 года, выводы которого диаметрально противоположны исследованию, проведенному Головачевым (и подтвержденному за несколько месяцев до этого в уже упомянутой книге «Десять лет реформ»²²¹): причину кризиса начала 60-х нужно искать не в эмиссии денежных купюр при отсутствии соответствующего фонда, а в «несвоевременном понижении тарифа»²²², т. е. в ослаблении протекционизма. В общем, источником зла объявлялось фритредерство и неуправляемое размножение акционерных банков, умудрявшихся проворачивать аферы не только с клиентами, но и с самими акционерами. Первая мера, предложенная Шиповым, заключалась в том, чтобы вернуть контроль над этим сектором государству, создав «центральное учреждение»²²³, которое занималось бы финансированием банков за соответствующую плату и контролировало использование капиталов.

После подробного исторического экскурса, в котором причиной российского финансового хаоса (воплотившегося в валютном кризисе 1863 года) называлась путаница между настоящими купюрами и ассигнациями, возникшая во время павловского царствования, Шипов, следуя теориям Листа и Канкрин, переходит к иллюстрации основного принципа своей программы: «Каждый раз, когда центральная власть действовала в охранительном направлении, число удерживаемых банков было не велико, спекуляции были незначительны, звонкая монета привозилась в страну и проч.». Несмотря на демонстративные похвалы старым добрым порядкам Екатерины и Николая, этот авторитарный протекционизм с прицелом на будущее продвигают деятели, устремления которых полностью созвучны геополитическому изоляционизму панславистов: «Что сказать о таком государстве, — угрожающе заключает Шипов, —

которое обременено внешними долгами, которое, чтоб очищать свой международный баланс, должно ежегодно приплачивать громадные суммы, которое дает системе международных торговых сношений всю силу увеличивать эти приплаты, которое стремится присоединить к этой силе еще и силу плутократии? О таком государстве, несмотря на все благоприятствующие ему политические

221 В № 1 журнала «Гражданин» 1873 года была опубликована краткая сдержанная рецензия на книгу Головачева (с. 24–25), в которой содержалась отсылка к более подробному разбору, который так никогда и не был опубликован.

222 Гражданин. 1873. № 12. С. 365.

223 Гражданин. 1873. № 18. С. 543.

и исторические обстоятельства, останавливающие всякие народные движения, — о таком государстве должно сказать, что пока сила этих обстоятельств превышает силу, гнетущую его экономическое положение, оно, это государство, может идти своим скорбным путем, но народ его благоденствовать не может; оно идет по меньшей мере к своему обеднению, к кризису экономическому, к материальному и политическому ослаблению²²⁴.

В начале 1873 года Достоевский тоже начинает размышлять о взаимосвязи между экономическим упадком и финансовой глобализацией; неудивительно, что в первую очередь его снова интересуют геополитические противоречия, которые возникли в России после объединения Германии. В серии записок, озаглавленных позднее «Мечты и грезы» (XI глава «Дневника», 21 мая), редактор «Гражданина» ставит под сомнение тот факт, что империя сможет еще долго сохранять статус «великой державы» перед лицом «страшного соседа», который «живет с нами бок о бок»²²⁵: протяженность страны и численное превосходство национальных меньшинств на окраинах превращают защиту границ в непосильное бремя для государственных финансов. Именно о причинах слабости последних задумывается Достоевский в последней версии статьи: «Чуть не половину теперешнего бюджета нашего оплачивает водка, то есть по-теперешнему народное пьянство и народный разврат, — стало быть, вся народная будущность, — комментирует писатель соответствующую статистику, опубликованную еще в первом номере журнала²²⁶. — Мы, так сказать, будущностью нашею платим за наш величавый бюджет великой европейской державы. Мы подсекаем дерево в самом корне, чтобы достать поскорее плод»²²⁷.

Достоевского в 70-е годы уже не интересует тот факт, что упадок и алкоголизм в деревне стали результатом вполне определенной экономической политики, включавшей в себя поземельное перераспределение после реформы 19 февраля 1861 года и сословный характер налогообложения. Писатель обращается к этой проблеме уже исходя

224 Гражданин. 1873. № 52. С. 1402.

225 21; 312–313.

226 См.: Гражданин. 1873. № 1. С. 2. По официальным данным, 112,5 млн рублей, т. е. 1/3 баланса, прихотилось на «налог от питей». Интерес Достоевского к этой теме подтверждается обширным выступлением экономиста П. А. Шторха «О государственном долге» (Гражданин. 1873. №№ 29, 30, 31, 32, 33, 38), которое было сопровождено пометками редактора (21; 280).

227 21; 94.

из негативных последствий для бюджета, а следовательно и для имперских возможностей государства: «Вот нам необходим бюджет великой державы, а потому очень, очень нужны деньги; спрашивается: кто же их будет выплачивать через эти пятнадцать лет, если настоящий порядок продолжится? Труд, промышленность? Ибо правильный бюджет окупается лишь трудом и промышленностью. Но какой же образуется труд при таких кабаках?» Поэтому массовый алкоголизм рассматривается как символ истощения «жизненных сил» нации, которая отравлена коварным и проникающим всюду международным финансовым («жидовским») капиталом:

Настоящие, правильные капиталы возникают в стране не иначе как основываясь на всеобщем трудовом благосостоянии ее, иначе могут образоваться лишь капиталы кулаков и жидов. Так и будет, если дело продолжится, если сам народ не опомнится; а интеллигенция не поможет ему. Если не опомнится, то весь, целиком, в самое малое время очутится в руках у всевозможных жидов, и уж тут никакая община его не спасет: будут лишь общесолидарные нищие, заложившиеся и закабалившиеся всею общиной, а жиды и кулаки будут выплачивать за них бюджет²²⁸.

В этих заметках беспокойство, выраженное Достоевским уже на страницах «Времени» в рассказе «Крокодил», лишено прогрессивных черт: писатель даже не пытается затронуть социальные причины текущего положения дел. И наоборот, это беспокойство объясняется мифологическим и апокалиптическим «столкновением цивилизаций»; не случайно именно в этот период у Достоевского возникает тема «жида» — обновленная версия «крокодила» и эмблема чужеродного захватнического капитализма с вампирскими и садистскими характеристиками: «Явятся мелкие, подленькие, развратнейшие буржуа и бесконечное множество закабаленных ими нищих рабов — вот картина! Жидки будут пить народную кровь и питаться развратом и унижением народным, но так как они будут платить бюджет, то, стало быть, их же надо будет поддерживать»²²⁹.

Об этом феномене Достоевский вскоре выскажется почти в том же духе в статье «Пожар в селе Измайлово», где — как и в последнем сне Раскольникова — дегенеративная картина социальных отношений выражена через аллегорическую фантазмагорию:

228 21; 95.

229 21; 95.

Мы как-то недавно рисовали фантастическую картину возможного и близкого будущего, когда все будет пропито и заложено, все инструменты, — не только пожарные, но топоры, сохи, бороны. Нарубить дровец — надо будет идти к закладчику выкупать или вымалывать *на раз* топор; попахаться — тоже надо будет выкупать соху, бороны. Да чего бороны? Где тогда будут лошади-то? А где дом, семья, самостоятельность, порядок хоть какой-нибудь? Все исчезало в нашем фантастическом сне: оставались лишь кулаки и жида да всем миром закабалившиеся им общесолидарные нищие. Жиды и кулаки, положим, будут платить за них повинности, но уж и стребуют же с них в размере тысячи на сто уплаченное.²³⁰

Русскому народу, который должен обрести заново «труд, порядок, честь», Достоевский пока не предлагает ничего лучшего, как сделать ставку на сельские «общества трезвости», чем и обусловлены — как это уже было в произведениях вроде «Запечатленного ангела» Лескова и Некрасовского «Власа» — «дежурные», уже неоднократно использованные идеологемы компенсаторного характера, не имеющие никакой связи с конкретными социально-экономическими проблемами²³¹: *cupio dissolvi*²³² как стремление к перерождению; свойственная русскому народу «потребность страдания»²³³; «мистический ужас»²³⁴; «свет и спасение», которые «воссияют снизу» при полной инерции просвещенного сословия, «кастрированного» двумя веками европеизма; и, сверх всего, конечно, «дело божие»:

Рассказывают и печатают ужасы: пьянство, разбой, пьяные дети, пьяные матери, цинизм, нищета, бесчестность, безбожие (...). Если продолжится такой «кутеж» еще хоть только

230 21; 142–143.

231 Не случайно именно к этому периоду относятся некоторые чисто гносеологические высказывания, крайне редкие для Достоевского и окрашенные платоновским идеализмом. Ср.: 21; 75: «Надо изображать действительность как она есть», — говорят они, тогда как такой действительности совсем нет, да и никогда на земле не бывало, потому что сущность вещей человеку недоступна, а воспринимает он природу так, как отражается она в его идее, пройдя через его чувства; стало быть, надо дать поболее ходу идее и не бояться идеального (...). Идеал ведь тоже действительность, такая же законная, как и текущая действительность». Далее следует этнонациональная конкретизация этой аксиомы: «В России истина почти всегда имеет характер вполне фантастический» (21; 119).

232 *Cupio dissolvi et esse cum Christo* («Имею желание разрешиться и быть с Христом»). Фил. 1:23). — Ред.

233 21; 36.

234 21; 38.

на десять лет, то и представить нельзя последствий, хотя бы только с экономической точки зрения. Но вспомним «Власа» и успокоимся: в последний момент вся ложь, если только есть ложь, выскочит из сердца народного и станет перед ним с невероятной силою обличения. Очнется Влас и возьмется за дело божие. Во всяком случае спасет себя сам, если бы и впрямь дошло до беды»²³⁵.

Предсказания Достоевского пока еще касаются только смутной веры в духовное перерождение человека, впервые высказанной им во фрагменте «Социализм и христианство» (конец августа 1864 года)²³⁶. Пройдет не так много времени, и Влас отложит в сторону свою «икону медную» и обзаведется совсем иным оружием, а Достоевский для достижения национального возрождения станет предписывать уже куда более конкретные меры — изоляционизм, военный пафос и пропаганда авторитарной «угрюмой экономики» будут часто встречаться в его произведениях начиная с «Подростка» и последних выпусков «Дневника».

Восхваление «юродивого» сопровождается уже знакомой критикой традиционного господствующего класса и его неспособности разрешать постреформенные проблемы: «наша несостоятельность как «птенцов гнезда Петрова» в настоящий момент несомненна. Да ведь девятнадцатым февралем и закончился по-настоящему петровский период русской истории, так что мы давно уже вступили в полнейшую неизвестность»²³⁷. Это лейтмотив Достоевского еще со времен журнала «Время», но — как и другие темы, унаследованные с начала 60-х, — позднее писатель будет представлять его в мифическо-символической версии, очищенной от социально-экономического анализа. В кратком эпиллоге к рассказу «Бобок» представители старых сословий изображены в виде трупов, которые передают от одной могилы к другой обрывки разговора, уже лишённого какого-либо контекста, но все еще пронизанного старыми социальными предрассудками: как и во вдохновившем рассказ «Бобок» пушкинском «Гробовщике», «социальная структура общества опрокинута в загробный мир»²³⁸, в полузагробном мире ставшая после 19 февраля

235 21; 41.

236 Истории создания этого важнейшего текста посвящена работа: *Carpi G. Verso Raskol'nikov. Dostoevskij fra letteratura e politica: 1856–1865*. Pisa: 2008. P. 233–247.

237 21; 41

238 *Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 30-е годы (1833–1836)*. Л.: 1982. С. 369.

1861 года полутрупом социальная структура продолжает свое призрачное существование.

Отказавшись от старой почвеннической идеи, согласно которой из кризиса можно и должно выходить путем «нормальной» политики реформ, которые позволяют постепенно согласовать частные интересы, к середине 70-х Достоевский начал рассматривать разные идеологии, порожденные эпохой, как разные части единого процесса разложения: это не возможные ответы на комплекс конкретных проблем, но показатели удаления от некоего исконного состояния изначальной чистоты. Движение элементов общественно-культурной диалектики прекращается, они сперва замирают, а затем разлагаются сами и оказывают разлагающее воздействие на человеческую природу: остается только ждать спасительного «пресуществления» сверху. Шаг за шагом Достоевский приближается к своему мировоззрению времен «Братьев Карамазовых».

«Маленькие картинки (в дороге)» Достоевского отчетливо напоминают современный им «Бобок» — как по многочисленным деталям, так и по общей тематике: здесь упадок старых сословий находит уподобление в речном круизе, в котором принимают участие эпизодические, но символически важные герои. Наглядный пример — «несносный человек», постоянно высмеиваемый женой:

А между тем и он «в Аркадии рожден». У него здесь, в этой же губернии, в старину было восемьсот даже душ! На выкупные они и проехали все эти семь лет за границу и даже на дубовую рощу (триста десятин-с!), проданную еще три года назад. И вот они теперь возвратились в отечество, даже четыре уже месяца как в отечестве, и едут теперь в развалины своего поместья, сами не зная зачем²³⁹.

В черновом варианте герой компенсирует очередное унижение со стороны некоего «хозяина» фантазиями о будущей политической деятельности: «У него проскользнула мысль, что может служить по выборам и... и если выберут в предводители, то можно доказать этому хозяину и т.д. и т.д.»²⁴⁰. Достоевский клеймит компенсаторную идеологию находящегося в упадке сословия, и этой идеологией является не нигилизм, но земский либерализм. Итак, все идеологии «от мира сего» суть иллюзии: «С недавнего времени меня вдруг осенила мысль, что у нас в России, в классах

239 21; 173.

240 21; 347.

интеллигентных, даже совсем и не может быть нелгущего человека»²⁴¹.

Если русские писатели традиционной дворянской линии (Карамзин, Пушкин, Толстой) полагали, что разложение дворянства порождает чудовищ, то, с точки зрения Достоевского, чудовища рождаются от пережитков — в новых формах и социальных комбинациях — психоповеденческого дворянского *habitus*'а, колеблющегося между паразитизмом (эгоизмом, доходящим до садизма) и саморазрушением. Уже в «Преступлении и наказании», романе, на первый взгляд, весьма далеком от данной проблематики, Достоевский указывает среди мотивов Раскольникова желание молодого человека, «мещанина по происхождению», достать деньги, необходимые, чтобы «избавить сестру, живущую в компаньонах у одних помещиков, от сластолюбивых притязаний главы этого помещичьего семейства»²⁴²; в окончательном тексте единственным персонажем недвусмысленно дворянского происхождения остается педофил и женоубийца Свидригайлов.

Окончательная персонификацией схемы «постдворянство — паразитизм — энтропия» является бес Ивана Карамазова: этическое и космологическое значение этого образа настолько же широко, насколько педантично определен и конкретизирован его социальный статус и внешний вид:

Словом, был вид порядочности при весьма слабых карманных средствах. Похоже было на то, что джентльмен принадлежит к разряду бывших белоручек-помещиков, процветавших еще при крепостном праве; очевидно выдавший свет и порядочное общество, имевший когда-то связи и сохранивший их пожалуй и до сих пор, но мало-помалу с обеднением после веселой жизни в молодости и недавней отмены крепостного права, обратившийся в роде как бы в приживальщика хорошего тона, скитающегося по добрым старым знакомым, которые принимают его

241 27; 117.

242 28/2; 136 (письмо М. Н. Каткову от 10–15 декабря 1865 года). Позднее Достоевский едва ли не наделяет Раскольникова дворянским статусом: «Раскольниковы — хорошая фамилия, — замечает мать героя в одном из черновиков, — хоть твой отец и учитель был, а Раскольниковы двести лет известны» (7; 186). В окончательном варианте текста о социальном происхождении героя ничего не сказано, хотя и язык, и поведение матери и сестры героя характерны скорее для представителей захудалого мелкопоместного семейства, чем мещанского. Правда, Разумихин один раз называет себя «дворянским сыном», но насколько серьезно, судить трудно (6; 93).

за уживчивый складный характер, да еще и в виду того, что все же порядочный человек, которого даже и при ком угодно можно посадить у себя за стол, хотя конечно на скромное место²⁴³.

Мифологическому комплексу «деньги — жида — постдворянство — паразитизм — энтропия» Достоевский противопоставляет другие мифы, которыми он заблаговременно запасся: земля, православная вера и народные массы, бессознательно, но упорно охраняющие и то, и другое путем «подвига».

Земля, дети и лучшие люди

Уже в заметках времен «Гражданина» апокалиптическому bestiарию международного финансового вампиризма и доморощенным социокультурным зомби противопоставляется иной, положительный мотив большого социоэкономического значения: **в о з в р а щ е н и е к з е м л е**. Сельское хозяйство рассматривается как единственный «естественный» стержень жизни русского человека и экономики страны: «Нравственность, устой в обществе, спокойствие и возмужалость земли и порядок в государстве (промышленность и всякое экономическое благосостояние тоже) зависят от степени и успехов землевладения» — таковы нынешние позиции Достоевского, или, как он их называет, его «аксиомы» и «кеплеровы законы»:

Если землевладение и хозяйство слабо, раскидисто, беспорядочно, — то нет ни государства, ни гражданственности, ни нравственности, ни любви в боге. По мере того как землевладение и хозяйство крепчает, устанавливается и все остальное (NB. У нас при перемене всех (далее было: прочих) прежних законов землевладения начался хаос). Там же, где землевладение уже скрепчало, но уже превышает народонаселение и являются уже люди без земли и пролетарии, там зарождается промышленность (а с ней крепчает такая вещь, как, например, образование, а от образования крепчает и все). Если же уж очень превысит народонаселение земли, то являются революции. Но это только доказывает, что все должны иметь право на землю и что чуть лишь это право нарушено, то является сотрясение и распадение общества²⁴⁴.

243 15; 70–71.

244 21; 271.

Этот панегирик сельскому хозяйству заканчивается выражением признательности декабристу И. Д. Якушкину, стороннику освобождения крестьян «с землею»; но еще больше он обязан Л. В. Тенгоборскому, который — выступавший когда-то во «Времени» в роли сторонника «мягкой» индустриализации — теперь становится для экономистов «Гражданина» знаменосцем изоляционизма и автаркии²⁴⁵.

Позднее аграрный редукционизм Достоевского примет характер настоящего мистериального культа «земли», в свое время описанного Б. М. Энгельгардтом как «высшая реальность и одновременно тот мир, где протекает земная жизнь духа, достигшего состояния высшей свободы (...), царство любви, а потому и полной свободы, царство вечной радости и веселья»²⁴⁶. Западному человечеству, по вине капитала пролетаризированному и вырванному с корнем, единственными горизонтами которого стали «фабрика» и «мостовая», писатель противопоставляет утопию «Земля и дети» («Дневник писателя», июль-август 1876 года), в которой культ «земли» и ее исконной связи с народом — «В земле, в почве есть нечто сакраментальное»²⁴⁷ — приобретает ярко выраженные милленаристские черты: «Кончится буржуазия и наступит Обновленное Человечество. Оно поделит землю по общинам и начнет жить в Саду»²⁴⁸.

Спустя два года в черновиках к «Братьям Карамазовым» мистическая власть «земли» значилась среди аргументов, которые должны были обсуждаться во время произошедшей в келье Зосимы бурной сцены: «Земля благородит. Только владение землей благородит. Без земли же и миллионер — пролетарий»; выходит, что этого обезземеленного «пролетария», которого Зосима обзывает не самым политэкономическим термином «сволочь», «переродить можно только землей. Надо, чтоб он стал владельцем земли»²⁴⁹. В первоначальном черновике романа общее возвращение к сельскому хозяйству рассматривалось как социоэкономическая предпосылка для восстановления «ирократии» в политике, т. е. для того управляемого божественной любовью воцарения бюрократических и юридических государственных структур, о котором в последней версии романа монахи, Иван и Миусов, рассуждают в форме, гораздо менее

245 См.: Попов Р. Кустарная промышленность в России и артельная организация народного труда // Гражданин. 1873. №№ 13, 14, 22.

246 Энгельгардт Б. М. Идеологический роман Достоевского // Достоевский Ф. М. Статьи и материалы. Под ред. А. С. Долинина. Л. — М.: 1924. С. 93.

247 23; 98.

248 23; 96.

249 15; 208.

обремененной специальной политэкономической лексикой. Если деньги являются символом и средством разращения, то связь с землей возрождает как общество в целом, так и отдельных людей: неслучайно в кульминационный момент оргии в Мокром Грушенька отмечает свое пере-рождение отказом от денег; вдохновленная Алешей (а через него — Зосимой), она намеревается посвятить себя работе на земле²⁵⁰.

Отсюда лозунг — долой деньги и да здравствует земля, которая в качества гаранта общинно-патриархальной целостности, следуя логике Достоевского, должна оживить даже фабричный пролетариат:

По-моему, работай на фабрике: фабрика тоже дело законное и родится всегда подле возделанной уже земли: в том ее и закон. Но пусть каждый фабричный работник знает, что у него где-то там есть Сад, под золотым солнцем и виноградниками, собственный, или, вернее, общинный Сад, и что в этом Саду живет и его жена, славная баба, не с мостовой, которая любит его и ждет, а с женой — его дети, которые играют в лошадки и все знают своего отца²⁵¹.

Однако эта утопия выглядит не как конкретная программа реформ, но скорее как компенсаторная мечта: сгорбившийся за станком рабочий, подчиненный всем законам капитала, в то же самое время мечтает о саде, населенном улыбающимися пенатами, подобно тому как лермонтовскому Мцыри — несмотря на его положение заключенного с раннего детства — мерещатся «радостные имена» родного аула, словно эхо из некоей сферы предсуществования.

Восторженные разглагольствования о грядущем русском Эдеме на деле скрывают глубокое беспокойство: автор «Крокодила» слишком хорошо разбирается в политэкономии, чтобы не отдавать себе отчета в том, что в такой отсталой экономической системе, как российская, промышленная революция делается не производительными силами, составленными из полурабочих-полукрестьян, счастливо делящих свое время между фабрикой и сельским хозяйством, но пролетариатом, безжалостно изгнанным с земли всемогущим в те годы в России иностранным капиталом. Именно в «Крокодиле» Достоевский подчеркивал, насколько этот людоедский капитализм угрожает прежде всего социальной и производственной структуре

250 14; 399.

251 23; 95–96.

деревни: «Нам нужна (...) промышленность, промышленно-сти у нас мало. Надо ее родить, — с образцовой трезвостью ораторствовал Тимофей Семенович. —

Надо капиталы родить, значит, среднее сословие, так называемую буржуазию надо родить. А так как нет у нас капиталов, значит, надо их из-за границы привлечь. Надо, во-первых, дать ход иностранным компаниям для скупки по участкам наших земель, как везде утверждено теперь за границей (...). Надо (...), чтоб иностранные компании скупили по возможности всю нашу землю по частям, а потом дробить, дробить, дробить как можно в мелкие участки (...), а потом и продавать в личную собственность. Да и не продавать, а просто арендовать. Когда (...) вся земля будет у привлеченных иностранных компаний в руках, тогда, значит, можно какую угодно цену за аренду назначить. Стало быть, мужик будет работать уже втрое, из одного насущного хлеба, и его можно когда угодно согнать. Значит, он будет чувствовать, будет покорен, прилежен и втрое за ту же цену работает. А теперь в общине что ему! Знает, что с голоду не помрет, ну и ленится, и пьянствует. А меж тем к нам и деньги привлекутся, и капиталы заведутся, и буржуазия пойдет. Вон и английская политическая и литературная газета «Теймс», разбирая наши финансы, отзывалась намеренно, что потому и не растут наши финансы, что среднего сословия нет у нас, кошель больших нет, пролетариев услужливых нет...²⁵²

Впрочем, в случае необходимости писатель с легкостью переходит от литературной аллегории к политэкономическому анализу в узком смысле. Когда в 1873 году Достоевский курировал внешнеполитическую хронику «Гражданина», он на основе материалов, полученных из охваченной в то время гражданской войной Испании, устанавливает четкую связь между формой земельной собственности и стабильностью политического строя:

На юге Испании разбойничают коммунисты, на севере — клерикалы. Некоторые экономисты убеждены, что такая разнохарактерность мятежа произошла оттого, что на севере земля раздроблена между огромным количеством мелких собственников (оттого консерватизм, Дон Карлос). Юг же страны состоит почти весь из крупной земельной собственности, а народ почти совсем лишен земельного надела — оттого пролетариат, коммунизм, желание захватить

²⁵² 14; 189–190.

собственность силой и поделить ее меж собою. Что коммунизм играет огромную роль в теперешнем мятеже юга Испании — то несомненно²⁵³.

Дестабилизирующие процессы, связанные с аграрной отсталостью, с концентрацией собственности и с пролетаризацией крестьянства, угрожают и России. Даже такое радикальное утопическое произведение, как «Земля и дети», пронизано осознанием того, как мало порожденная отменой крепостного права деревня походит на солнечную и благополучную Аркадию, изображенную на картине Клода Лоррена «Асис и Галатея», которой так восхищался Достоевский в Дрезденской пинакотеке: «У нас земля и община в сквернейшем виде (...). Если есть в чем у нас в России наиболее теперь беспорядка, так это во владении землею, в отношениях владельцев к рабочим и между собою, в самом характере обработки земли. И покамест это все не устроится, не ждите твердого устройства и во всем остальном»²⁵⁴.

Упоминание общины не случайно, потому что речь идет о традиционной аграрной общине русских крестьян, которая восхвалялась славянофилами и другими русскими представителями романтического антикапитализма как защита против социальной раздробленности и пауперизма²⁵⁵; здесь снова возникает юдофобия, и в июне 1876 года в «Дневнике писателя» Достоевский клеймит проникновение «иудейского» капитала в сельскую Россию: «Вон жида становятся помещиками, — и вот, повсеместно, кричат и пишут, что они умерщвляют почву России, что жид, растратив капитал на покупку поместья, тотчас же, чтобы воротить капитал и проценты, иссушает все силы и средства купленной земли. Но попробуйте сказать что-нибудь против этого — и тотчас же вам возопят о нарушении принципа экономической вольности и гражданской равноправности»²⁵⁶.

253 21; 191. Хроника от 24 сентября 1874 года.

254 23; 96–98. Ср. аналогичные замечания в письме от 21 июля 1878 года (30/1; 41). Во второй половине 70-х годов Достоевский не испытывал недостатка в свидетельствах относительно ситуации в деревне: достаточно сослаться на нашумевшие «Письма из деревни» Александра Энгельгардта, с которыми писатель, судя по всему, был знаком (27; 115).

255 Здесь обязательно следует сослаться на классическую работу *Walicki A. The Slavophile Controversy*. Oxford: 1975. См. также: *Карпи Г.* Были ли славянофилы либералами? // Наст. изд. С. 203.

256 23; 42. Более детальное исследование еврейского вопроса в «Дневнике писателя» см. в: *Vassena R.* Reawakening national Identity. Dostoevskii's Diary of a Writer and its Impact on Russian Society. Peter Lang: 2007.

Еще в марте 1877 года — в главе «Дневника», многозначительно озаглавленной «Status in statu» (*лат.* «государство в государстве») — Достоевский детально разворачивает свое юдофобство, ставя знак равенства «евреи = капитал» по формуле: «Капитал есть накопленный труд; еврей любит торговать чужим трудом!»²⁵⁷. В подготовительных заметках писатель выражал беспокойство о будущем еще более жестко:

А теперь laissez-faire (...). Общую бы деятельность направить в новую сторону, государственную, общественную, православную, а не лично-жидовскую (...). Очищается место, приходит жид, становится фабрику, наживается, тариф — спаситель отечества. Да ведь он себе в карман! Нет: он дал хлеб работникам. И вот и все. А государство поддерживает жидов (православного или еврейского — все равно) всеми повинностями, тарифами, узаконениями, армиями. И вот и все (...). Земледелие надо поддержать, ибо промышленность рождается из земледелия, а у нас мимо земледелия, началась спекуляция. Ограничить права жидов во многих случаях можно и должно. Почему, почему поддерживать это Status in statu. Восемьдесят миллионов существуют лишь на поддержание трех миллионов жидов. Наплевать на них²⁵⁸.

«Жидам», конечно, удастся установить отличные связи и с вполне отечественными кушцами: «И вот, прежние рамки прежнего купца вдруг страшно раздвигаются в наше время. С ним вдруг роднится европейский спекулянт, на Руси еще прежде неведомый, и биржевой игрок». Так, в «Лучших людях» (октябрь 1876 года) описывается постепенное возникновение нового правящего класса, напрямую связанного с потоками глобализованного капитала²⁵⁹. На месте традиционного феодально-бюрократического аппарата появляется социальный агломерат, в котором представители старых сословий прекрасно сосуществуют под эгидой «культы мешка» и без малейшего намека на сословную

257 25; 85. Учитывая связь, которую Достоевский устанавливает между финансовыми потоками и влечением к разрушению, нет ничего удивительного в том, что в «Братьях Карамазовых» мы встречаем упоминание якобы осуществленного (согласно тогдашней антисемитской пропаганде) в рамках еврейского богослужения ритуала детоубийства. См.: 15; 24.

258 24; 211–212.

259 Тема «лучших людей» уже возникла в записках 1873 года в связи со статьями Мецкерского и исследованием Р. А. Фадеева «Русское общество в настоящем и будущем». См.: 21; 265–271.

щепетильность: «Современному купцу уже не надо залучать к себе на обед «особу» и давать ей балы; он уже роднится и братается с особой на бирже, в акционерном собрании, в устроенном вместе с особой банке; он уже теперь сам лицо, сам особа»²⁶⁰.

С увеличением амплитуды спекулятивной волны во второй половине 50-х годов «земские деятели, мирно жиревшие в своих медвежьих углах, массами бросились в столицу со всех концов России искать концессий на разные предприятия» — так отзывался в 1873 году на страницах «Гражданина» анонимный экономический обозреватель (судя по стилю, это был издатель журнала князь В. П. Мещерский): «Явилась бездна коммерсантов и финансистов, существования которых до сих пор тем более нельзя было подозревать, что они и не думали вовсе подготавливаться к такой деятельности, а состояли в разных трущобах при таких делах, которые имеют столько же общего с коммерцией, как и таскание платков из чужих карманов»²⁶¹. С конца 50-х годов представители всех сословий сливаются в общей лихорадке беспринципного аферизма, преимущественно в связи со строительством железных дорог. Не случайно чудаковатый Лебедев из «Идиота» сравнивает распространение железных дорог на российской земле со «звездой Полюнь» Апокалипсиса. Князь Мещерский в мемуарах о событиях 1869–1871 годов, когда министром путей сообщений был весьма ценимый им «ультра-аристократический» граф В. А. Бобринский, вспоминает, что именно вокруг этого министерства «тогда сосредоточивалась вся вакханалия железнодорожной горячки во всем ее разгаре»; помимо этого он не забывает упомянуть и о подозрительном социальном происхождении «главных воротил» той «курьезной железнодорожной эпопеи», а также о «крупных взятках»²⁶², на которых основывался весь механизм. Мы уже не раз упоминали о тесных связях между иностранными банкирами и русскими промышленниками, между финансовыми львами и придворными служащими, что и вылилось в 1857 году в учреждение ГОЖД; еще несколько десятилетий вокруг железнодорожного (и не только) сектора будут плестись интриги, в которые нередко вовлекались лично царь, его любовницы и компаньонки любовниц... Е. М. Феоктистов, умный журналист консервативного толка, доверенное лицо Каткова,

260 23; 159.

261 Экономические заметки // Гражданин. 1873. № 32. С. 883.

262 Мещерский [В. П.], князь. Воспоминания. М.: 2001. С. 279.

который был вхож в придворную среду и представил в меуарах целую галерею ламброззианских портретов разных представителей верхов, заключает:

Не знаю, в шутку или серьезно некоторые говорили, что если приступить теперь к очистке каналов в Петербурге, которые никто не очищал со времен Анны Иоанновны, то всякая мерзость, поднятая со дна, распространила бы миазмы, которые оказались бы гибельнее всякого холерного яда. Часто приходит мне это на ум, когда рассуждаю о нашем современном положении²⁶³.

После очередного финансового краха в конце 1869 года банковские акции снова пришли на смену акциям железнодорожным, но, естественно, суть дела не поменялась. Если убежденный монархист Феокистов проводил сравнение между клоаками и холерой с уровнем прозрачности российских финансов, то в «Братьях Карамазовых» взаимосвязь между международным «иудейским» капиталом, промышленностью и обратившимся к спекуляциям дворянством в малом масштабе воплотилась в лице Федора Карамазова — который, кстати, в свое время научился искусству спекуляции и ростовщичества у одесских евреев²⁶⁴, — а также Кузьмы Самсонова, «старого купчишки, развратного мужика и городского головы»²⁶⁵. Достоевский не скупится на эпитеты в адрес последнего: «большой стотысячник, человек скаредный и неумолимый (...), большой делец (...), скуп и тверд, как кремь»²⁶⁶. К тому же кругу принадлежит и богатый кулак Трифон Борисыч, посредник между новым правящим сословием и крестьянским миром; Достоевский сразу показывает, как это отразилось на последнем: «Половина с лишком мужиков была у него в когтях, все были ему должны кругом. Он арендовал у помещиков землю и сам покупал, а обрабатывали ему мужики эту землю за долг, из которого никогда не могли выйти»²⁶⁷. Не слишком отличается и образ действия уже упомянутого купца-сади́ста Максима Ивановича из «Подростка», который

народ рассчитывал произвольно; возьмет сче́ты, наденет очки: «Тебе, Фома, сколько?» — «С рожде́ства не брал, Максим Иванович, тридцать девять рублев моих е́сть». — «Ух сколько

263 За кулисами политики. 1848–1914. М.: 2001. С. 197.

264 14; 21.

265 14; 75.

266 14; 311.

267 14; 373.

денег! Это много тебе; ты и весь таких денег не стоишь, совсем не к лицу тебе будет: десять рублей с костей долой, а двадцать девять получай». И молчит человек; да и никто не смеет пикнуть, все молчат²⁶⁸.

Однако не случайно и тот, и другой в конце концов раскаются: первый на смертном одре, второй — отправившись в религиозные странствования по модели некрасовского Власа. Люди из народа, укоренившиеся в «почве», под казалью бы непроницаемыми пластами алчности хранят готовую к пробуждению духовную силу. Совсем иначе обстоит дело с представителями образованных сословий: если их уже поразил садистско-денежный синдром, то освободит их лишь насильственная и отчаянная смерть.

Между Коробочкой и Марией Египетской

Таким образом, будущее страны зависит от решения аграрного вопроса, а именно — от способности найти равновесие между традиционным общинным владением, гарантом социальной сплоченности и культурной преемственности, и более современными, связанными с движением капиталов формами сельского предпринимательства, избежав поглощения или вытеснения первых: «А разрешен ли у нас до сих пор вопрос о единичном, частном землевладении? Уживется ли впредь оно рядом с мужичьим, с определенной рабочей силой, но здоровой и твердой, а не на пролетарьяте и кабаке основанной?»²⁶⁹ Эти записи относятся к последнему выпуску «Дневника» (январь 1881 года), вышедшему посмертно и посвященному как раз финансово-экономическим вопросам: «Ведь если не будет земледелия, не будет и ничего, ни промышленности, ни финансов, — предупреждал Достоевский в черновом варианте статьи, перечислив затем некоторые «аксиомы», типичные для традиции сельскохозяйственного редуционизма и экономического романтизма от Ж. Симонда де Сисмонди до первооткрывателя русской общины А. Гакстгаузена, от уже неоднократно цитировавшегося нами Тенгоборского до славянофилов (не без некоторых точек соприкосновения с народничеством). — Ведь это

268 13; 314. Любопытная деталь: Федор Павлович, Кузьма Самсонов и Трифон Борисыч, как и Скотобойников из «Подростка», являются вдовцами. Спекулятивный капитал, который объединяет дворян, купцов и кулаков крепостного происхождения и консолидирует их в новый социальный блок, не предусматривает наличия иных привязанностей. Вдовцом является и бес Ивана Карамазова, воплощение всемирной энтропии.

269 27; 193.

уже аксиома в экономической науке, что кто владеет землей, тот и ведет государство. Что если цветет земледелие, цветет и промышленность, цветет и спокойствие. Ведь и капитал и промышленность всего больше любят спокойствие, а у нас есть спокойствие»²⁷⁰.

Дальше от непререкаемых успокоительных «аксиом» Достоевский обращается к куда более определенным и тревожным вопросам будущего устройства земельной собственности: «А какому земледельцу достанется земля русская — капитальный вопрос и неразрешимый у нас в высшей степени. Общине ли крестьянской достанется все одной или и отдельному единоличному землевладению вместе. А если вместе, то как они уживутся»²⁷¹. Любое затягивание реформы грозит тем, что аграрный сектор окажется в руках спекулятивного капитала и кулаков а-ля Трифон Борисыч — настоящих пугал для позднего Достоевского, который охотно использует уже знакомую нам сексуально-психопатологическую метафорику в повествовании о подсобного рода героях: «А пока прежний землевладелец продает имение за бесценок купцу, теперь и жиду, те рубят леса, даже сады рубят, возьмут все, что можно взять с землею, осрамят и обесчестят землю, и продают потом по клочкам»²⁷².

Не случайно описание этого переплетения экономических интересов оканчивается неопределенно — «Кто будет будущим помещиком, вовсе не решено» — и исчезает из окончательной версии «Дневника», в котором писатель снова, ограничиваясь, впрочем, лишь общими словами, сводит весь вопрос к любимому им аграрному редукционизму:

270 27; 214. Часть «Новых начал политической экономии» Сисмонди (1819) сразу удостоилась частичного перевода в весьма популярном в кругу среднего провинциального дворянства «Духе журналов» (1819. № 10). Первый последовательный сторонник сельскохозяйственного редукционизма в России — М. И. Швитков, двукратный победитель ежегодного конкурса Вольного экономического общества на сочинение, посвященное предпочтительному для России устройству производства (1805 и 1810 годы). С консервативной точки зрения, близкой карамзинским «Запискам о старой и новой России», Швитков утверждал пагубность «чрезмерного умножения людей торговых и промышленных» (Труды ВЭО. Т. 57. 1805. С. 121) в ущерб сельскому хозяйству и защищал мелкую крестьянскую промышленность: «Содержание мастерских и рабочих, равно как постройка заводов или фабрик, всегда приходится дешевле в сельских местах, нежели в городах, а от того самая продажа изделий сходнее тех, которые вырабатываются в градских заводах или фабриках» (Труды ВЭО. Т. 62. 1810. С. 149).

271 27; 214.

272 27; 214. Левин, герой «Анны Карениной», сталкивался со сходными феноменами: в его случае этот конфликт решается за счет абсолютно чуждой Достоевскому идеализации дворянина-собственника старой закалки. См. гл. XVII второй части романа.

«Я (...) верю как в экономическую аксиому, что не железно-дорожники, не промышленники, не миллионеры, не банки, не жидаы обладают землею, а прежде всех лишь одни земледельцы; что кто обрабатывает землю, тот и ведет все за собою, и что земледельцы и суть государство, ядро его, сердцевина»²⁷³. Некоторая расплывчатость в трактовке Достоевского неизбежна: хроническое бессилие аграрного сектора происходило во многом от злополучной земельной экспроприации 1861 года, проведенной в ущерб бывшим крепостным; однако рассматривать эту тему в более детальной форме в конце 70-х годов значило приниматься за решение центральной проблемы — нового перераспределения земель в пользу крестьян — меры, которую Достоевский отнюдь не желает принимать и, более того, считает ее плодом опасного недоразумения: «Превратные мысли: даром возьмем»²⁷⁴ — так писатель резюмирует подобные идеи.

Да и сам Достоевский собирался в то время инвестировать в земельную собственность и стать землевладельцем; таким образом он рассчитывал гарантировать экономическую стабильность и гражданский статус своим детям: «У меня все убеждения, — пишет Федор Михайлович жене в августе 1879 года, — что 1) деревня есть капитал, который к возрасту детей утроится, и 2) что тот, кто владеет землею, участвует и в политической власти над государством»²⁷⁵. Мэру, направленную на облегчение нищеты и отсталости крестьянских общин, на которой более или менее открыто настаивали публицисты народнического толка (а именно частичное или полное отчуждение помещичьих наделов), Достоевский отвергает как травматическую и потенциально дестабилизирующую: необходимо помнить, что экономическое развитие нуждается в «спокойствии» и в наличии единого и бесконфликтного национального организма.

Гораздо большего доверия — как обычно бывает, когда из поля зрения исчезают конкретные противоречия — заслуживает призыв к предсказанным Зосимой «семенам от миров иных» и к обещанным им социальным чудесам.

273 27; 10.

274 27; 75.

275 30/1; 109. Запоздалое стремление получить земельную ренту — если верить дочери писателя Любови Федоровне — даже повлияло на преждевременную смерть Достоевского: 25 января его якобы посетила любимая сестра В. М. Иванова, приехавшая из Москвы, чтобы уговорить брата передать ей унаследованный от тетки А. Ф. Куманиной земельный участок. Во время оживленного спора у Достоевского пошла горлом кровь, спустя три дня он умер. См.: *Достоевская Л. Ф.* Достоевский в изображении его дочери. М. — Пг.: 1922. С. 96–97.

В августе 1880 года Достоевский пишет в «Дневнике» духовное завещание — «Объяснительное слово» по поводу «Речи о Пушкине», в котором автор подчеркивает не «экономический», но «*нравственный*» характер обязательств, руководящих русским человеком в его деятельности во имя всеобщего спасения: «Основные нравственные сокровища духа (...) не зависят от экономической силы»²⁷⁶. И в последнем выпуске «Дневника» незначительный или, по крайней мере, второстепенный характер конкретных экономических и финансовых проблем подчеркивается формулировкой, даже взятой в кавычки: «Мысль моя, формула моя — следующая: «Для приобретения хороших государственных финансов в государстве, изведавшем известные потрясения, не думай слишком много о текущих потребностях, сколь бы сильно ни вопияли они, а думай лишь об оздоровлении корней — и получишь финансы»²⁷⁷; в черновике: «Финансисту надо стоять вне времени и взять идею незыблемую»²⁷⁸.

По мнению писателя, нужно быть в курсе происходящих экономических процессов, но только для того, чтобы в них угадать эпифеномены гораздо более глубоких антропологических потрясений; при этом заинтересованность лишь в проблемах современности — это признак тупости, в отношении которой Достоевский не скупится на сарказм: «Нынче век железных дорог, Дмитрий Федорович, — предсказывает госпожа Хохлакова раздраженному Мите Карамазову в одном из своих самых шутовских выступлений. — Вы станете известны и необходимы министерству финансов, которое теперь так нуждается. Падение нашего кредитного рубля не дает мне спать, Дмитрий Федорович, с этой стороны меня мало знают»²⁷⁹.

Согласно давнему убеждению Достоевского, экономический позитивизм и культ «прогресса» делают из человека циника и стяжателя, как говорил уже Разумихин в одном из первых вариантов «Преступления и наказания»: «(...) на счет того, как деньги содрать, нет такой шельмы, как те, которые от трех рыб в негодование приходят и этим торгуют. Именно, заметь это себе и напередки, и если, примером, ты трехрыбному задолжал или он тут только руку свою замешал, так уж тотчас норовит тебя в дом Тарасова. На том стоят-с. Это у них положительный элемент и презрением

276 26; 131, 132.

277 27; 13.

278 27; 191.

279 14; 348–349.

к предрассудку называется, презрение к долгу, но не к долгам, в том случае, если им должен»²⁸⁰.

О том же беседуют Ракитин и уже заключенный в тюрьму Дмитрий. Коварный журналист левого толка и стяжатель призывает Карамазова оставить бога и подумать о более насущных вопросах: «(...) о расширении гражданских прав человека (...) али хоть о том, чтобы цена на говядину не возвысилась»; однако без пяти минут отцеубийца сразу возражает: «А ты (...) без бога-то сам еще на говядину цену набьешь, коль под руку попадет, и наколотишь рубль на копейку»²⁸¹. На тему социального детерминизма иронизирует и бес Ивана: «Самые лучшие чувства мои, как, например, благодарность, мне формально запрещены единственно социальным моим положением»²⁸².

По мере того как конкретные экономические процессы перемещаются из царства причин в царство следствий, дилемма между интересами, которые олицетворяет Кузьма Самсонов, и началами, воплощенными в Зосиме, все более предстает как идеологическая борьба за гегемонию над массами и как соперничество между двумя различными формами духовного влияния. Это прекрасно осознает Алеша, внимательно наблюдающий за людьми, постепенно сосредотачивающимися вокруг старца:

Для смиренной души русского простолюдина, измученной трудом и горем, а главное всегдашнюю несправедливостью и всегдашним грехом, как своим, так и мировым, нет сильнее потребности и утешения как обрести святыню или святого, пасть пред ним и поклониться ему: «Если у нас грех, неправда и искушение, то все равно есть на земле там-то, где-то святой и высший; у того зато правда, тот зато знает правду; значит, не умирает она на земле, а стало быть когда-нибудь и к нам перейдет и воцарится по всей земле как обещано»²⁸³.

Чем сильнее запутывается социально-экономическая картина, тем больше Достоевский ищет утешения в утопии христианской солидарности, которая организует человеческие отношения не на основе утилитаризма, но на основе инстинктивной эмпатии между перерожденными верой людьми и тем самым упраздняет (разумеется, только в идеологических эмпиреях писателя, а не в реальности)

280 7; 53.

281 15; 32.

282 15; 76.

283 14; 29.

не разрешимые по-другому противоречия. *Mutatis mutandis*, можно вспомнить полемику, которую Маркс и Энгельс вели в 1845–1846 годах против концепции социальных отношений, изложенной Максом Штирнером в известном манифесте анархо-индивидуалистического толка «Едиственный и его собственность»: по Марксу, Штирнер «не хочет, чтобы два индивида находились в «противоречии» друг к другу, как буржуа и пролетарий, он протестует против того «особенного», что составляет «преимущество» буржуа перед пролетариями, он хотел бы, чтобы они вступили в чисто личные отношения, чтобы они общались между собой как простые индивиды. Он не принимает во внимание, что в рамках разделения труда личные отношения необходимо, неизбежно развиваются в классовые отношения». Несмотря на внешний радикализм, подобная критика социальных отношений «сводится просто к благочестивому пожеланию, которое [Штирнер] рассчитывает осуществить, уговорив индивидов этих классов выбить из головы представление о своей «противоположности» и о своей «особенной» «привилегии».

Не случайно подобный идеологический образ действия, характерный для немецкой философии до 1848 года, возникает в России лет через двадцать (вспомним, что его предпосылки вырабатывались Достоевским начиная с «Записок из подполья»): обычно он характерен для интеллигенции, представляющей социально отсталое общество, которое подвергается модернизации «извне», в результате чего изменения во взаимоотношениях между социальными лицами начинают трактоваться не как следствие общей экономической логики, но как плод произвольных и субъективных желаний; Штирнер обеспокоен лишь тем, заключает Маркс и Энгельс, «чем *считают себя* люди и чем *он* их считает, чего они хотят и чего *он* хочет. Чтобы уничтожить «противоречие» и «особенное», достаточно изменить «мнение» и «хотение»²⁸⁴.

Похожий подход — хотя и полностью противоположный абсолютному индивидуализму Штирнера — мы находим у Достоевского. Он был намечен уже в «Подростке» (упомянутая выше история бывшего безжалостного кулака, а затем ищущего искупления богомольца Максима Ивановича Скотобойникова), а в следующем (и последнем) романе Достоевский представит эту стратегию в более развернутом и эксплицитном виде: весь ход антропологической

284 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. М.: 1933. С. 425. Этот фрагмент переосмыслен в: Bourdieu P. Structuralism and Theory of Sociological Knowledge // Social Research. Winter. 1968.

революции, которую в прощальной проповеди пропагандирует старец Зосима, основан на радикально новом определении диалектики «господина» и «раба». Концепция человеческих взаимоотношений переносится с оси установленных экономическим или юридическим принуждением начал владения/подчинения на ось взаимной и свободной службы, диктуемой этикой, в соответствии с которой «каждый из нас перед всеми во всем виноват»²⁸⁵.

К этому ведет вся биография Зосимы-Зиновия, начиная с воспоминаний о брате Маркеле (жертвенный эпицентр, из которого вытягивается весь сюжет романа), на смертном одре говорившего слугам: «Милые мои, дорогие, за что вы мне служите, да и стою ли я того, чтобы служить-то мне? Если бы помиловал бог и оставил в живых, стал бы сам служить вам, ибо все должны один другому служить»; в ответ на недоумение матери он повторяет: «(...) нельзя, чтобы не было господ и слуг, но пусть же и я буду слугой моих слуг, таким же, каким и они мне»²⁸⁶. О том же свидетельствует и «кризис» с лакеем Афанасием, получившим пощечину, и последующее примирение от будущего монаха. Восемь лет спустя странствующий Зосима встретится со своим бывшим лакеем, теперь уже мелким торговцем, и сразу установит с ним непосредственную эмпатическую связь, невозможную ранее из-за сословных преград:

Был я ему господин, а он мне слуга, а теперь, как облобызались мы с ним любовно и в духовном умилении, меж нами великое человеческое единение произошло. Думал я о сем много, а теперь мыслю так: неужели так недоступно уму, что сие великое и простодушное единение могло бы в свой срок и повсеместно произойти меж наших русских людей? Верую, что произойдет, и сроки близки²⁸⁷.

Подобное отношение к прислуге — неоднократно упоминающаяся «смирненная» или «деятельная любовь» — не упраздняет, но нейтрализует социальные разногласия: «Без слуг невозможно в миру, — повторяет Зосима, — но так сделай, чтобы был у тебя твой слуга свободнее духом, чем если бы был не слугой»²⁸⁸. Очевидно, что истоки этой концепции следует искать в известном евангельском высказывании:

285 14; 262.

286 14; 262.

287 14; 287.

288 14; 287–288.

«Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но я назвал вас друзьями»²⁸⁹.

Социально-экономическая иерархия таким образом очищается от конфликтов и, следовательно, становится более прочной: «(...) будет так, что даже самый развращенный богач наш кончит тем, что устыдится богатства своего перед бедным, а бедный, видя смирение сие, поймет и уступит ему с радостью, и лаской ответит на благолепный стыд его»²⁹⁰. Разумеется, это возможно (и желательно) только в России и только в православном мире, который рассматривается как поле русской экспансии и гегемонии, но отнюдь не в Западной Европе, которая, как ранее уже возвещал Версильев, оставлена на растерзание все более разрушительным социальным конфликтам: «В Европе восстает народ на богатых уже силой, — уточняет старец, — и народные вожак повсеместно ведут его к крови и учат, что прав гнев его. Но «проклят гнев их, ибо жесток». А Россию спасет господь, как спал уже много раз»²⁹¹.

Достоевский-публицист поддерживает схожие утопические идеи в еще более радикальной форме: писатель возражает либеральному юристу А.Д. Градовскому, который подвергнул критике предложенное в «Речи о Пушкине» отождествление христианской добродетели и гражданского прогресса, парадоксальным тезисом, в соответствии с которым «христианство, но усиленное, совершенное, так сказать, уже дошедшее до своего идеала»²⁹² преобразит социальные отношения по примеру родственной связи (подобно апостолу Павлу, который обращается к слуге Тимофею как к «возлюбленному сыну»), так что любое формально-юридическое преобразование будет излишним: «Вот, вот именно такие будут отношения господ к своим слугам, если те и другие станут уже совершенными христианами! Слуги и господа будут, но господа уже будут не господами, а слуги не рабами»²⁹³. Примером подобной идеологии, хорошо знакомой Достоевскому, были гоголевские «Выбранные места»²⁹⁴

289 Ин. 15:15.

290 14; 286.

291 14; 286. Цитата из Библии: Быт. 49:7.

292 26; 162.

293 26; 162–163. В подготовительных заметках Достоевский оправдывал подобные сверхъестественные метаморфозы прямыми ссылками на Апокалипсис (26; 323).

294 О параллелизмах между гоголевскими «Выбранными местами» и поздним творчеством Достоевского см.: *Гроссман Л.П.* Библиотека Достоевского. Одесса: 1919. С. 76–77, 127.

— доведенная до парадоксальной крайности попытка представить крепостное право ни больше ни меньше как пример христианско-патриархального воспитания и противопоставить его энтропийному хаосу современности: у Гоголя идеальный помещик является живым образом для «тех подслеповатых людей, которые думают, будто выгоды помещика идут врознь с выгодами мужиков», и ему надлежит доказать «делом, а не словами, что они врут и что если только помещик взглянул глазом христианина на свою обязанность, то не только он может укрепить старые связи, о которых толкуют, будто они исчезли навеки, но связать их новыми, еще сильнейшими связями во Христе, которых уже ничего не может быть сильнее»²⁹⁵.

В последних публицистических выступлениях Достоевский также приводит крепостное право в качестве примера христианского преобразования социальных отношений в родственные: можно было бы обойтись и без отмены крепостничества (тем более если учитывать половинчатый и запутанный способ ее реализации), если бы на месте алчных и невежественных хозяев-эксплуататоров оказались люди вроде Марии Египетской. В молодости проститутка и — подобно Грушеньке — аферистка-авантюристка, она позднее склоняется к самому крайнему аскетизму, становясь тем самым лучшей иллюстрацией непримиримого противоречия между экономической деятельностью и христианской духовностью. Еще в июне 1880 года Достоевский упоминает святую как пример «победившей кровь свою и род свой страданием неслыханным», а в прощальной проповеди Зосима возносит ее как «великую из великих и радостную страдалицу»²⁹⁶.

295 Гоголь Н.В. Собрание сочинений. В 9 т. Т. 6. М.: 1994. С. 109. Сходным образом экспериментировал с литературной типизацией Гоголь во фрагментах второй части «Мертвых душ» (имеется в виду не слишком правдоподобный образ Костанжогло). Весьма схожей — если вычеркнуть православный интеграл и прямую апологию крепостничества — будет идеологическая суть толстовских героев типа взрослого Николая Ростова или Константина Левина. См.: Карпи Г. Гоголь-экономист. Второй том «Мертвых душ» // Вопросы литературы, № 3. 2009. С. 304.

296 30/1; 192, 14; 267. Согласно легенде, записанной в VII веке Софронием Иерусалимским, Марию Египетскую (354–431, почитаемая православными святая, предполагаемые мощи которой находятся в Сретенском монастыре в Москве) причащал в пустыне анахорет по имени Зосима. Святая появляется на страницах произведений Достоевского в повести «Ползунков» (1848); в «Преступлении и наказании» Свидригайлов сравнивает ее с Дуней; отсылки к ней можно найти в подготовительных материалах к «Бесам» и «Подростку». См.: 30/2; 262 (по именному указателю).

Война

Достоевский прекрасно осознает, что для избежания экономической колонизации страны и изгнания демонов индивидуализма и классовых конфликтов вдохновенные проповеди и аскетические *exempla*, конечно, весьма полезны и необходимы, но недостаточны. Ясно и то, что международный капитал не только постепенно изменяет внутреннее социальное равновесие, но его проникновение порождает зловещие трансформации в психологии и поведении людей: «Мешок у *страшного* большинства несомненно считается теперь за все лучшее²⁹⁷, — сокрушался писатель уже в «Лучших людях». —

Но народ, стомиллионный народ наш, эта «косная, развратная, бесчувственная масса» и в которую уже прорвался жид, — что он противопоставит идущему на него чудовищу материализма, в виде золотого мешка? Свою нужду, свои лохмотья, свои подати и неурожаи, свои пороки, сивуху, порку? Мы боялись, что он сразу падет перед вырастающим в силе золотым мешком и что не пройдет поколения, как укрепится ему весь хуже прежнего. И не только силой подчинится ему, но и нравственно, всей своей волей. Мы именно боялись, что он-то и скажет прежде всех: «Вот где главное, вот она где сила, вот где покой, вот где счастье! Сему поклонюсь и за сим пойду»²⁹⁸.

В «Братьях Карамазовых» много признаков того, как — по мере исчезновения традиционно господствовавшего феодально-бюрократического сословия — примерами подражания для народных масс становились владельцы «мешка»: «(...) нет на свете сильнее богатого»²⁹⁹, — удрученно объясняет Снегирев сыну Илюше; крестьянки из Мокрого показывают свою не только экономическую, но и идеологическую зависимость от кулака Трифона Борисыча, воспевая преимущества от брака с купцом. «Недостает, чтобы железнодорожник аль жид проехали и девушек пытали, — возмущенно комментирует юный Калганов, — эти всех бы победили»³⁰⁰.

За неимением других опор в противостоянии разлагающим процессам современности Достоевский вынужден апеллировать ни больше ни меньше как к войне

297 23; 159.

298 23; 160.

299 14; 189.

300 14; 393.

— в конкретном образе антитурецкой кампании за освобождение южных «братьев-славян». Во второй половине десятилетия писатель неустанно восхваляет войну как незаменимое средство морального (для отдельных индивидов) и социального (для разлагающегося общества в целом) возрождения. Уже в апреле 1876 года — одновременно с выработкой гуманистической утопии «Земля и дети» — Достоевский пускается в восторженное восхваление войны как катарсического действия, способного изгнать «страдание» из народного организма, т.е. перенаправить внутригосударственные общественные противоречия на внешнее военное столкновение:

Как ни освобождайте и какие ни пишите законы, неравенство людей не уничтожится в теперешнем обществе. Единственное лекарство — война. Пальятивное, моментальное, но отрадное для народа. Война поднимает дух народа и его сознание собственного достоинства. Война равняет всех во время боя и мирит господина и раба в самом высшем проявлении человеческого достоинства — в жертве жизнью за общее дело, за всех, за отечество³⁰¹.

В течение лета добровольцы массово отправляются воевать на Балканы; этот феномен взбудоражил общественное мнение и, в частности, Достоевского, который, воспевая святость конфликта и «бескорыстность» русского вторжения, посвятил ему воодушевленные страницы. С точки зрения Достоевского, достойна порицания всякая война, которая вспыхивает «из-за каких-нибудь жалких биржевых интересов, из-за новых рынков, нужных эксплуататорам, из-за приобретения новых рабов, необходимых обладателям золотых мешков»; писатель тем не менее приветствует военное вмешательство, при котором преследуется «бескорыстная и святая идея», представляющая собой противоядие от распада отдельной личности или народного организма, к которому приводит современная цивилизация: «Такая война укрепляет каждую душу сознанием самопожертвования, а дух всей нации сознанием взаимной солидарности и единения всех членов, составляющих нацию»³⁰².

Писатель обходит целомудренным молчанием тот очевидный факт, что сами русские «эксплуататоры» и «обладатели золотых мешков» получают далеко не духовные выгоды

301 22; 125–126.

302 25; 102.

от борьбы за гегемонию на Балканах и над проливами. Более того, Достоевский неоднократно подчеркивает «бескорыстный», даже «антиэкономический» характер российской интервенции, хотя в «Дневнике» проскальзывает и осознание того, насколько велика экономическая роль этой войны: «(...) кто не знает закона, по которому после войны все как бы воскресает силами. Экономические силы страны возбуждаются в десять раз, как будто грозовая туча пролилась обильным дождем над иссохшей почвой»³⁰³; писатель намекает довольно прозрачно и на коммерческую прибыль, которую может получить Россия благодаря контролю над проливами³⁰⁴. В феврале 1877 года Достоевский даже развивает последовательную аргументацию относительно того, что начало европейской войны на Балканах должно дестабилизировать западноевропейскую экономику и спровоцировать революционные волнения (снова вспомним пророчества Версилова и Зосимы, под которые таким образом подводится солидная политэкономическая основа), и Россия из этой ситуации сможет извлечь выгоду: «Интересы цивилизации» — это производство, это богатство, это спокойствие, нужное капиталу» — так, с несомненной пронизательностью, хоть и под знаком *wishful thinking*, Достоевский смотрит на дело с точки зрения западного капитала:

Вопрос ставится прямо, ясно, научно и цинически откровенно. Нужно огромное, беспрерывное и прогрессивное производство по уменьшенной цене, в видах страшного наращивания пролетариев. Доставляя заработок пролетарию, доставляем ему и предметы потребления по уменьшенной цене. Чем спокойнее в Европе, тем более по уменьшенной цене. Стало быть, именно нужно в Европе спокойствие. Шум войны прогонит производство. Капитал труслив, он заботится войны и спрячется. Если ограничить право турок сдирать со спин райи кожу, то надобно затеять войну, а затей войну — сейчас выступит вперед Россия, — значит, может наступить такое усложнение войны, при котором война обнимет весь свет; тогда прощай производство, и пролетарий пойдет на улицу. А пролетарий опасен на улице³⁰⁵.

Излюбленной мишенью Достоевского отныне становятся «так сказать, *жидовствующие*» публицисты, т. е. тео-

303 См.: 22; 125.

304 См.: 22; 125–126, 23; 119–121.

305 См.: 25; 48.

ретики ослабления международной напряженности во имя экономического развития, те самые, которые «стучат про вред войны в отношении экономическом, путают крахами банков, падением курсов, застоём торговли»³⁰⁶. Уже в декабре 1876 года он написал стишки (редчайший для Достоевского поступок!), осмеивающие самые драматические случаи банкротства, вызванные объявлением войны Турции и последующим крахом государственных ценных бумаг:

Крах конторы Баймакова,
Баймакова и Лури,
Вместе зрели оба кова,
Два банкротства — будет три!
Будет три, и пять, и восемь,
Будет очень много крахов
И на лето, и под осень (...) ³⁰⁷.

На самом деле речь шла о весьма солидных банкирах: о Иосифе Лури и Федоре Баймакове, авторе экономических статей и ярком представителе «этического бизнеса», который «смотрел на себя (...) не как на биржевого афериста, спекулянта и игрока, а как на благодетеля для людей с маленькими капиталами»³⁰⁸. Может быть, именно это и спровоцировало 5 декабря его неожиданное банкротство, которое безжалостный Достоевский немедленно прокомментировал: «Сколько можно сделать прелестнейших банкротств и все свалить на правительство: “Вот, дескать, объявило войну, бумаги упали, вот я и банкрот”»³⁰⁹.

Последний выпуск «Дневника» также начинается с полемики против «русских Ферситов»³¹⁰, пораженцев, которые сокрушались по поводу финансового кризиса времен Балканской войны, в душе остались довольные результатами Берлинской конференции и сейчас предлагают в отношениях с другими странами придерживаться политики согласия и разоружения, а также, путем конституционных реформ, приближаться к Европе и привлекать в страну — не дай бог! — иностранные капиталы. Достоевский подобной перспективе противопоставляет политический идеал, который можно обозначить оксюмороном и золяционистский империализм: после полученной

306 24; 63–64.

307 17; 23. Ср. с другой редакцией: 17; 33.

308 Отечественные записки. 1876. № 12. С. 256. Ср.: *Лизунов П. В.* Санкт-петербургская биржа. С. 198–200.

309 24; 297.

310 27; 5.

на Берлинской конференции пощечины Россия должна изолироваться от Запада, с новой энергией посвятив себя колонизации Азии и ожидая следующей потери европейского равновесия, которая позволит взять реванш и над проливами. Отсюда «окончательная (...), суровая (...), угрюмая экономика»³¹¹, за которую выступает Достоевский, отвергает как сокращение военных расходов, предложенное новым министром финансов А. Абазой³¹² — в семье которого писатель был завсегдатаем, — так и популярные в период непродолжительной «диктатуры сердца» министра внутренних дел М. Т. Лорис-Меликова³¹³ конституционные проекты, которые писатель воспринимал как гибельную попытку укрепления власти бюрократии под прикрытием либеральных и западнических лозунгов.

Снова в публицистике Достоевского появляется тема сельскохозяйственной отрасли и ее работников как сердцевины нации, в защиту которой от коварных «жидов» и «финансов» писатель пытается теперь выдвинуть конкретную экономическую программу, основывающуюся на автаркии и протекционизме и подразумевающую перераспределение финансирования и налоговых льгот, предоставлявшихся ранее промышленности и инфраструктурным проектам, в пользу сельского хозяйства, а также жесткое сокращение центрального бюрократического аппарата.

Впрочем, не лишним будет упомянуть, что в последнем выпуске «Дневника писателя» помимо империалистического изоляционизма и аграрного редуционизма Достоевский уделяет внимание и другой теме. Он произносит «одно магическое словцо, именно: “Оказать доверие”», т. е. осторожно и со всевозможными оговорками намекает на своевременность новых форм вовлечения народа в общенациональную политику: «Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду». Характерно, что подобные консультации должны были проводиться на местах и касаться лишь аграрных сословий: «Надо только соблюсти, чтобы высказался пока именно только мужик, один только заправский мужик»³¹⁴. Не случайно и то, что, если верить О. Ф. Миллеру

311 27; 27.

312 27; 27. Ср. с жесткой иронией подготовительных заметок: 27; 71.

313 По иронии судьбы Лорис-Меликов предпримет попытку подтолкнуть Александра II к конституционным реформам именно в день смерти Достоевского (28 февраля 1881 года). Три дня спустя царь погибнет от взрыва, организованного народовольцами.

314 27; 21.

и Н. Н. Страхову, свидетелям последних дней жизни писателя, на подобные взгляды его вдохновила идея «народосоветия» И. Т. Посошкова: еще с 40-х годов недворянские публицисты «плебейско-патриотического» склада — от Погодина до Кокорева, от Ап. Григорьева до Шапова — охотно ссылались на грубоватого, но для своего времени проницательного автора «Книги о скудости и богатстве», пропагандиста торгового капитализма и совещательного представительства конца петровского царствования, когда еще не было ясно, останется ли политическая власть в руках дворянства или ее придется делить с крупным купечеством³¹⁵.

Н а р о д о с о в е т и е, да, но прежде всего и з о л я ц и о н и з м: разворачиваясь к Азии, Россия должна избавиться от бесполезной, экономически обременительной, несвойственной национальным традициям мишуры, «прибедниться, сесть на дорожке, шапку перед собой положить, грошиков просить, куда уж тут секретарей посольства в Европу посылать»³¹⁶, — отмечал писатель в подготовительных заметках. «Дьявол с богом борется» не только в «сердцах людей»³¹⁷ — согласно знаменитому афоризму Дмитрия Карамазова, — но и в сердце наций, т.е. в системе социальных связей и отношений к собственности. Мир, международная разрядка и европеизация нужны лишь кулакам и «блестящим молодым секретарям (...) посольства»³¹⁸; а для крестьянской, солидарной России будущего, движимой принципом «деятельной любви», необходимо постоянное состояние военной напряженности, способное предложить народным массам новую идентичность, в корне противоположную идентичности «жида»-спекулянта, который, побуждаемый проникновением финансовых капиталов, стремится прибрать себе всю власть: «Лучший человек» по представлению народному, — рассуждал в заключении «Лучших людей» Достоевский, — это тот, который не преклонился перед материальным соблазном, тот, который ищет неустанно работы на дело божие, любит правду и, когда надо, встает служить ей, бросая дом и семью и жертвуя жизнью»³¹⁹.

В подготовительных заметках к этой статье писатель еще более явно продемонстрировал окончательное принятие того мессианско-архаизаторского мистицизма, кото-

315 См.: *Страхов Н.Н.* Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 2. М.: 1990. С. 524–525.

316 27; 69.

317 14; 100.

318 27; 78.

319 23; 161.

рый исследователи впоследствии ретроспективно (и произвольно) распространяют на все его творчество:

Где теперь и что такое теперь лучшие люди. Без лучших людей земля не стоит. Чины — пали. Дворянство пало. Все форменные установки лучшего человека — пали. Остались народные идеалы (юродивый, простенький, но прямой, простой. Богатырь Илья Муромец, тоже из обиженных, но честный, правдивый, истинный) (...). Понятно, что надо бы такому мировоззрению удержаться в народе — единственное наше спасение. Но если будут почитать купцов, мамону. Эти борются, эти хотят осилить народное мировоззрение. «Были бы денежки, были бы сижки»³²⁰.

Мы опять сталкиваемся с одобрением войны: «Огромные народные потрясения, вроде войны, были бы спасительны»³²¹. Перевоплощение богатыря — Ильи Муромца, помилованного богом крестьянского воина — впервые появилось в заметках 1864 года, из которых затем получился историософский фрагмент «Социализм и христианство». В нем «смирение (...) Ильи Муромца»³²² указывало на отличие исторической роли России от основанного на насилии германского экспансионизма; в середине 70-х годов, в период нового обострения международных отношений, богатырь становится опорой в борьбе против турок, а также против проникновения в Россию иностранных капиталов и соответствующих ценностей. Новое появление Ильи Муромца представляет собой последнее слово Достоевского в области социального прогнозирования: в октябрьском «Дневнике» 1876 года русские описываются как «народ твердого воззрения и уже ничем непоколебимых правил, народ — любитель жертв и ищущий правды и знающий, где она, народ кроткий, но сильный, честный и чистый сердцем, как один из высоких идеалов его — богатырь Илья Муромец, чтимый им за святого»³²³. О том же самом заходит речь и в марте 1877 года: «Народ наш любит тоже рассказывать и всеславное и великое житие своего великого, целомудренного и смиренного христианского богатыря Ильи Муромца, подвижника за правду, освободителя бедных и слабых, смиренного и непревозносящегося, верного и сердцем чистого»³²⁴. Необходимо отметить прямую связь

320 24; 269.

321 24; 269.

322 20; 189.

323 23; 150.

324 25; 69.

(по крайней мере, в подготовительных заметках) между фигурой Ильи Муромца и проблемой преодоления отношений господина и раба: «Посмотрите на великоруса: он господствует, но похож ли он на господина? Какому немцу, поляку не принужден он был уступать. Он слуга. А между тем, тем-то — переносливостью, широкостью, чутьем своим он и господин. Идеал его, тип великоруса — Илья Муромец»³²⁵. Итак, богатырь проявляет свое господство через служение и жертвоприношение, так же как и Мария Египетская, и являет собой идеальное дополнение к тщательно разработанной в «Братьях Карамазовых» идее монашеской «ирократии»³²⁶.

Отсюда изобилие в романе — как и во всем «Дневнике писателя» 1876–1877 годов³²⁷ — понятий и тем, связанных с мученичеством, самопожертвованием во имя веры или подвигом.

В молодости военный инженер без всякого призвания к своей профессии, рядовой солдат (с ноября 1855 года — унтер-офицер) в сибирском батальоне во время ссылки («стоял на смотрю наряду с другими и знал свое дело не хуже других»³²⁸), Достоевский не испытывает особенного расположения к людям в форме. До «Братьев Карамазовых» военные или бывшие военные появляются в его произведениях спорадически и представляют собой нечто вроде зеркала для разных форм изувеченной человеческой природы, свойственных николаевскому режиму: от алкоголика и маразматика капитана Иволгина, речь которого гротескно копирует околвоенную риторику 20–30-х годов (встреча с Наполеоном в Москве, несостоявшаяся дуэль с отцом князя Мышкина), до поручика Моловцова, которого Настасья Филипповна

325 24; 309. Писатель, журналист и покровитель юного Горького Владимир Посев вспоминает, как во время благотворительного вечера 19 октября 1880 года Достоевский прочитал стихотворение-былину «Илья Муромец» Алексея К. Толстого. См.: Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 2. М.: 1990. С. 441.

326 Заметим: в то время как Достоевский всячески превозносит подвижничество (акт коллективного самоутверждения нации), в «Братьях Карамазовых» он отвергает дуэль как пережиток индивидуалистической дворянской этики. Она является пережитком, с одной стороны, из-за утвердившейся власти денег (см. высказывания Снегирева о недопустимости дуэли с Дмитрием, 14; 186 и 189: «Нет на свете сильнее богатого») и, с другой стороны, из-за «зосимовой» этики — между этими двумя полюсами и разлагается дворянская традиция: «Нет уж, где нам дворянами оставаться-с» (14; 186). Ср. апологию дуэли со стороны вульгарной Марьи Кондратьевны и благоразумные возражения Смердякова (14; 205–206).

327 Один лишь термин «мученичество» и его производные встречаются в течение двух лет 95 раз.

328 28/1; 191.

бьет тросточкой по «роже»³²⁹; можно вспомнить также капитана Лебядкина и офицера Сверкова.

Однако в «Братьях Карамазовых» ситуация меняется. В сравнении с другими романами этот текст напоминает казарму: уже «фамилия слуги Федора Павловича Карамазова, Григория, — Кутузов — заставляет наконец обратить внимание и на фамилию капитана Снегирева, через знаменитое державинское стихотворение напрямую связывающую своего носителя с Суворовым. Эти военные фамилии и звания в романе, очевидно, составляют какой-то сюжет и требуют своей интерпретации»³³⁰. Указанная этими именами наполеоновская тема отсылает не к мифу о сверхчеловеке, как в «Преступлении и наказании», но к основополагающей для нации мифологии военного подвига. В «Карамазовых» мы находим целую шеренгу людей в форме: во-первых, Снегирев, бывшая профессия которого подчеркивается в сцене, в которой он заряжает бронзовую пушечку (типичный для произведений Достоевского предмет-фетиш): «Штабс-капитан, как бывший военный человек, сам распорядился зарядом»³³¹; его враг Дмитрий наделен всеми чертами «военного недавно в отставке»³³², и даже старец Зосима может похвастаться своей давней службой; полковничьей дочерью является Катерина Ивановна, а Смердяков и Илюша мечтают о военной службе (правда, с абсолютно разными мотивировками).

Столь же многочисленны упоминания в «Братьях Карамазовых» мучеников, почти всегда связанных с военной тематикой. Самый явный пример приводит своим хозяевам праведный слуга Григорий — это русский солдат, подвергнутый пыткам в Средней Азии за отказ отречься от христианства. И не случайно реакция членов семьи Карамазовых на этот рассказ определяет их психологическую сущность³³³. Мученик за веру — или принесенный в жертву ребенок, эмблема современности, в которой господствуют насилие и нажива, — сплачивает общество, побуждая индивида к принятию радикального решения. Именно о детях говорит Иван во время известной встречи с Алешей в трактире; можно вспомнить также предсмертную речь брата Зосимы Маркела, содержание которой напрямую связано с самым началом истории Карамазовых. Еще два принципиально важных для истории момента — так и не совершившийся подвиг

329 8; 290–291.

330 Касаткина Т. А. Предисловие // Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Современное состояние изучения. М.: 2007. С. 8.

331 14; 493.

332 14; 63.

333 14; 117–127.

Катерины, готовой ради отца отдаться Дмитрию за деньги, и сын-«дракон» Григория, умерший в пеленках как некий «анти-мученик», вместо которого лакей Карамазовых усыновляет Смердякова, зеркально переворачивая позитивную диалектику подвига — святости (место подвига ради отца занимает отцеубийство/самоубийство).

На том же самом принципе основана и знаменитая заключительная апострофа романа: Алеша указывает своим юным последователям на *exemplum* «славного (...), доброго и храброго мальчика» Илюши, готового «восстать» с перочинным ножиком в руке как истый солдат Христа во имя защиты чести отца³³⁴. Подвиг маленького богатыря Илюши противопоставляется ироикоически сниженному «большому» эпосу: легенде об основании Трои, неоднократно упоминаемой в разговорах Коли Красоткина с его товарищами.

На идее подвига построена и история самого Алеши, которую Достоевский намеревался описать по ходу прерванной на начальной стадии эпопеи: с самого начала он определен как «юноша отчасти уже нашего последнего времени, то есть честный по природе своей, требующий правды, ищущий ее и верующий в нее, а уверовав требующий немедленного участия в ней всею силой души своей, требующий скорого подвига, с неперменным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига, даже жизнью»³³⁵. Далее следует череда испытаний: обращение к земле, которое создает из Алеши «твердого на всю жизнь бойца»³³⁶, выход из замкнутого и благостного мира монастыря и духовный рост, обретенный в борьбе против находящегося во власти хаоса и алчных appetitов внешнего мира. Самому же монастырю хватает и внутренних врагов, готовых соблазниться «тлетворным духом» и — подобно отцу Феропонту на отпевании Зосимы — нарушить хрупкий порядок обители. Предсказанные *patri seraphici* блаженство и социальная гармония нуждаются в богатырях, которые будут сражаться и охранять вечно кровоточащие границы.

334 15; 195–196. Отец, со своей стороны, хвалит сына за «воистину рыцарский дух» (14; 186). В восприятии поздним Достоевским родственных связей как общего прообраза для всех межчеловеческих отношений (а также многих других феноменов — интерес к роли материального тела в диалектике смерти/воскрешения, борьба против разлагающихся процессов и т. д.) очевидно влияние философа-эрудита Н. Ф. Федорова, с идеями которого писатель познакомился в марте 1876 года.

335 14; 25.

336 14; 328.

**«Умственная оргия».
Ф.М.Достоевский
и тверские либералы**

1

В апреле 1859 года, после четырех лет каторги в Омске и пяти с половиной лет военной службы в Семипалатинске, Достоевский был помилован и восстановлен в дворянском звании. Ему было позволено вернуться в европейскую Россию, но с обязательством «жить в отставке в Твери»¹. Туда он приезжает в августе, и его первые впечатления — самые мрачные. «Теперь я заперт в Твери, и это хуже Семипалатинска, — жалуется писатель 22 сентября. — Сумрачно, холодно, каменные дома, никакого движения, никаких интересов, — даже библиотеки нет порядочной»². Вернувшись после путешествия длиной 4000 верст вместе с женой и пасынком, подавленный нищетой и удрученный низкой оценкой своих первых после ссылки произведений, Достоевский проводит первые месяцы в Твери в судорожных попытках вновь получить разрешение на проживание в Санкт-Петербурге, чего он и добивается в конце ноября при помощи губернатора П. Т. Баранова. В конце декабря Достоевский был уже в Петербурге.

Тем не менее пребывание в верхневолжском городе не прошло для него зря. Осенью условия его изоляции смягчаются, и Достоевский оказывается очевидцем целого ряда любопытных событий, связанных с написанием Манифеста об отмене крепостного права. В центре происходившего был Алексей Михайлович Унковский, горячая голова, молодой помещик из Твери, известный в высших правительственных кругах с апреля 1857 года, когда он, будучи только что избранным предводителем губернского дворянства, воспользовался этой должностью, чтобы возглавить группу отважных реформаторов.

В то время как большая часть дворянства с первых же шагов правительства в направлении отмены крепостного права (царский рескрипт от ноября 1857 года, который допускал необходимость «улучшения быта помещичьих крестьян») начала беспорядочную, но шумную кампанию за сохранение

1 См.: Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. Т. 1. СПб.: 1993. С. 258.

2 28/1; 337.

имущества и привилегий, Унковский и его сподвижники, напротив, настаивали на полной и немедленной передаче крестьянам большей части земель. Дворян Верхней Волги, области с небогатыми, но удачно расположенными для торговли землями, на деле интересовало не сохранение земельной собственности, но свежие капиталы, которыми государство компенсировало отчуждение собственности в пользу крестьян: так, бывшие помещики должны были получить возмещение от правительства в виде казначейских обязательств, профинансированных за счет приватизации имущества, принадлежащего государству (монополий, мануфактур), в которое сторонники Унковского и намеревались вложить средства от компенсации, полученной за отчуждение земель. Таким образом бывшее дворянство превратилось бы в современный класс предпринимателей и сохранило бы общественное первенство уже не как юридически привилегированное сословие, но как стержень нового социального блока (русской буржуазии), в который влились бы динамические элементы из всех сословий.

Скоро к этой экономической программе были добавлены политические требования. В феврале 1859 года работа Губернского комитета завершается принятием Положения, в котором, помимо уже известных пунктов либеральной программы (полные гражданские права бывшим крепостным, немедленное прекращение феодальных обязательств, выдача крестьянам соответствующих земельных участков за счет государства), содержится требование реформы местного управления в сторону его большей автономности и межсословности³.

Унковский входит также в состав губернских представителей, призванных в Петербург в августе 1859 года для участия в заключительной фазе работы Редакционных комиссий. В октябре, во время краткого пребывания в Твери, он печатает и распространяет обширную программную платформу, в которой содержатся наиболее важные пункты для него и его сподвижников, которых в Петербурге называли «выкупщиками», т. е. сторонниками немедленного и обязательного выкупа земельной собственности крестьянами. Отмена крепостного права должна была способствовать проведению полной юридической, административной, а в перспективе и государственной реформы: «Итак, все дело в гласности, в учреждении независимого суда, в ответственности должностных лиц перед судом, в строгом разделении

3 См.: *Чернышов Д. В.* Унковский. Жизнь и судьба тверского реформатора Тверь: 1998. С. 105.

властей и в самоуправлении обществ в хозяйственном отношении»⁴. Система, получившаяся в результате этой новой волны реформ, должна была выглядеть как сеть местных выборных автономий: «Создайте самостоятельное, выборное, хозяйственно-распорядительное управление, обяжите его представлять гласно отчеты о своих действиях правительству и обществу и сделайте его ответственным только перед судом (...), и больше ничего не нужно»⁵. Буржуазный характер такой программы (создание административной и политической системы, которая гарантирует свободу и динамичность экономических отношений) будет ясно описан через десять лет А.А. Головачевым, правой рукой Унковского и, возможно, главным автором экономической программы выкупщиков:

Уничтожение крепостного права не есть реформа, касающаяся только помещиков и их крестьян, а напротив есть реформа общегосударственная и вносит в нашу жизнь новое начало: *свободный труд*. Это новое начало должно изменить весь строй социальной жизни народа, должно изменить понятия, нравы и потребности общества, а с ними направление не одной сельско-хозяйственной, но и всей вообще промышленности; при таком значении реформы уединять ее от всех других — значит парализовать действие тех начал, которые вдвигаются в жизнь новым законом⁶.

Вернувшись в Петербург, чтобы принять участие в окончании работы Редакционной комиссии, Унковский вместе с другими четырьмя делегатами от Харькова и Ярославля направляет царю призыв, так называемый «адрес пяти» (16 ноября 1859 года), в котором уже известная программа выкупщиков завершается едва скрываемым требованием политической демократизации через образование «хозяйственно-распорядительного управления, общего для всех сословий, основанного на выборном начале»⁷. Александр II сумел оценить такую прямоту: «Т.е. конституцию!!!»⁸ — написал он собственноручно рядом с процитированной выше фразой. В целом призыв показался ему «ни с чем несообразным и дерзким до крайности»⁹.

4 <Унковский А.М.> Соображения по докладам Редакционной комиссии // Голоса из России. Кн. 9. London: 1860. (Факс. переизд. М.: Наука. 1976). С. 30.

5 Там же. С. 46.

6 Головачев А.А. Десять лет реформ, СПб. 1872. С. 160.

7 Цит в: Федоров В.А. Конец крепостничества в России. Документы, письма, мемуары, статьи. М.: 1994. С. 171.

8 Там же. С. 484.

9 Семенов Н.П. Освобождение крестьян. Т. 2. СПб. 1890. С. 128.

В декабре группа Унковского подняла новую бурю: в дворянском собрании, где должно было произойти переизбрание всех должностных лиц Тверской губернии, приверженец Унковского А. И. Европеус выступил против запрета на обсуждение общих политических вопросов, выдвинутого незадолго до этого министром внутренних дел С. С. Ланским. В день открытия работы собрания, 8 декабря, он взял слово, чтобы отстоять учреждение свободно избираемых представительных органов, и выступил против «произвола бюрократии»¹⁰. Неделью спустя, 15-го числа, было составлено обращение к царю, подписанное 154 дворянами (первым подписавшим был Унковский) и содержащее аналогичные требования. Единственным краткосрочным последствием этого стало удаление Унковского с должности предводителя. «Помню, однажды рано поутру я выглянул в окно и был поражен необыкновенным движением людей и экипажей по улице, — так вспоминает этот день один очевидец. —

Ну, думаю, верно есть ответ. Быстро одевшись, я взял извозчика и поехал к Унковскому. Жил он в собственном маленьком домике, но подъехать к нему не было никакой возможности. Я принужден был слезть с извозчика и едва мог пробиться к крыльцу дома. Было уже известно, что на имя губернатора прислана телеграмма от министра внутренних дел о том, что предводитель дворянства Унковский отрешен от должности (...). Сам Унковский встречал каждого из нас остроумным замечанием: «Я первый в России санкюлот!»¹¹

Это было 19 декабря. В тот вечер Достоевский покинул Тверь, чтобы вернуться в Петербург.

2

Достоевский был настолько осведомлен о либеральных инициативах обитателей верхневолжского города, что друзья обращались к нему из Петербурга, чтобы узнать детали декабрьских событий: «Говорят, Европеус в Твери страшно ораторствовал, — пишет ему 20 декабря А. Н. Плещеев. — Напиши мне, что там было»¹². Правда, письмо отправлено

10 Цит. по: Чернышов Д. В. Унковский. С. 121.

11 Цит. по: Унковский А. М. Алексей Михайлович Унковский (1828–1893). М.: 1979. С. 61.

12 Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования. Л.: 1935. С. 451.

несвоевременно: Достоевского уже нет в Твери, как раз 20-го числа он приехал в столицу.

Интерес, проявленный Плещеевым, был отнюдь не случайным: он тоже был петрашевцем и недавно вернулся из ссылки так же, как и сам Европеус, который во время юношеского пребывания в Петербурге вращался в радикально настроенных кругах, где отличался прежде всего ярким фурьеризмом: 7 апреля 1849 года он даже устроил у себя на квартире обед в честь Фурье. 22 декабря того же года, вместе с Достоевским и другими «мятежниками», Плещеев и Европеус подверглись гражданской казни на Семёновском плацу и были на многие годы сосланы в дисциплинарные батальоны¹³.

На этом список ветеранов дела Петрашевского, вовлеченных в мероприятия Унковского, не заканчивается: в Твери жил некоторое время и Ф.Г.Толь, бывший в 40-х годах преподавателем литературы и воинствующим атеистом (среди петрашевцев он славился пропагандистскими способностями). Несмотря на то, что во время допросов Достоевский заявил, что мало его знает (возможно, чтобы прикрыть его), Толь был одним из петрашевцев, наиболее компетентных в вопросах эстетики, и есть свидетельства о его спорах с Достоевским в 1848 году о социальных функциях литературы¹⁴. Федор Михайлович и Толь виделись последний раз в январе 1850 года в тобольской тюрьме, перед тем как их отправили на каторгу¹⁵. Еще одним петрашевцем в тверской провинции был В.А.Головинский, один из самых молодых и радикальных членов движения, в 1847–1849 годах много общавшийся с Достоевским (который ввел его в кружок и разделял его интерес к Прудону, теоретику социалистического федерализма) и являвшийся страстным защитником необходимости освобождения крестьян, даже путем восстания¹⁶. В 1844 году сам Унковский, которому тогда было шестнадцать лет, виделся с Петрашевским, еще

13 См. Белов С.В. Достоевский и его окружение. Энциклопедический словарь, СПб.: Алетейя, 2001. Т. 1. С. 294. Т. 2. С. 104.

14 См.: Дело петрашевцев. В 3 т. М. — Л.: 1937–1951. Т. 2. С. 176.

15 Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Т. 1. С. 179. После двух лет каторги Толь оседает на некоторое время в Томске, где присоединяется к М.А. Бакунину, живущему поблизости, который с большим энтузиазмом отзывался о первом в письме к Герцену (см.: Письма М.А. Бакунина к А.И. Герцену и Н.П. Огареву. СПб.: 1906. С. 157–161). Вскоре Толь опубликовал роман «Труд и капитал» (Русское слово. 1860. № 10, 11), см.: Козьмин Б.П. Социальный роман петрашевца Феликса Толя // Козьмин Б.П. Литература и история. М.: 1969.

16 См.: Дело петрашевцев. Т. 3. С. 243. Стоит отметить, что во время следствия Достоевский всячески старался прикрыть Головинского. См.: 18; 141–142, 144.

не ставшим известным социалистическим культуртрегером. Вскоре исключенный из Царскосельского лицея за вольнодумные стихи Унковский перевелся в Москву на юридический факультет и поменял круг общения: «Кто знает, — прокомментирует он впоследствии, — если бы не обыск в лицее в 1844 г., то в 1848 г. [так! — Г. К.] я угодил бы вместе с Петрашевским»¹⁷.

Нет ничего удивительного в том, что в 1859 году Достоевский, предвидя долгое пребывание в «самом ненавистнейшем городе в свете»¹⁸, позаботился о том, чтобы восстановить старые связи: «Головинский здесь и познакомил меня разом со всем здешним обществом, — пишет он брату 1 октября. — Два-три человека есть хороших»¹⁹. А 23 октября своему старому коменданту в Семипалатинске А.И. Гейбовичу он напишет: «Между тем проезжает через Тверь один мой прежний знакомый, которому знакомы все в Твери (...). Через него я познакомился здесь с двумя-тремя домами»²⁰. Достоевский избегает упоминания Головинского, а также не уточняет, в какие «дома» тот его ввел: единственные новые знакомые, которых он упоминает по имени как в письмах брату, так и Гейбовичу, — это губернатор Баранов (известный как прототип губернатора Лембке из «Бесов») и его жена, давняя знакомая Достоевского по литературным кругам. Что касается «хороших людей», которых посещал Федор Михайлович, то сам Унковский в мемуарах позаботится о том, чтобы развеять сдержанность писателя: «В 1856 году были освобождены петрашевцы и декабристы, — напишет он потом, несколько путая даты. — Многие из них помещены были на жительство в Твери. В числе их приехал товарищ Европеуса — Федор Михайлович Достоевский и водворен на жительство сюда же. Кстати тут был старик-декабрист Матвей Иванович Муравьев-Апостол. Все мы часто сходились друг у друга, проводили время в разговорах о том, о сем»²¹. А Муравьев-Апостол, бывший важнейшим деятелем Южного общества и товарищем П.И. Пестеля, вспоминает, что имел связи с Толем и Унковским с марта 1858 года²².

Единственное письменное упоминание Достоевского о разговорах в кругу Унковского отмечено нарочитой

17 Записки Алексея Михайловича Унковского. Русская мысль. 1906. № 6. С. 186.

18 28/1; 331.

19 Там же. С. 341.

20 Там же. С. 363. Аналогичное упоминание о «2-3 человеках» в письме А.Е. Врангелю от 31 октября 1859 года. Там же. С. 371.

21 Записки Алексея Михайловича Унковского. Русская мысль. 1906. № 7. С. 90.

22 См.: Декабристы. Летописи Государственного Литературного музея. Вып. 3. М.: 1938. С. 220.

благонамеренностью: «Какой это человек, какой это великий для России человек (...)! — пишет он об Александре II в уже цитированном письме Гейбовичу. — Здесь все и виднее, и слышнее. Много, много здесь услышал. И с какими трудностями он борется! Есть же подлецы, которым не нравятся его спасительные меры, и все люди отсталые, закоренелые»²³. Несмотря на осторожность, вполне понятную для бывшего каторжника в ожидании окончательного помилования, несложно представить, что именно Достоевский «видел и услышал» в те дни, а также почему в Твери было «все и виднее, и слышнее», учитывая, что прошла всего неделя с того «адреса пяти», в котором «великому для России человеку» были предъявлены необыкновенно дерзкие требования. Также несложно догадаться, что упомянутые писателем «подлецы» — это аристократическая фронда, которая как раз в первых числах октября, по возвращении в Петербург фельдмаршала А.И. Барятинского (героя Кавказской войны, личного друга монарха, защитника дворянских прав), перешла в решительное наступление против предстоящих реформ²⁴.

Тем временем в Твери крепнут связи между Достоевским и группой Унковского. Еще одно косвенное упоминание о последнем, от которого Достоевский ожидал вскоре быть представленным главе Редакционной комиссии Я.И. Ростовцеву, указывает на определенную степень близости между писателем и предводителем дворянства²⁵. Снова Достоевский умалчивает имена и подробности, и снова нам приходят на помощь воспоминания Унковского, который после описания частых бесед с Достоевским и Муравьевым-Апостолом продолжает: «Преобладали, конечно, интересы, касающиеся крестьянской реформы»²⁶. Известно, что

23 28/1; 363–364.

24 См.: *Христофоров И.А.* «Аристократическая» оппозиция Великим реформам. Конец 1850 — середина 1870-х гг. М.: 2002. Такие интриганы ультрааристократического толка, как М.А. Безобразов, В.П. Орлов-Давыдов и А.П. Бобринский — любимый партнер царя по ералашу, затем известный спекулянт в деле железнодорожного строительства, а также министр путей сообщения, были потом воплощены Достоевским в образе проаристократически настроенного «дипломата» в салоне Екатерины Федоровны. См. далее, с. 146.

25 28/1, 366. С Ростовцевым, который был в 1849 году членом комиссии по делу петрашевцев, Достоевский уже встречался во время допросов. Легенда о предложении со стороны Ростовцева по освобождению писателя в обмен на подробную информацию о товарищах и о решительном отказе Достоевского дала начало многочисленным анекдотам и даже фантастическому сопоставлению Ростовцева с Порфирием Порфирьевичем в «Преступлении и наказании». См. *Белов С.В.* Достоевский и его окружение. Т. 2. С. 162–164.

26 Записки Алексея Михайловича Унковского. Русская мысль. 1906. № 7. С. 90.

в кругу Унковского разговор об аграрных реформах уводил в опасную даль. Достоевский, которому, насколько известно, более не довелось общаться с бывшими декабристами, шесть лет спустя опишет эту среду в одной яркой сцене «Преступления и наказания», исключенной потом из окончательной редакции. Разумихин (Головинский/Европеус) вытягивает Раскольникова из добровольной ссылки в его каморке и приводит на оживленное собрание:

Раскольников с изумлением окидывал собрание. В другом каком-нибудь собрании вечер, дошедший до такого градуса, давно бы обратился в оргию. Здесь уже началась оргия, только другого рода, умственная. Раздавались неестественные крики и споры. Чуть не дрались. Дело шло, разумеется, как и всегда, о самых отвлеченных вещах. Расслушать и понять постороннему уже ничего нельзя было. Все говорило и кричало разом. Раскольников тихо и пристально оглядывал лица. Была молодежь, были и люди уже в годах. Были и такие, которые, конечно, не поверили бы, что и они изменят своей всегдашней светской солидности, что и они кончат тем, что вместе с другими, схватив друг друга за пуговицы или за воротник, будут кричать в одно и то же время, не понимая друг друга (...). Старичок, седой и тихий, с прекрасными чертами лица и с умной, снисходительной и ясной улыбкой, сидел вместе со всеми за стаканом пуншу и курил трубку. Были студенты, были два офицера, два художника, француз, не понимавший ни слова²⁷.

Ничего общего с саркастическими описаниями нигилистического зверинца, к которым писатель приучит читателей начиная с «Идиота»: в фантазмагорической «умственной оргии», приведенной здесь, смешиваются и переплавляются в новый идеологический синтез сословия, поколения, профессии и даже национальности под «умным, снисходительным и ясным» покровительством ветерана 14 декабря. Добавим, что Муравьев-Апостол представил кругу Унковского еще одного бывшего декабриста — И. И. Пущина. Лицейский товарищ Пушкина, адресат хрестоматийного «Мой первый друг, мой друг бесценный» (1825), он был решительным сторонником царевубийства и вместе с П. И. Пестелем убедил П. Г. Каховского совершить покушение на жизнь Николая на Сенатской площади, одним из самых дерзких организаторов которого он являлся. Будучи проездом в Твери после того, как его помиловали, он доставляет Унковскому копию запрещенной конституции, составленной в 20-е годы

27 7; 207.

Никитой Муравьевым для Северного общества. «Рассмотрев внимательно предложения, сделанные 35 лет тому назад, я чрезвычайно обрадовался сходству с нашими постоянными целями»²⁸, — сообщил предводитель дворянства старому герою 14 декабря. Данный конституционный проект, напомним, предусматривал отмену крепостного права и федеративное устройство государства по модели США.

3

Через пару месяцев после событий середины декабря 1859 года не прекратившие агитационную деятельность Унковский и Европеус отправлены в ссылку в дальние провинциальные города. Вскоре и окончательное осуществление проекта отмены крепостного права вызвало у либералов разочарование: расходы по выкупу земель, к тому же сильно переоцененных, полностью возлагались на крестьян, которые должны были выплатить непосильное возмещение как помещику, так и государству.

«Положение 19 февраля имело в виду освободить труд и сделать его более производительным, — отметит по обыкновению трезво Головачев. —

Но едва только крестьянин, согласно словам Манифеста, успел осенить свое чело крестным знаменем во славу Освободителя, едва только он успел вздохнуть свободно после неволи, как казначейство присылает ему окладной лист с требованием от него плодов его первого свободного труда в виде возвышенного подушного сбора податей и государственных повинностей. Подобная мера необходимо должна была повредить последствиям освобождения крестьян»²⁹.

Унковский возвращается в Тверь в сентябре 1860 года, его популярность растет — особенно в той социальной смеси деклассированных мелких дворян, предпринимателей плебейского происхождения, чиновников низкого ранга и журналистов, которую уже тогда многие определяли как зачатки «русского среднего сословия». В конце февраля агенты Третьего отделения докладывали: «В кружках среднего сословия очень горячо говорят о ссылке в Вятку Унковского и Европеуса. Все за Унковского»³⁰. Тем време-

28 Цит. по: *Эйдельман Н.Я.* Пушкин и декабристы. Из истории взаимоотношений. М.: 1991. С. 107.

29 *Головачев А.А.* Десять лет реформ. С. 61.

30 Цит. по: *Чернышов В.Д.* Унковский. С. 137.

нем и окружение Достоевского следило за положением экс-предводителя дворянства: «Унковский впал в апатию! — пишет 18 июня 1861 года А. А. Григорьев Н. Н. Страхову, цитируя “Гамлета”: — А ведь он — вспомнил: человек он был!..»³¹ Впечатление ведущего критика «Времени» (в Твери он оказался проездом по дороге в Оренбург) было скорее преувеличением. Стараясь в тот момент держаться в тени, Унковский действовал на полную: завязывал тесные отношения с «левым крылом» славянофильства (с И. С. Аксаковым) и одновременно с западником М. Н. Катковым; был в контакте с Герценом и радикалами из «Современника», но в то же время с великим князем Константином Николаевичем, лидером «просвещенных бюрократов», или «константиновцев», которые в то время ненадолго получили ведущую роль в деятельности правительства. Идеи Унковского стали достоянием довольно широкого и разнообразного круга людей, а его петербургские «пятницы» посещал и Достоевский³².

Спустя шесть месяцев журнал «Время», основанный братьями Достоевскими в начале 1861 года, начинает приобретать все более радикальный тон и поддерживать сходную с позицией Унковского критику препятствий на пути к завершению реформ, идущих от бюрократии и дворянства. Пример: сарказм по поводу «литературной стыдливости», которая не позволяет официальной прессе рассматривать ключевые проблемы эпохи (статья в рубрике внутренней хроники в августовском номере)³³. Главной причиной кризиса экономических отношений объявляется двусмысленность Манифеста 19 февраля, сохранившего большую часть феодальных обязательств и сильно ограничивающего переход земель к крестьянам. Об этом свидетельствует напечатанный все в той же августовской хронике вымышленный диалог между крестьянином и мелким дворянином: на замечание, что после освобождения бывшие крепостные продолжают платить оброк, «мужичок качнул головой и видимо остался в недоумении». Неспособность правительства распутать узел аграрных проблем делает социально-экономическое равновесие хрупким и неустойчивым: «Так размышляют простые люди и недоумевают; над ними мелкие собственники недоумевают о судьбе своей собственности; далее — крупные промышленники недоумевают об участии своих промышленных дел, и наконец, едва ли не падают в недоумение самые глу-

31 Григорьев А. А. Письма. М.: 1999. С. 251. Григорьев цитирует Гамлета, вспоминая отца.

32 20; 345.

33 Наши домашние дела // Время. 1861. Т. 8. С. 119.

бокие экономисты (...). Все недоумевают, каждый по-своему и каждый в своем круте дел и взглядов»³⁴.

Ведущим рубрики внутренней хроники был А.У. Порецкий, товарищ Достоевского еще с 40-х годов, а в 60-е годы — начальник инспекции в канцелярии Министерства государственных имуществ, человек, довольно компетентный в экономической сфере. Хорошим доказательством тому служит список структурных недостатков, составленный им на основе дебатов, которые прошли на выставке промышленных товаров, завершившейся в Петербурге в июле: отсутствие «всякой поддержки со стороны кредитных учреждений и заботливости административных властей» в отношении промышленности; сосредоточение промышленного производства в основном на «элитном» рынке, в то время как почти полное отсутствие товаров, предназначенных для среднего и низшего экономических слоев, является показателем низкого роста спроса со стороны последних; неспособность русской экономики выдержать конкуренцию на все более глобализующемся рынке³⁵. Увод капиталов и рабской силы от производительной деятельности и затормаживание экономического роста страны — это следствие затягивания законодательного процесса по упорядочению земельной собственности: паразитическая рента целой социальной группы (дворянства) финансируется периодическими выпусками бумажных денег, на что многократно намекают аналитики «Времени»³⁶.

Само дворянство не могло избежать последствий кризиса: почти 90% собственников обладали меньше чем 100 крестьянами, и без гарантии обладания соответствующим количеством «душ» не имели доступа к кредиту у земельных банков. Большая часть выкупных свидетельств, предложенных дворянам государством в качестве частичной компенсации за земли, уступленные крестьянам, была практически сразу распродана спекулянтам всех мастей, чтобы спра-

34 Там же. С. 119–120.

35 Там же. С. 123–125.

36 Там же. С. 123: «Голоса в пользу нового выпуска монетных знаков слышатся чаще и чаще, а против мнения теоретиков, стоящих за рациональность наших финансовых преобразований и утверждающих, что наши торговля и промышленность должны одними собственными средствами выпутаться из своего затруднительного положения, — против этого мнения возражения становятся резче и резче (...). По нашему мнению, выпуск новых бумажных денежных знаков едва ли поможет делу». Ср.: Наши домашние дела // Время. 1861. Т. 12. С. 91: «Давно слышали мы, и вам передавали, мнения знающих людей, что спасение от безденежья может заключаться только в усилении нашей отпускной торговли». Ср. также перечень текущих споров о недостатке капиталов в: Наши домашние дела // Время. 1861. Т. 9. С. 49–57.

виться с долгами, накопленными за тридцать лет застоя, и чтобы сохранить традиционный стиль непродуцированной жизни. Также и собственникам, относительно благополучным и осознающим необходимость приспособления к новым социально-экономическим отношениям, приходилось в начале весьма туго: вспомним Николая Петровича Кирсанова, добродушного отца Аркадия в «Отцах и детях», который, нуждаясь в свежих капиталах, начинает продавать лес крестьянам, «которые оброка не платят»³⁷. Действие романа происходит весной 1859 года, но социально-экономическая картина, описанная Тургеневым, вплоть до мельчайших деталей соответствует ситуации 1861 года: «Недавно заведенное на новый лад хозяйство скрипело, как намазанное колесо, трещало, как домоделанная мебель из сырого дерева. Николай Петрович не унывал, но частенько вздыхал и задумывался: он чувствовал, что без денег дело не пойдет, а деньги у него почти все перевелись»³⁸.

Внутренняя хроника «Времени» отмечает быструю экономическую деградацию наименее защищенных помещичьих владений в июньском фельетоне о помещице средней руки, неслучайно сравниваемой с гоголевской Коробочкой. Крестьяне требуют за работу платы, но денег нет, и не у кого их просить — помещица признает свою ответственность за это: «Правду сказать, и сама я немножко виновата: жила до сих пор и хозяйствовала спустя рукава; все шло у меня кое-как; денег не берегла. На дурное хоть не тратила, а не берегла. Копить бы надо было, экономничать, а я смолоду не научилась экономничать-то»³⁹.

Речь идет о щекотливых с точки зрения цензуры предметах. Это хорошо понимал А.Е.Разин, известный автор школьных пособий позитивистской направленности и ведущий рубрики зарубежной политики во «Времени», который критиковал ограничения, наложенные прусской аристократией на конституцию, принятую в Пруссии в 1850 году: «Обещанные хартией органические законы остались в картонах министерств; обнародованные законы не были приведены в действие; свобода печати, право

37 Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах. Сочинения в 12-ти томах. Т. 7. М.: 1981. С. 15.

38 Там же. С. 35. Напротив, мелкие помещики Базаровы (обладатели всего лишь 15 душ) из тех же «Отцов и детей» эту ситуацию переживают лучше: им уже нечего терять. Впрочем, в условиях 60-х годов их социальный образ анахроничен и имеет литературное происхождение: он и Арина Власьевна, «настоящая русская дворяночка прежнего времени» (там же. С. 113), — это те же гоголевские «старосветские помещики», но поколение спустя.

39 Наши домашние дела // Время. 1861, Т. 7. С. 22.

собраний, ответственность министров, самоуправление общин и провинций, отделение судебной власти от административной, свобода вероисповеданий, уничтожение сословных привилегий, все это осталось только на бумаге, а на деле явилось в совершенно искаженном виде». Не стоит даже и говорить, что во всем виноваты «верхние слои», «судьба» которых «быть в оппозиции всякому либеральному стремлению»⁴⁰. Не случайно этот анализ появляется в сентябрьском номере, когда режим Александра II достиг пика непопулярности: «Меньшинство гражданских чинов и войско суть ныне единственные силы, на которые правительство может вполне опереться» — так в конце месяца докладывает министр внутренних дел П. А. Валуев царю, который безутешно заключает: «Грустная истина»⁴¹.

Объемная рецензия в декабрьском номере, посвященная недавно выпущенной биографии М. М. Сперанского, также построена на иносказательных исторических параллелизмах. Написанная М. И. Владиславлевым, молодым семинаристом из Новгорода и будущим мужем племянницы Достоевского, статья была без подписи, что указывает на ее соответствие позициям редакции в целом. Об этом свидетельствует и М. М. Достоевский, который 25 декабря пишет будущему зятю: «Статья о Сперанском — *превосходна!* И мне и брату она чрезвычайно понравилась (...). Мы вами очень дорожим и еще более любим вас»⁴². Владиславлев довольно свободно обращается с материалом рецензируемой им книги, имея явные полемические цели: «Мало иметь идеи, чтобы создавать прочные реформы (...), нужно для этого знать народ, его действительные потребности, нужно начинать дело с основания, а не с верхушки, нужно давать новые формы жизни в государстве прежде всего тому элементу, который действительно составляет его центр, дать ему более простору и свободы, дать выход действительно свежим силам: тогда только реформы будут прочны»⁴³. Здесь очевидна критика бюрократической централизации власти, а также навязывания реформ, разработанных без вовлечения общественных масс и без учета местных особенностей: «Улучшать надо было снизу»⁴⁴.

40 Политическое обозрение // Время. 1861, Т. 9, С. 66–67.

41 Чернуха В. Г. Программная записка министра внутренних дел П. А. Валуева от 22 сентября 1861 г. // Вспомогательные исторические дисциплины. Л.: 1976. Т. 7. С. 215.

42 Цит. по: Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. Т. 1. С. 344.

43 <Владиславлев М. И.> Жизнь графа Сперанского. Соч. барона М. Корфа. СПб. 1861 // Время. 1861. Т. 12. С. 144.

44 Там же. С. 154.

Такой социально-экономический анализ составляет непосредственный фон «Объявления о подписке» на 1862 год, напечатанного самим Достоевским в сентябрьском номере. Здесь образ «воздухоплатателя, поднявшегося на 7000 футов от земли», указывает на изолированность и бесплодность старого правящего класса и его культуры: «Даже трусит немножко один-то... Дышать трудно, упасть можно... Ведь воздушный шар-то, пожалуй, может и лопнуть как мыльный пузырь...»⁴⁵ В черновых набросках вердикт писателя еще жестче: «Сознательная масса, входящая в жизнь (новое общество). Мы накануне нового поколения (с боярства)»⁴⁶. Провал доминирующего социального блока, уподобленного старомосковской боярской касте, очевиден — обновление страны должно быть вверено будущему правящему классу, пришедшему «снизу» и поэтому солидарному с культурой и интересами народных масс. Подобный анализ мы будем неизменно встречать в произведениях Достоевского начиная с «Идиота» и «Бесов» и заканчивая «Братьями Карамазовыми». Не будет лишним напомнить, что главным теоретиком будущего федеративного и общинно-демократического переустройства государства в журнале Достоевских был сибирский историк А. П. Щапов, перешедший во «Время» из эфемерного еженедельника «Век», основанного в феврале группой радикально настроенных публицистов, среди которых числился тверской триумвират (Унковский, Головачев, Европеус).

4

В начале 1862 года, несмотря на то, что социально-экономические проблемы остаются неразрешенными, культурный климат становится более мягким благодаря возросшему правительственному весу уже упомянутых «константиновцев». Назначение одного из лидеров группы, А. В. Головкина, на пост министра народного просвещения (и координатора цензурных ведомств) вызвало чрезмерный энтузиазм у интеллектуалов: И. С. Аксаков даже сбросил с постели своего приятеля Унковского, чтобы объявить ему, что «Герцена сделали министром народного просвещения»⁴⁷. Все более горячим становится спор о будущем

45 19;148.

46 Неизданный Достоевский. Записные книжки и тетради 1860–1881 гг. // Литературное наследство. Т. 83, М.: 1971. С. 127.

47 Записки Алексея Михайловича Унковского. Русская мысль. 1906. № 7. С. 95. О Головкине, еще одной ключевой фигуре того времени, см. полную библиографию в: Шипов Д. Н. Государственные деятели Российской Империи. СПб.: 2002. С. 196–197.

дворянства, особенно в связи с введением в России сети местных выборных автономий — земств, которые должны были бы принять на себя функции управления и охраны общественного порядка, ранее исполнявшиеся помещиками: Аксаков в одном нашумевшем выступлении в своем еженедельнике «День» заявил, «что дальнейшее существование дворянского сословия, как сословия, на прежних основаниях, после великого дела 19 февраля 1861 года, невозможно»⁴⁸. Как и следовало ожидать, за этим последовала бурная полемика в печати, вскоре замороженная грозным «призывом к порядку» со стороны П. А. Валуева через «Северную почту», журнал, контролируемый Министерством внутренних дел⁴⁹.

Но были и силы, готовые поддержать Аксакова куда более активно, чем просто журнальной полемикой. 13 февраля 1862 года тверское дворянское собрание большинством голосов принимает протокол, в котором, помимо констатации общей недостаточности Манифеста 19 февраля, содержится требование гласности и демократического контроля кредитной, финансовой и судебной систем, а также окончательное решение вопроса отношений собственности между бывшими господами и крепостными и прекращение повинностей со стороны последних. Протокол завершался

48 День. 6 декабря 1861. С. 2. Ср. с экономической позицией Аксакова: «Картина прежнего времени представляется нам в таком виде: народ был разорен крепостным правом (...); денег в обращении у простого народа было чрезвычайно мало. Деньги же все обращались и копились в капиталы: на верхнем, высшем слое. Торговля, всегда устремляющаяся к главному источнику денег, имела в виду — преимущественное удовлетворение нужд и потребностей денежного класса общества, — чему, с своей стороны, способствовали и законодательные меры. Жизнь сосредоточивалась в каком-нибудь миллионе людей, когда целые десятки миллионов народонаселения были отстранены от участия в жизни, и ни они сами, ни естественные богатства русской земли не удостоивались должного внимания. По жизни одного миллиона людей судилось и рядилось о богатстве и благосостоянии всей России! Банки существовали, но приносили пользу не народу и не мелким торговцам, а дворянам и капиталистам; предметы народных нужд, народного потребления оставались почти без улучшения; наши сырые материалы — почти без обработки! Промышленных предприятий почти и не затевалось, — капиталы лежали без употребления, или употреблялись непроизводительно (...). Как вода, стоящая на поверхности земли, просочивает наконец землю и уходит вглубь, — так и деньги в России, исчезнув из обращения в нашей среде, ушли в народ. Да, это не подлежит сомнению. Подъем народного благосостояния очевиден, но он станет еще заметнее, и главное, производительнее, как скоро разрешится вопрос крестьянский и водворится в простом народе твердая вера в свою гражданскую полноправность (...)». День. 13 января 1861.

49 Обзор позиций, приведенных здесь, см. в: Барсуков Н. П. Жизнь и труды Михаила Погодина. Т. 18. СПб.: 1905. С. 37–46. Также см.: Гармиза В. В. Подготовка земской реформы 1864 года. М.: 1957. С. 82–126.

просьбой о созыве «собрания выборных от всего народа без различия сословий», которому можно поручить продолжение и углубление реформаторского процесса. Но больше всего поразило общественное мнение (учитывая, что сами авторы документа были дворянами) требование немедленного упразднения сословий: «Уничтожение антагонизма сословий может быть произведено не иначе, как их полным слиянием», — заявляет собрание, присваивая позицию Аксакова, и во избежание двусмысленностей уточняет: «Дворянство, будучи глубоко проникнуто сознанием безотлагательной необходимости выйти из этого антагонизма и желая уничтожить всякую возможность в том, что оно составляет преграду на пути общего блага, объявляет пред лицом всей России, что оно отказывается от всех своих сословных привилегий»⁵⁰. В воззвании к царю, сопровождающем документ, содержится также и призыв преодолеть феодальные пережитки и в отношении налогов: «Неправеден тот порядок вещей, при котором бедный платит рубль, а богатый не платит и копейки», — заявляют сторонники Унковского и, чтобы выйти из «положения тунеядцев, совершенно бесполезных своей родине», просят царя выделить им «часть государственных податей и повинностей соответственно состоянию каждого»⁵¹. Уравнивание прав и обязанностей было предпосылкой перехода власти от сословий и бюрократическо-министерских корпораций к представительному органу. На следующий день тринадцать мировых посредников Твери демонстративно отказались от буквального выполнения Манифеста 19 февраля и утверждали, что в своей деятельности будут руководствоваться исключительно собственной совестью и гражданским сознанием.

Событие, главным вдохновителем которого был все тот же Унковский, увенчало целый ряд критических выступлений со стороны провинциального дворянства: «Кто ждал, что Тверь, Владимир, Харьков, Нижний, Калуга, Ярославль, Кострома (...) окажутся умнее, современнее, чем петербургские бюрократы и московские тузы, — комментировал Герцен. — Будущее — на здоровом провинциальном воздухе»⁵². Однако скоро стало ясно, что, несмотря на распространённую симпатию к инициативе дворян Твери, это не привело бы к таким же результатам в других городах, а на тринадцать мировых посредников обрушился гнев Валуева: с 17 по 22 февраля все они были арестованы, привезены

50 *Иорданский Н. И.* Конституционное движение 60-х годов. СПб.: 1906. С. 136.

51 Там же. С. 138–139.

52 Колокол. 15 мая 1860 года. С. 592.

в Петербург и без суда заточены в Петропавловскую крепость. По указу Сената они получили суровые приговоры, но держать их взаперти было невыгодно, к тому же это дело обсуждалось и в зарубежной прессе: в июле все они были помилованы под предлогом юбилея (тысячелетие России)⁵³.

Единственным органом печати, который осмелился поместить хронику деятельности дворянского собрания в Твери, было как раз «Время» — в мартовском выпуске «Наших домашних дел», в вынужденно-нейтральном тоне которого сквозит солидарность и тревожное ожидание: «Недавно происходили, а в некоторых губерниях и теперь, может быть, еще происходят дворянские съезды по случаю выборов. Конечно, съезды нынешнего года не могли быть похожи на прежние: люди съехались под влиянием новых условий своего быта и, как видно из отрывочных сведений и слухов, влияние это отразилось на съездах»⁵⁴. Автору статьи (им был, скорее всего, Порецкий, писавший от имени всей редакции) совершенно ясны основные требования, поднятые призывом 3 февраля: сделать из земельной дворянства (а лучше сказать, из его наиболее продвинутых представителей) катализатор нового социального блока (в перспективе — современной земельной буржуазии); быстро перераспределить участки земли, чтобы примирить социальные отношения в деревнях и продолжить реформы.

Прежде дворяне имели за собой крепостную массу и покоились на ней, как на широком и устойчивом базисе. Теперь, не ощущая за собой этой массы, чувствуя непривычный простор и даже некоторую пустоту вокруг, они естественно должны были получить большую развязность и в то же время потребность заменить исчезнувший базис какой-нибудь другой опорной точкой. Заметно, что они как бы протягивают руку, ища этой опорной точки в других сословиях. Такое состояние, по самому свойству своему, не может быть состоянием покоя; а между тем дела имущественные, неоконченные и неустроенные, еще вяжут руки и мешают свободе действий в других отношениях. Оттого слышится другое желание, другая потребность — скорейшего прекращения обязательных отношений с крестьянами. Можно полагать, что этими двумя желаниями характеризуется настоящее настроение большинства наших дворян-помещиков⁵⁵.

53 См.: Попов И. П. Тверское выступление 1862 г. и его место в событиях революционной ситуации // Революционная ситуация в России. М.: 1974.

54 Наши домашние дела // Время. 1862. Т. 3. С. 32.

55 Там же.

Публицист «Времени» также упоминает об «очень грустном эпизоде» — аресте мировых посредников Твери. Понятен сдержанный тон, учитывая волну репрессий, следовавших после очередной инициативы Унковского и его товарищей: «Арест и препровождение в крепость тринадцати лиц были мерами экстраординарными, — так один молодой очевидец вспоминал в мемуарах арест мировых посредников. — Коротко сказать, к началу 1862 года общественная атмосфера была до крайности напряжена; малейшее обстоятельство могло резко толкнуть ход жизни в ту или другую сторону». Как указывает тот же источник, «эту роль и сыграли потом майские пожары 1862 года в Петербурге»⁵⁶ и, добавим мы, всплеск польского восстания. Эти травматические события во втором полугодии привели к спаду движения «константиновцев» и к усилению позиций политиков «железного кулака», таких как М. Н. Муравьев-Виленский («вешатель») и Валуев. Как раз по инициативе последнего, постепенно принявшего на себя весь цензурный контроль, в апреле 1863 года будет закрыт журнал братьев Достоевских.

Здесь обрываются отношения между «унковцами» и вскоре начавшим быстро «праветь» Достоевским, в 1864–1865 годах резко полемизировавшим с «нигилятиной» «Современника» и особенно с М. Е. Салтыковым-Щедриным, близким другом Унковского и его настоящим литературным alter ego⁵⁷. Только Головачев в 1864 году вернулся на короткое время на орбиту почвенничества, опубликовав в «Эпохе» длинную статью, в которой, в момент тяжелого финансового кризиса из-за проваленной попытки восстановить свободный обмен бумажного рубля, критиковалась вся экономическая политика правительства, начиная с Крымской войны, и предлагалась либерализация денежного курса, а также «мобилизация недвижимого капитала на внешних рынках» для привлечения иностранных инвестиций и ограничения корпоративного и спекулятивного характера нарождающегося русского капитализма⁵⁸. Впоследствии Достоевский поручил Головачеву написать статью об образовательной политике правительства, которая в итоге так и не была опубликована из-за идеологических

56 *Пантелеев Л. Ф.* Воспоминания. Б. м.: 1958. С. 276.

57 Об этом эпизоде см. в: *Макашин С. А.* Салтыков-Щедрин. Середина пути. 1860-е — 1870-е годы. Биография. М.: 1984. С. 94–146.

58 *Головачев А. А.* О средствах к отвращению затруднений нашего денежного рынка // Эпоха. 1864. № 3. Многие тезисы, выдвинутые в этой статье, особенно критику неконтролируемой эмиссии бумажных денег и постоянного обращения к иностранному капиталу, Головачев повторяет и углубляет в сочинении «Десять лет реформ».

разногласий⁵⁹. Тот же Головачев опубликует в «Эпохе» еще два материала о зарубежной политике: в статье из августовского номера объединение Италии и панегирик «великому» Камилло Бенса Кавуру служили очередным призывом к правящему классу «следить за теми стремлениями, которыми одушевлены массы»⁶⁰, а также проявлять больше дальновидности и продолжать реформы. Тем не менее этот призыв выглядел довольно анахронично в контексте кровавого подавления польского восстания, начала насильственной русификации Белоруссии и Литвы и гражданской казни Н.Г. Чернышевского (19 мая). В сентябрьском номере тон Головачева становится еще более резким: нетрудно угадать, кому на самом деле предназначалась критика Наполеона III и его бюрократического и репрессивного режима, который «ревниво оберегает свою власть и сильно тревожится всяким проявлением самостоятельного мнения в обществе»⁶¹. Это выступление оказывается слишком смелым для умеренной «Эпохи»: во время сдачи в печать третьего обзора (октябрь) идеологические разногласия обостряются до предела, и сотрудничество Головачева с журналом прерывается⁶².

На этом отношения Достоевского с «унковцами» заканчиваются: ни писатель, ни его окружение никак не реагируют на арест Европеуса во время следствия по делу Д.В. Каракозова в апреле 1866 года, а контакты Достоевского и Унковского носят с этих пор случайный характер. В 1874 году Унковский выступит в роли адвоката в деле Достоевского против издателя Ф.Т. Стелловского⁶³. Они еще раз навещают друг друга, но идеологическая пропасть между ними станет уже непреодолимой.

59 См. примечания Достоевского к этой статье: 20; 151.

60 <Головачев А.А.> Политическое обозрение // Эпоха. 1864. № 8. С. 3–4.

61 <Головачев А.А.> Политическое обозрение // Эпоха. 1864. № 9. С. 5.

62 См.: 20; 345–346; Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Эпоха». 1864–1865. М.: 1975. С. 75–83. Письма Головачева к Достоевскому опубликованы в: Ланский Л.Р. Утраченные письма Достоевского // Вопросы литературы. 1971. № 11.

63 См. письмо А.Г. Достоевской от апреля 1874 года к зятю Николаю в: Ланский Л.Р. Достоевский в неизданной переписке современников // Ф.М. Достоевский. Новые материалы и исследования. Литературное наследство. Т. 86. М.: 1973. С. 437–438.

**Ф.М. Достоевский
и судьбы русского
дворянства
(по роману «Идиот»
и другим материалам)**

La libération de l'Europe viendra de la Russie, car c'est là seulement que le préjugé de l'Aristocratie n'existe absolument pas. Ailleurs on croit à l'Aristocratie, les uns pour la dédaigner, les autres pour la haïr, les troisièmes pour en tirer profit, vanité etc. — En Russie rien de tout cela. On n'y croit pas, voilà tout¹.

А. С. Пушкин

Отвечая на письмо от 12 января 1868 года, в котором Достоевский впервые сообщил ему «идею» нового романа — «изобразить вполне прекрасного человека»², поэт А. Н. Майков замечает: «Трудная задача взята Вами — хороших людей. С нетерпением жду, хочется узнать хоть бы главное — какого они сословия? Чем выше, тем труднее задача»³. Петербургский поэт не мог знать, что Достоевский решил взяться за самую «трудную», по Майкову, задачу, лаконично отметив в записной книжке: «Он *князь*. Князь. Юродивый» (9; 200).

Дело не только в сословной принадлежности Мышкина: как мы увидим, среди прочего в романе значительное внимание уделено анализу социально-экономической эволюции дворянства после отмены крепостного права и определению того, каковы перспективы этого сословия.

1. «Дворянский вопрос» в 60-е годы: почвенничество и либерализм

Повышенное внимание Достоевского к дворянскому вопросу — результат сложной идеологической работы,

1 Освобождение Европы придет из России, потому что только там совершенно не существует предрассудков аристократии. В других странах верят в аристократию, одни презируя ее, другие ненавидя, третьи из выгоды, тщеславия и т. д. В России ничего подобного. В нее не верят. (Заметка, сделанная на обрывке письма неизвестного к Пушкину от 22 апреля 1835 года, тематически очень близка высказываниям Гейне о России в «Путевых картинах». Пушкин читал эту книгу во французском переводе.) — *Ред.*

2 28/2; 241.

3 Письма А. Н. Майкова к Достоевскому за 1860-е гг. // Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Сб. 2. Л.-М. 1924. С. 344.

проделанной им во второй половине 1867 года: «Много накопилось впечатлений, — пишет Достоевский в первом письме Майкову из-за границы 28 августа 1867 года. — Почувствовал в себе наконец, что материалу накопилось на целую статью об отношениях России к Европе и об русском верхнем слое» (28/2; 206). Проблемы, о которых должна была идти речь в этой так и не написанной статье, оказались важны и для замысла нового романа.

Как известно, начальное ядро «Идиота» подверглось значительным изменениям — вплоть до полной смены темы в начале 1868 года. Тем не менее сюжетная линия, связанная с кризисом дворянства, является одной из немногих общих черт, объединяющих все этапы создания романа: уже в первоначальном варианте в центре повествования находилось «разорившееся помещичье семейство (порядочной фамилии)» (9; 140), пытающееся сохранить внешний «форс» ценою бесконечных унижений перед разбогатевшими «прежними крепостными людьми» и родственниками, ставшими «ростовщиками с поэзией» (9; 142).

Круг описываемых общественных явлений — «из господства и барчества падение» (9; 157) — уже определен, хотя в окончательном тексте картина заметно расширится: тема опустившейся барской семьи (Иволгины) переплетется с другими, связанными с разложением дворянства.

Очевидно, что подобный круг вопросов требовал углубленного анализа пореформенных общественных перемен. В результате разложения сословно-бюрократического строя послепетровского типа политические и общественно-культурные перспективы страны зависели в первую очередь от образования новой руководящей группы — *среднего сословия*, современного и в то же время подлинно «национального» склада. О направлении, возможном исходе этого процесса социального переустройства, а также о роли, которую в нем играло прежнее дворянство, спорили в России уже чуть ли не десятилетие. В этой полемике активнейшим образом участвовал сам Достоевский, особенно в пору его редакторства в журнале «Время».

В первой половине 60-х годов ведущую роль в споре о будущем социально-экономическом и политическом строе России играл либерализм западного толка: «англофильское» направление катковского «Русского вестника» и так называемые «государственники», главным представителем которых был Б. Н. Чичерин.

Эти два направления единогласно приписывали дворянству ведущую роль в становлении будущего «среднего сословия». Дворянство рассматривалось ими как оплот

социального равновесия и, в контексте новых общественно-политических отношений, как зародыш буржуазии западноевропейского типа. Тем не менее относительно ближайших реформаторских перспектив в либеральном лагере возникли довольно острые разногласия.

В условиях исчезновения крепостного права и всех словесных препятствий для свободной экономической деятельности и социальной активности либералы «Русского вестника» видели в дворянстве общественную силу, которая могла эволюционировать в сельскохозяйственную буржуазию, т.е. в предпринимательский класс, способный втягивать в себя все живые силы общества. Катков — сторонник децентрализации и местного самоуправления по английскому образцу на уездном и губернском уровне; он же выступал за внесловное земство, в котором ведущая роль дворянства должна быть обеспечена высоким избирательным цензом: «Пусть избиратели будут люди высокого ценза, тем не менее в лице их представителей будет представлено целое общество, и, может быть, в известную пору народной жизни оно именно в таких представителях будет представлено вернее и полнее»⁴.

Совсем иными были выводы Чичерина, который, будучи сторонником программы централизации по образцу Франции Наполеона III, сомневался в возможности «естественного» возникновения среднего сословия современного типа: «По мнению “Русского вестника”, — иронизирует историк-либерал, — если в России нет среднего сословия, заключающего в себе просвещенные общественные и политические силы, то его незачем и создавать искусственным путем». По Чичерину, надо сохранять цельность и сословную замкнутость дворянства («то сословие, которому государственный интерес ближе всего») и обеспечивать его политический и общественный вес, пока постепенное социально-экономическое развитие страны не сделает возможными учреждения буржуазно-европейского типа. Политическое представительство должно быть четко разделено по сословиям и подчинено сильной централизованной исполнительной власти: «Развитие свободы, как требование общего блага, составляет одну из целей государства. Но эта цель не единственна. Больше или меньше ее развитие зависит от других элементов государственной жизни: от потребности власти, порядка, закона»⁵.

4 Цит. по: Китаев В.А. От фронды к охранительству: из истории русской либеральной мысли 50–60-х гг. XIX века. М.: Мысль. 1972. С. 119.

5 Там же. С. 129.

Обе программы предполагали принудительное воздействие правительства, направленное на искусственное создание «среднего сословия» на основе старого дворянства, и вызывали резкое осуждение со стороны почвенников, которые в подобной «социальной инженерии» видели лишь продолжение петровской практики внедрения насильственного антинародного «прогресса». Публицисты «Времени» неоднократно высказывали несогласие с теориями и Каткова, и Чичерина: «Все идеи этого направления в зародыше заключаются в деятельности Белинского. И г. Соловьев и г. Кавелин, и даже г. Чичерин — ни более ни менее как ученики его, разработавшие по частям общие мысли учителя, — пишет А. Григорьев, устанавливая четкую линию преемственности между апологетами централизации и космополитической, “отрицательной” культурой 40-х годов. — Идея централизации [лежит] в основе отрицательного направления с самого начала и [завершает] его как последнее слово»⁶.

Крайне резко осуждал программу Чичерина и А. Порецкий, публицист, идейно близкий Достоевскому, возглавлявший в журнале «Время» отдел внутренней политики вплоть до октября 1862 года. Чичерин, по мнению Порецкого, стремится сохранить дворянство, превратив его в «тело, плотно организованное особняком от массы общества, еще не имеющей политического смысла, тело, напитанное своим особым духом, преданиями, честью и нравами (...). Удивительно как это естественно, разумно и главное — нравственно». Ирония Порецкого распространяется и на «социальную инженерию» либерального лагеря вообще: «Каких бы невозможных для простого смертного идей наговорили нам они! Сколько наготовили бы они нам сословий — и высших (первенствующих), и низших (лишенных политического смысла), и средних (связующих два первые)! Какой бы они придумали чудный механизм для удержания каждого сословия на своем месте!»⁷

Колкие выходки против «кавурства», «юпитерства», «пальмерстонства» (19; 108) (т. е. против стиля и направления «Русского вестника», «теймствующего в Москве») — постоянный лейтмотив Достоевского-публициста в 1861–1863 годы, да и в его беллетристике того времени нередко злые шаржи на либерально-дворянский «олимпизм»: например, «парламентские поэзы» Ивана Ильича Пралинского, героя «Скверного анекдота», — его наивные

6 Григорьев А. А. Критика и эстетика. М.: Искусство. 1980. С. 239.

7 [Порецкий А. У.] Наши домашние дела. Современные заметки // Время. 1862. Т. 7. Кн. 2. С. 75.

маниловские мечты насчет «гуманного» будущего России разбиваются о железную действительность бюрократической иерархии. Настолько же гротескно в «Униженных и оскорбленных», но нисколько не смешно и скорее даже угрожающе выглядят аристократы, «тонко и умно» рассуждающие в салоне Катерины Федоровны о способах защиты корпоративных интересов дворянства: «Без нас нельзя (...), без нас ни одно общество еще никогда не стояло. Мы не потеряем, а напротив, еще выиграем; мы всплывем, всплывем, и девиз наш в настоящую минуту должен быть: *Pire ca va, mieux ca est*». На той же самой социальной основе возникает и демонический эгоизм князя Валковского, принимающего аристократическую платформу с «отвратительным сочувствием» (3; 345).

С точки зрения Достоевского, неприемлемо само намерение создать в России «среднее сословие» современного типа, не отменив созданных Петром Великим сословных перегородок. Предварительный процесс социальной интеграции, соединяющий в цельную массу бывшие сословия, — необходимое условие возникновения новых общественных групп: «Вы задали себе, что у нас всего только два сословия: *les boyards* и *les serfs*; на том и сидите. Какие тут *boyards*! Положим, что у нас довольно цельно определены сословия. Но во всех сословиях наших гораздо более точек соединения, чем разъединения, а в этом все и дело. Это залог нашего всеобщего мира, спокойствия, братской любви и процветания. Всякий русский прежде всего русский, а потом уже принадлежит к какому-нибудь сословию» (18; 57).

Достоевский решительно утверждает стремление русской нации к единству, на время задержанное петровскими реформами: «Цивилизация не развила у нас и сословий: напротив, замечательно стремится к сглажению и к соединению их воедино, — пишет он еще раз в полемике с Катковым. — Может быть, “Русскому вестнику” это очень досадно, но английских лордов у нас нет, французской буржуазии тоже нет, пролетариев тоже не будет, мы в это верим. Взаимной вражды сословий у нас тоже развиться не может: сословия у нас, напротив, сливаются; теперь покамест еще все в брожении, ничто вполне не определилось, но зато начинает уже предчувствоваться наше будущее» (19; 19).

2. «Дворянский вопрос» в 60-е годы: почвенничество и славянофильство

Подобные формулировки были весьма близки теориям, которые с 1861 года распространялись И.С. Аксаковым и его

газетой «День». По Аксакову, при отсутствии сословных перегородок в русской социальной традиции только кастовые привилегии (в первую очередь — право на владение крестьянами) выделяли дворянство как сословие в течение полутора веков. С падением крепостного права любой остаток сословного разделения имеет значение лишь пережиточное: «Мы полагаем, — писал Аксаков в декабре 1861 года, — что русским дворянам необходимо было бы (...) вникнуть в исторический ход дворянского учреждения и проникнуться сознанием, что *дальнейшее существование дворянского сословия, как сословия*, на прежних основаниях, после великого дела 19 февраля 1861 года, *невозможно*»⁸.

Положительная аксаковская программа, основанная на упразднении избирательного ценза, на смешанном частно-общинном хозяйстве и на воскрешении исконно-русского земства как ячейки нового органического сословного общества, немедленно вызвала сильный отпор со стороны либерально-западнического лагеря и не менее решительную поддержку «Времени». Почвенники сразу выразили сочувствие глубоко антисословной и национально-демократической платформе «Дня»: Порецкий, полемизируя с Чичериным, приводил многочисленные цитаты из аксаковских статей, а в следующем номере журнала, в программной редакционной статье «Дворянство и земство» прямо отождествляются почвенническая и славянофильская точки зрения на дворянский вопрос. В статье поддерживаются выводы «Дня» о несостоявшемся в России развитии родовой аристократии и об отсутствии исторических предпосылок для дальнейшего существования дворянства как особого сословия. Растворившись в нераздельном единстве земства, бывшие дворяне должны приобретать в нем ведущую роль благодаря своей культуре и нравственным качествам, *из сословной касты — превращаться в духовных наставников*: «Как образованная часть земства, [дворянство] станет тогда во главе народа, только уже не в качестве непризнанного сословного вождя, а как признанные *лучшие люди, старцы* народные»⁹.

Сам Достоевский в декабре 1861 года без колебаний выражает сочувствие идее обновленного земства, обещающего стать ядром новых, подлинно «самобытных» общественных форм, сомневаясь, однако, в том, что такие формы смогут появиться спонтанно, непосредственно, почти автоматически, как, по-видимому, подразумевал Аксаков: «Идея

8 См. выше. С. 136.

9 Время. 1862. Т. 2. Кн. 3. С. 27. О теме «лучших людей» у позднего Достоевского см. выше, с. 96 и далее.

о переходе в земство великолепнейшая и плодотворнейшая. Но жди, пока это случится само собою...» (19; 179).

Три месяца спустя Достоевский уточняет свое отношение к аксаковской платформе в статье «Два лагеря теоретиков (по поводу “Дня” и кой-чего другого)». Основная тема этого важнейшего манифеста почвенничества — все то же земство и перспективы его развития: «Поставляя выше всего, хотя и понимая по-своему интересы земства, — пишет Достоевский о “Дне”, — он сказал такое живое и дельное слово о крестьянском деле и тесно связанном с ним вопросе дворянском, о цензе, широко им понятом» (20; 9).

Однако сочувственное признание сопровождается четко обозначенными расхождениями. Достоевскому и раньше не раз приходилось подвергать резкой критике догматизм, с которым славянофилы предоставляли создание подлинно национальной культуры одному спонтанному творчеству простонародья и отрицали любой творческий потенциал в послепетровском просвещенном «обществе», превращая тем самым свой общественный идеал в антиисторическую утопию «московского идеальчика».

Подобным же образом, считает Достоевский, славянофилы упрощают вопрос о земстве: «ратуя за русское земство», славянофильский догматик «несправедлив к нашему так называемому образованному обществу. Признавая жизнь только в народе, он готов отвергнуть всякую жизнь в литературе, обществе» (20; 9). Слияние просвещенной элиты с народом, по Достоевскому, не означает уничтожения культурного наследия последних 150 лет, но предполагает отмену кастовой исключительности ведущего сословия, распространение этого наследия в более широких слоях народа: «Без соединения с народом никогда, пожалуй, не удадутся высшим классам и попытки улучшить общественный быт страны (...). Тогда только выработается именно тот общественный быт наш, такой именно, какой нужен нам, когда высшие классы будут опираться не на одних только самих себя, а и на народ; тогда только может прекратиться эта поразительная чахлость и безжизненность нашей общественной жизни» (20; 19). Дворянство (или по крайней мере передовая его часть) может стать ядром, вокруг которого образуется новый, гораздо более обширный общественный блок, органически и непринужденно сочетающий европейскую культуру с народным началом.

Несмотря на теоретические разногласия, «соединение с народом образованных классов», по мнению Достоевского, станет возможным после выполнения программных пунктов, весьма близких к аксаковской платформе:

«1) Распространить в народе грамотность (...). 2) Облегчить общественное положение нашего мужика уничтожением сословных перегородок, которые заграждают для него доступ во многие места. Средство это стоит в тесной связи с вопросом о сословных правах и привилегиях. 3) Для сближения с народом нужно несколько преобразоваться нравственно и нам самим. Нам нужно отказаться от наших сословных предрассудков и эгоистических взглядов» (20; 20).

На основе этой «прикладной» программы можно сформулировать ряд общих задач, принципиально важных для Достоевского — особенно в период обострения политических и идеологических конфликтов после событий лета 1862 года:

1) Создать объективную социальную основу — *образ конкретного социального носителя* — для хорошо всем знакомой системы этических ценностей, именно тогда окончательно разработанной Достоевским (свободная и добровольная солидарность, вытекающая из христианской этики и идеи абсолютной значимости личности).

2) Утвердить большую перспективность русской цивилизации по сравнению с западноевропейским прогрессом: «всеобщее примирение» все более нарастающих противоречий в буржуазно-индивидуалистической Европе возможно именно в русском национальном и общественном самоопределении как утверждении «братского, любящего начала» (5, 80).

3) Способствовать эволюции разночинной интеллигенции (первого русского образованного сословия, развившегося вне старых кастовых структур) в обширный средний класс, действующий под знаком почвенническо-национальной идеологии, для чего было нужно в первую очередь отвлечь молодых интеллигентов-разночинцев от влияния революционной идеологии, которая, по Достоевскому, представляла собой ни что иное, как последнюю стадию развития старой барской «отрицательной» культуры: «Белая Арапия, — отмечал Достоевский уже в 1864–1865 годах, — барская затея» (20; 187).

Нигилизм представлен как *необходимая переходная стадия на пути становления национально-религиозного самосознания будущего среднего класса*. Отсюда предсказания Разумихина (типичный образец почвеннически настроенного интеллигента) о будущей идеологической эволюции его сверстников: «Хоть они у меня там все пьяные, но зато все честные, и хоть мы и врем (...), да до времья же наконец и до правды, потому что на благородной дороге стоим» (6; 156). Отсюда и гораздо более символическое возрождение

Раскольников, «гордого» и «деспотического» сына современного индивидуализма, у ног *figurae Christi* Сони.

О том же самом свидетельствует и едва намеченная в «Идиоте» перспектива развития Коли Иволгина, переболевшего нигилизмом Ипполита и сблизившегося «окончательно (...) с своею матерью» (8; 508) Ниной Александровной (типичным для Достоевского «кротким» образом России) в конце романа. Это поможет ему стать в будущем человеком «хорошим» или, как говорилось в напечатанном в «Русском вестнике» варианте, — «деловым» (9; 326): оба прилагательных — ключевые и неоднократно повторяющиеся в романе определения «новых людей», соединяющих нравственное достоинство со смелой, активной решительностью.

3. Дворянство и национальное возрождение: тупик стародворянской культуры

Итак, приблизительно с момента написания «Зимних заметок о летних впечатлениях» (зима 1862–1863) до конца работы над «Преступлением и наказанием» (1866) Достоевский основывает свою общественно-культурную платформу на идее обращения возникающего среднего класса к христианскому соборному мировоззрению, внесловному и национально-всенародному; собственно же дворянский вопрос, столь важный на начальном этапе отмежевания почвенничества от других направлений (конец 1861 — начало 1862 годов), на время отложен в сторону.

К вопросу судеб дворянства Достоевский возвращается во время обдумывания сюжета «Идиота». Европа 1867 года, арена тревожных странствий семьи Достоевских, представляет картину глубоких общественно-политических перемен: из цитировавшегося нами письма Майкову следует, что писатель тесно связывал международное значение России (вопрос «об отношениях России к Европе») с вопросом об обновлении «русского верхнего слоя».

«Идея национальностей есть новая форма демократии» (20; 179), — отмечал Достоевский двумя годами ранее, и теперь, когда Германия, Италия и сама Австро-Венгерская империя переживают политическое возрождение благодаря деятелям новой «национальной» правящей элиты, писатель не сомневается в необходимости немедленно привести в действие аналогичный процесс в славянском мире: «Всему миру готовится великое обновление через русскую мысль (которая плотно спаяна с православием, Вы правы), и это совершится в какое-нибудь столетие — вот моя

страстная вера, — читаем мы в письме, написанном в начале марта 1868 года. — Но чтоб это великое дело совершилось, надобно чтоб *политическое право* и первенство великорусского племени над всем славянским миром совершилось окончательно и уже бесспорно» (28/2; 260). *Будущее* торжество русской идеи, христианской и «общечеловеческой», несомненно, но инкубация этой «идеи», процесса русского «самопознания», должна быть обеспечена и охраняема *в настоящее время* последовательной и самоуверенной панславистской политикой, дублирующей в славянском мире объединяющую роль, которую играла Пруссия в Германии.

Итак, чтобы активно вмешиваться в политическую организацию Европы на основе больших национальных государств и чтобы не проиграть панславистского дела, необходимы два фактора: «самонаблюдение» и «деловитость». Достоевский не разделяет патриотических восторгов Майкова, приветствующего панславистский конгресс, который состоялся в Москве в мае 1867 года, и напоминает ему, насколько ограничен культурный и политический престиж России в глазах «братьев»-славян: «После Славянского съезда в Москве некоторые из славян же, возвратясь к себе, подшучивали свысока над русскими за то, что “руководствовать других взялись и как бы импонировать славянам, а у самих-то еще что и какое малое самосознание”» (28/2; 322).

Умственная работа и реформаторская практика, критическое осмысление, усвоение собственных национальных корней и ускоренная экономическая, административная и военная модернизация страны служат обоюдной гарантией. «К деловитости, к самонаблюдению» как к залого национального возрождения «русский народ» должен «поневоле приучиться», следуя примеру реформистской инициативы государя-«благодетеля» (28/2; 206). Чем дальше, тем отчетливее высказывается Достоевский: с одной стороны, «самопознание — это хромое наше место, наша потребность» (28/2; 323), а с другой — нечего время терять: «России непременно надо готовиться и поскорей» к внезапному взрыву политических и национальных противоречий Европы, «потому что это, может быть, ужасно скоро совершится» (28/2; 281).

Ясно, что забота о «самопознании» русского народа — это дело «новой интеллигенции» или хотя бы первого, все еще немногочисленного и весьма разнородного «авангарда»: самого Достоевского, Страхова, Майкова, И. Аксакова, Каткова, Данилевского, только что опубликовавшего свой труд «Россия и Европа», и немногих других. За активную же имперскую, «национальную» политику могло *непосредственно*

взяться лишь существующее правящее сословие, то есть как раз *дворянство*, а точнее — аристократия.

Но господствующий среди русского «верхнего слоя» традиционный западнический либерализм, основанный на абстрактном и устаревшем идеале европейской «общечеловеческой» цивилизации, явно противоположен национально-панславистской идее: «Славянство и стремления славянские, должно быть, вызывают у нас целую тьму врагов из русских либералов, — пишет Достоевский все в том же письме от начала марта 1868 года об освободительных движениях в Сербии и Болгарии. — Когда-то эти проклятые подонки застарелого и ретроградного выскребутся! Потому что русского либерала нельзя никак считать чем-нибудь иначе, как застарелым и ретроградным» (28/2; 259). В эпоху, когда политика играет на чувствах и интересах национальных, космополитическое западничество «так называемого прежде “образованного общества”» (28/2; 259) не только оказывается идеологией «ретроградской», но и доводит непременно до полного отречения от родины: «наш либерал не может не быть в то же самое время закоренелым врагом России и сознательным» (28/2; 258).

Таким образом, не удивительно, что одна из сюжетных линий «Идиота» касается именно возможности обращения к «национальной идее» хотя бы части дворянства, чтобы временно заменить будущий «национально-всенародный», пришедший «снизу» общественный блок. О поисках способов такого «обращения» дворянства свидетельствует работа Достоевского над образом Вельмончека (Евгения Павловича Радомского). В первом варианте (запись от 24 мая 1867 года) он, еще безымянный, неслучайно характеризуется одними только военными чинами, определяющими его принадлежность к высшим сферам «старой» иерархии: кавалергард и даже флигель-адъютант, т. е. обер- или штаб-офицер в должности адъютанта при государе. Поначалу он — типичный пустоватый аристократ, проникнутый желанием «стоять за свое сословие» (9; 269), великосветский соперник Мышкина, подчеркивающий своей ординарностью настоящее величие «Князя Христа».

Вскоре (записи от 10–11 июня) его личность усложняется: теперь Вельмончек — «*настоящий аристократ, без идеала* (...)». Странная смесь хитрости, тонкости, рефлекса, насмешки, тщеславия; убивает себя из тщеславия» (9; 273). Демоническое обаяние, гордость, саркастичность, хищная воля к обладанию, жажда самоутверждения, которая, неудовлетворенная и неудовлетворимая, превращается в *cupio dissolvi*, — эти черты включают Вельмончека (в этой фазе

развития сюжета) в эволюционную линию от князя Валковского до Ставрогина. Прежний «пустой» аристократ теперь характеризуется функцией психологического «сгущения» определенной социальной общности: «Они — не пустые, они — не национальные, плохо к почве привязаны, оттого так легко и отлетают, этот еще лучший» (9; 271). Как некий озлобленный Онегин, он выражает духовную энтропию целого поколения русских дворян, по критическим и умственным способностям уже переросших старые социально-культурные структуры, но все еще неспособных к подлинному этическому перерождению из-за недостатка живых связей с народом: «Остается быть вивером, — скорбно признается сам Вельмончек, — но для этого я слишком развит и не могу сделаться гоголевским помещиком» (9; 274).

Ясно, что в перспективе «национального» обновления дворянства подобный характер является тупиковым. Поэтому в дальнейшем развитии романа Достоевский ослабляет демонические и однозначно эгоистические черты Евгения Павловича, качественно изменяя их: продолжая быть «*скептиком*» (запись, сделанная в сентябре) и проникнутым горькой иронией рационалистом, он становится носителем крайне противоречивых функций. В печатной редакции он остается «молодым и “с будущностью” флигель-адъютантом (...) знатного рода» (8; 155), богачом и красавцем, но его полная солидарность с «системой» вскоре завершается и фактически (весьма скандально, с самоубийством дяди и полувынужденной отставкой), и психологически — из-за все более острого сознания бесперспективности традиционного дворянско-помещичьего порядка: «Сословие почтенное, хоть по тому уж одному, что я к нему принадлежу, — иронически характеризует Евгений Павлович “русского помещика”, — особенно теперь, когда оно перестало существовать» (8; 276).

Ему ясны социально-исторические корни этой бесперспективности, проявляющейся и в общественном, и в политическом плане: «У нас до сих пор либералы были только из двух слоев: прежнего помещичьего (упраздненного) и семинарского. А так как оба сословия обратились наконец в совершенные касты, в нечто совершенно от нации отличное, и чем дальше, тем больше, от поколения к поколению, то, стало быть, и все то, что они делали и делают, было совершенно не национальное» (8; 276). Евгению Павловичу, как и самому Достоевскому, ясно, что старобарская ненависть к народности — главная психологическая основа русского радикализма во всех его ответвлениях: «Все наши отъявленные, афишованные социалисты, как здешние, так и заграничные, больше ничего как либералы из помещиков

времен крепостного права, — утверждает Евгений Павлович. — Их злоба, негодование, остроумие — помещичьи (даже дофамусовские!); их восторг, их слезы — настоящие, может быть, искренние слезы, но — помещичьи. Помещичьи или семинарские...» (8; 276–277).

Итак, «окончательный» Евгений Павлович двойственен как в плане психологической трактовки, так и в плане идеологической позиции: он постоянно колеблется между спокойным, «олимпийским» либерализмом князя Щ. (всцело погруженным в традиционную аристократическую культуру, несмотря на искренние реформаторские намерения) и перспективой радикального этического обновления, носителем которой является Мышкин. К самому Мышкину Радомский относится не менее двойственно, с некой смесью недоумевающей симпатии и рационалистической иронии. Иронически колеблющийся характер «последнего типа русского помещика-джентльмена» (9; 280) окончательно подтверждается в заключении романа: с одной стороны, Евгения Павловича ожидает добровольная ссылка на Запад, общая судьба «беспочвенного» русского дворянства, а с другой — этот «совершенно лишний человек в России» (8; 508) становится последним сторожем и хранителем «Князя Христа», окончательно погрузившегося в символическое молчание безумия.

На возможность развития этого аристократа, у которого «есть сердце» (8; 508), намекают и его связи с Колей Иволгиным (т. е., как уже было сказано выше, с новым «деловым» поколением) и особенно с Верой Лебедевой, еще одним типичным образом «кроткой» народной России. Связь эта, которая в подготовительных материалах трактовалась как циничная попытка обольщения и самоунижения, превращается теперь в чистое «внимание и уважение», в «чувства дружеские и близкие» (8; 508), открыто указывающие на возможное будущее «почвенническое» перерождение героя-дворянина.

4. Дворянство и экономическое развитие: «обманутые» и «обманщики»

Поиски способов для *идеологического* обращения части дворянства к народным началам сопровождаются у Достоевского напряженными размышлениями о роли того же дворянства в текущей *социально-экономической* эволюции страны: «То, что называется в России *обществом*, набиралось и составлялось из помещиков. В последнее время из чиновников (буржуазия), — писал Достоевский в 1865 году. — Теперь помещиков нет. Наше общество должно

быстро измениться» (20; 205). Социальное перемещение компонентов бывшего дворянства не может не сказаться на будущем русского общества при переходе к свободным финансово-торговым отношениям от прежнего, еще до-денежного экономического уклада, основанного на принудительных рабочих отношениях и на бюрократически-сословных механизмах управления.

Крайняя неустойчивость социального уклада, глубокий кризис традиционных ценностей и динамизм новых экономических сил характеризуют исторический фон «Идиота». Символом этой всеобщей шаткости является «случайность» богатства, действующая как один из главных двигателей сюжета: хаотический, иррациональный поток денег постоянно смешивает карты и внезапно влияет на приключения всех лиц и на отношения между ними через ряд неожиданных поворотов, достойных искусного фельетониста.

Не лишним будет напомнить о том, в каких условиях развивалась русская экономика в первые годы после реформы. Общий план освобождения крепостных хорошо известен: за полученные земельные наделы крестьяне должны были немедленно уплатить бывшим владельцам 20% выкупа, при определении которого за основу брался прежний оброк, а остальные 80% выдавались государством процентными кредитными бумагами, которые крестьянам требовалось возместить государству в течение 49 лет (выкупные платежи).

Этот порядок, едва ли не самый уравновешенный в теории, имел следующие практические последствия: а) переоценка наделов и хроническая задолженность крестьянами государству выкупных платежей надолго лишили сельское население денежных излишков и мешали расширению рыночного спроса; б) выдача кредитных бумаг помещикам временно лишала государство необходимых инвестиционных фондов на финансирование производительных предприятий; в) все более углублялось экономическое неравенство внутри самого дворянского сословия. В 1858 году 40% дворян владело лишь 3% всех крепостных мужского пола, и большинство кредитных бумаг, выданных государством при уничтожении крепостного права, было сразу распродано массой разорившихся дворян, чтобы погасить банковские долги (426 млн рублей в 1859 году) и сохранить традиционный непроизводительный образ жизни.

В течение нескольких месяцев огромное количество денег и кредитов перешло от бывших крепостных

и от государства к бывшим помещикам, и от этих последних к вскоре образовавшейся и широко распространившейся среде дельцов и спекулянтов. Все это (при сильном колебании рубля и при недостающем государственном кредите для возникающей индустрии) сильно дестабилизировало социально-экономическое развитие страны и благоприятствовало паразитизму и любому виду спекулятивных операций в ущерб первым попыткам современного, производительного предпринимательства. Следующие двадцать лет государственные процентные бумаги и прочие казначейские обязательства с фиксированным доходом имели подавляющий перевес в финансовом обороте над свободным акционерным рынком.

Итак, «роковой» характер, приписанный Достоевским денежным передвижениям, — это символ экономической системы, в которой накопление капитала зависит не от конкретного товарного производства, но от чисто финансовых спекуляций в контексте бюрократического застоя и отсталых экономических структур, все еще функционирующих на основе принудительной работы и прямого, доденежного товарного обмена: «В наш век все авантюристы! — уныло заявляет князю Коля Иволгин. — И именно у нас, в России, в нашем любезном отечестве» (8; 113). Предельные формы подобной аккумуляции капитала (принимающие, в истолковании Лебедева, апокалиптический масштаб) — ростовщичество, азартная игра, грабеж. В этом плане «Идиот» не отличается от предшествующих ему сочинений («Преступление и наказание», «Игрок»).

Особенность «Идиота» состоит в гораздо более широком спектре социального анализа. Тема «роковой» власти денежных потоков над судьбами и над самой сущностью промотавшихся представителей бывшего дворянства намечается еще в начальных вариантах романа: «У этих людей, покамест деньги, то если не *умны*, то по крайней мере они представительны, в числе человек, — пишет Достоевский уже в первом описании героев. — Без денег же они быстро падают» (9; 140–141). В окончательной редакции этот мотив воспроизводится в образе Гани Иволгина, наиболее тесно связанного с героями первоначальной редакции, но «демонический» вихрь денег охватывает волей-неволей всех членов старого общества.

Тема эта, однако, связана не только с идеализацией архаических общественно-культурных форм, цельность которых якобы разлагается современным «духом меркантильности», но и с трезвым анализом конкретного социально-экономического положения России середины 60-х годов. «Это даже

и не буржуазия; это какие-то *вполне уж личинки*, — пишет Достоевский в 1865 году об “огромной массе”, которая “живет перебиваясь копейками и ничего не видя, кроме своих интересов”, и заключает: — Своя связь была нарушена, новая не завелась под гнетом административных начал, а у *буржуазии*, по крайней мере до конца концов было что-то, что ее связывало» (20; 194).

После реформы, вместо того чтобы перейти к новому социальному блоку, свободному от прежних бюрократических и сословных структур, экономическая инициатива и общественно-политическая проектировка остаются в руках тех же «чиновников», умножение которых, «в сущности, составляет все наши реформы», — отмечает Достоевский, и продолжает: «Аристократ есть тот, кто не имеет понятия об труде для своего существования» (9; 222). *Исчезновение старых механизмов принудительной экономической регламентации превращает паразитизм, свойственный дворянско-чиновничьей элите, в расположенность к спекуляциям.*

«Столкновение страшное новых людей и новых требований с старым порядком» (28/2; 281), — читаем мы в письме к Майкову, написанном в марте 1868 года. В начале приблизительно тогда же написанной третьей части романа Достоевский иронически противопоставляет недостаток «практических людей» размножению «политических людей (...), генералов (...), управляющих» в обществе, страдающем из-за транспортного хаоса, товарной нехватки и бюрократического произвола: «Правда, говорят, у нас все служили или служат, и уже двести лет тянется это по самому лучшему немецкому образцу, от пращуров к правнукам, — но служащие-то люди и есть самые непрактические, и дошло до того, что отвлеченность и недостаток практического знания считались даже между самими служащими, еще недавно, чуть не величайшими добродетелями и рекомендацией».

В чиновнически-застойном и бездушно-подражательном послепетровском обществе «практичность» отождествляется не с независимой предпринимательской способностью нового общественного блока, но с карьерой «генерала»-бюрократа, с полным «недостатком оригинальности», превращающимся (по мере раскрепощения экономической жизни) в чистую спекулятивную анархию: «Если, например, в продолжение десятков лет все тащили свои деньги в ломбард и натащили туда миллиарды по четыре процента, то, уж разумеется, когда ломбарда не стало и все остались при собственной инициативе,

то большая часть этих миллионов должна была непременно погибнуть в акционерной горячке и в руках мошенников — и это даже приличием и благонаравием требовалось». Еще раз подчеркивается органическая связь прежнего, «паразитно-бюрократического» дворянства с теперешним, «спекулятивным»: «Именно благонаравием; если благонаравная робость и приличный недостаток оригинальности составляли у нас до сих пор, по общепринятому убеждению, неотъемлемое качество человека дельного и порядочного, то уж слишком непорядочно и даже неприлично было бы так слишком вдруг измениться» (8; 268–269).

«Обманутые» и «обманщики» — зеркальные разветвления старого дворянского сословия, что довольно явно показано в романе: генерал Иволгин представляет «промотавшуюся», «обманутую» половину бывшего дворянства, с его привязанностью к отжившей военно-патриотической риторике, характерной для социально-культурной системы прежних времен, но которая теперь представляет лишь гротескное отражение общественной и нравственной деградации его носителя. С социальной точки зрения, Иволгин полностью сливается с плебейской средой, представителями которой являются Птицын, движущийся по противоположной, «восходящей» социальной траектории, и Лебедев.

Тоцкий и генерал Епанчин — наоборот, типичные представители «деловой» эволюционной линии дворянства. Один — «помещик и раскапиталист, член компаний и обществ», другой — бывший откупщик, владеющий недвижимостью, землями, член акционерных компаний, их связывает «большая дружба» (8; 11), основанная как раз на деловых отношениях. Ведущие свое происхождение из низших слоев дворянства (Епанчин — даже из солдатских детей), в первой части романа они являются настоящими диоскурами беззастенчивой спекуляции и социального карьеризма.

Тоцкий исчерпывается исключительно отрицательной ролью оболъстителя-спекулянта и вынужден исчезнуть, когда за «разрушительной» первой частью романа следует «созидательный», хотя и судорожный, поиск положительных моделей: он «пропадает», женившись на «одной заезжей француженке высшего общества, маркизе и легитимистке» (8; 154), представляющей прямую социально-политическую проекцию консервативно-делового «чрезвычайного эгоизма» (8; 34) самого Тоцкого.

Епанчин же, «порядочный, хотя и недалекий (...) серьезный наживатель денег» (8; 271), сохраняет определенную

нравственную устойчивость, выражающуюся в его глубокой связи с семьей. Семейство Епанчиных — это «люди среднего круга, самого среднего, какого только можно быть», стремящиеся «лезть в (...) великосветский круг» (8; 435), и все же они составляют «шероховатый» союз, который «поминутно выскакивает из рельсов» (8; 270) обычных общественных отношений. С этой точки зрения, семейство Епанчиных — образ русской нравственной «почвы», которую оно представляет целой чередой женских персонажей.

В длинном отступлении, которое посвящено событиям, определяющим интригу с Ганей Иволгиным (ч. I, гл. IV), пара Тоцкий — Епанчин является прозрачной метафорой социально-политической эволюции всего послепетровского правящего класса — *от принудительной экономики к финансовой спекуляции*.

Дворянство овладело страной посредством насилия, чуть замаскированного разными формами поверхностной цивилизации: заключение Настасьи Филипповны в сельце Отрадном, «изящный» и «тихий» домик, компаньонка-помещица, «изящная девичья библиотека» — лишь кулисы, за которыми «со вкусом и изящно» (8; 35–36) совершается и регулярно повторяется насилие.

Но под «робким и пансионски неопределенным» характером кипят нерастраченные нравственные силы нации: «новая», уже взрослая женщина покидает сельцо, с «необыкновенной решимостью» вдруг является в Петербурге, в самом сердце власти и насилия, и силой своего неудовлетворимого негодования и своей иррациональной жизненностью расшатывает тот порядок, который «всю жизнь устанавливался и принял такую прекрасную форму» (8; 36–37).

Осознав невозможность укротить возрожденную нацию («оскорбленную и фантастическую женщину») насильственно-авторитарными мерами, коррупцией или легкими развлечениями прирученного культурного рынка («князя, гусары, секретари посольств, поэты, романисты, социалисты даже»), старый правящий класс пытается ее запутать в *спекулятивной сети*, настолько же «современной» с виду, насколько связанной, в сущности, со старыми привилегиями.

Под предлогом «обновления жизни» и «новой цели» (8; 41) (фразы, почерпнутые из «гуманной» риторики либерализма того времени) Настасья Филипповна *продана* блестящему и усердному дельцу акционерной компании: ей суждено теперь стать *первоначальным капиталом* для будущей карьеры Гани Иволгина.

5. Самоотрицание дворянства: «сироты»

Самой Настасье Филипповне Достоевский приписывает безупречную родословную, подчеркивая, что она из «хорошей дворянской фамилии» (8; 35). Она вместе с князем Мышкиным представляет еще один эволюционирующий тип дворянства, который можно отнести к категории сирот. Потеря семейных связей, опыт насильственного и травматического уединения отлучили обоих от социальной и ценностной иерархии: они не занимают в ней определенного положения, не принимают участия в ее трансформации, не разделяют и не понимают механизмов, лежащих в ее основе.

Однако Мышкин и Настасья Филипповна не исчерпываются ролью общественных аутсайдеров. Если рассмотренных прежде героев можно считать прямыми и однозначными олицетворениями разных перспектив развития разлагающегося дворянства, то для дворян-«сирот» характерна символическая многоплановость: «Все вопросы, и *личные* Князя (...), и *общие*, решаются в нем, — пишет Достоевский в записи от 21 марта, — и в этом много трогательного и наивного, ибо в самые крайние *трагические* и *личные* минуты свои Князь занимается разрешением и общих вопросов» (9; 240).

Испытав очистительное страдание, «выйдя чистыми» из «ада» психической болезни и нравственного унижения, Мышкин и Настасья Филипповна представляют ту *теорию счастья на земле*» (9; 158), на которую автор намекает уже в записях от 18 октября и содержание которой было раскрыто еще раньше, во время работы над «Преступлением и наказанием». «Православное воззрение», или «закон нашей планеты», — писал тогда Достоевский, — состоит в том, что «человек заслуживает свое счастье, и всегда страданием». «Опытom pro и contra, которое нужно перетащить на себе», приобретается «счастье», понятие не материально, но как «жизненное знание и сознание» (7; 154–155), т.е. *как иное, высшее состояние бытия*.

Неслучайно Достоевский подчеркивает «загадочность» и символическую насыщенность образа князя и необходимость усилить и то, и другое развитием сюжета, чтобы лицо героя было «фантастичнее и вопросительнее, возбуждая любопытство» (9; 220). Мышкин и Настасья Филипповна — представители духовного и этического, онтологически *иного* порядка, несводимого к общепринятым схемам и в то же время оказывающего неотразимое влияние на людей, их окружающих.

Уже не раз отмечалась исследователями исполняемая Мышкиным роль психологического «катализатора»

проявления подлинной сущности окружающих лиц. Нас же здесь больше занимает *социальный облик* двух героев — с этой точки зрения князь и Настасья Филипповна представляют *две разные, но равноценные перспективы самоотрицания, самопреодоления дворянства* — не столько на уровне прямых теоретических высказываний, сколько в нормах поведения, которых они инстинктивно придерживаются.

В Настасье Филипповне самопреодоление дворянства проявляется как *трагический отказ*, как динамика саморазрушения. С самого начала она отвергает принудительно наложенную на нее культурную схему высшего сословия, т.е. «программу воспитания» Тоцкого, целиком основанную на пассивном принятии традиционных сословных преград: «милое и изящное незнание, вроде, например, того, что крестьянки не могут носить батистового белья, какое она носит» (8; 115). Основные черты социального поведения Настасьи Филипповны: ее объединяющая роль по отношению к подчеркнуто разнородной социальной вселенной, в которой представители дворянства вынуждены сливаться с «низовыми» и разночинными элементами, и ее «варварская смесь двух вкусов», т.е. постоянное иррациональное колебание между строгим достоинством и простотой и гротескными антисоциальными отклонениями. Ясно, что оба полюса, предельные воплощения которых — честно работающая «прачка», с одной стороны, и «бордель» — с другой, являются радикальной антитезой дворянской респектабельности.

Трагичен ее отказ стать «княгиней», принять искупление, нравственное и общественное, предлагаемое ей князем. «Чрезвычайно русская женщина» (8; 104), она воплощает высшую духовную силу, «загадочную» и «страдающую», постоянно ускользающую, «фантастическую, демоническую красоту» (8; 482), которая в состоянии «мир перевернуть», и в то же время она «отказалась от мира» (8; 380), став на путь своеобразного анти-аскетизма: отсюда регулярные провалы любых попыток включить ее в социальную систему (неоднократные побеги «из-под венца») и обращение к анти-этике, к анти-общественности (Рогожин с его мрачным домом без окон, недоступным в своей патриархальной косности внешнему, современному миру), вплоть до смерти, давно ожидаемой и желаемой.

Трагическому отказу Настасьи Филипповны противопоставлен Мышкин и его путь преодоления дворянства по линии *этической сублимации*. Как хорошо известно любому читателю романа, главная нравственная черта князя — инстинктивная сила сострадания и сочувствия, несовместимая

с каким бы то ни было социальным и вообще внешне-условным определением: «(...) очень часто только так кажется, что нет точек общих (между людьми — Г.К.), а они очень есть, — заявляет князь недоумевающему генералу Епанчину. — Это от лениности людской происходит, что люди так промеж собой на глаз сортируются и ничего не могут найти» (8; 24). Несложно увидеть в подобных рассуждениях кредо самого Достоевского: начало христианской солидарности, основанное на ответственности человека вопреки влияниям среды, на абсолютной ценности личности и на свободном диалогообмене между людьми. «Главное социальное убеждение его, — пишет Достоевский равно о себе, как и о Мышкине, — что экономическое учение о *беспольности единичного добра* есть нелепость. И что все-то, напротив, на *личном* и основано» (9; 227). В миропонимании зрелого Достоевского «личное» и «общее» соединены глубокой символической связью: именно в образе одной страдающей и униженной женщины «*Россия действовала постепенно*» (9; 242) на князя, и сам Мышкин, со своей стороны, понимает свое активное сострадание к Настасье Филипповне как акт, имеющий всеобщий этический масштаб: «лучше одну воскресить, чем подвиги Александра Македонского» (9; 268).

Но в то время, как *непосредственно-этическая сущность* характера и поведения Мышкина представляется ясной и вполне соответствующей нравственному идеалу автора, его *сознательные идеологические установки*, время от времени мелькающие в романе, куда более расплывчаты и противоречивы, что постоянно сбивает с толку окружающих. Когда князь выбирает лакея в доме Епанчиных своим первым петербургским собеседником, Аглая иронически называет его «демократом» (8; 54), да и Радомский неодобрительно определяет отношение Мышкина к Настасье Филипповне как «*условно-демократическое*» (8; 481). Однако князь идеологически столь же далек от «демократии», сколь и от принятия любого политического кредо условно-прогрессивного толка: «Вы думаете: я за *тех* (за низшие классы — Г.К.) боялся, *их* адвокат, демократ, равенства оратор? — восклицает князь на вечере у Епанчиных, перед сбором высокопоставленных паразитов и реликтов традиционной аристократии. — Я боюсь за вас, за вас всех и за всех нас вместе. Я ведь сам князь исконный и с князьями сижу» (8; 458). В самом деле, именно в кажущейся противоречивости между инстинктивным поведением и сознательной идеологической позицией князя и скрывается глубокий социальный смысл. Этическая сила, носителем которой является Мышкин, упраздняет замкнутость сословий в ее *теперешнем* виде, но одновременно

и составляет единственную возможную основу для *будущей аристократии духа*: в «настоящем аристократе без идеала, — так Достоевский заключает характеристику Радомского, — нет того, что мы любим, и в этом разница с Князем» (9; 273).

Значит князь — *аристократ*, в котором есть то, чего недостает Радомскому и что составляет сущность подлинной аристократии: Достоевский «любит» Мышкина как прообраз некой *аристократии идеала*. Подобная характеристика утверждена, пусть в более или менее иронической перспективе, постоянным символическим обращением к Дон Кихоту и пушкинскому «Рыцарю бедному» — «чрезвычайному образу» «всего огромного понятия средневековой рыцарской платонической любви» (8; 207).

Князь — наследник тех «односоставных» людей «об одной идее» (8; 433), которые были главным общественным двигателем органических, цельных эпох европейской и русской истории, и он чувствует себя призванным переносить их дух и образ в социально и психологически раздробленную современность.

В этом смысле гротескная проповедь на вечере у Епанчиных является для Мышкина окончательной проверкой его призвания: «Мне надо было видеть самому и лично убедиться: действительно ли весь этот верхний слой русских людей уж никуда не годится, отжил свое время, иссяк исконною жизнью и только способен умереть, но все еще в мелкой, завистливой борьбе с людьми... будущими, мешая им, не замечая, что сам умирает?» (8; 456–457).

То, что князь здесь страстно отрицает, — бесплодное, уже необратимое корпоративное вырождение старого верхнего слоя, — на деле как нельзя более наглядно подтверждается всем контекстом, и напрасно Мышкин прибегает к славянофильско-почвеннической идее, по которой «у нас и сословия-то высшего никогда не бывало, разве придворное, по мундиру, или по случаю» (8; 457). «Случайность» русской аристократии отнюдь не обеспечивает ее мирного воссоединения с народом в качестве его нравственного наставника и источника просвещения, а наоборот — предопределяет ее бесплодную агонию перед «людьми будущими», выступающими снизу, представителями грядущего всенародно-национального общественного блока.

Но, верный призванию, Мышкин не может признать, что теперешняя аристократия — «все манера, все дряхлая форма, а сущность иссякла» (8; 457), т. е. то, что прямо противоположно его этическому идеалу. Естественно, князь распространяет собственную духовную сущность на целое

сословие: «Я ведь сам князь исконный и с князьями сижу. Я, чтобы спасти всех нас, говорю, чтобы не исчезло сословие даром, в потемках, ни о чем не догадавшись, за все бранясь и все проиграв. Зачем исчезать и уступать другим место, когда можно остаться передовыми и старшими? Будем передовыми, так будем и старшими. Станем слугами, чтобы быть старшинами» (8; 458).

Значимым является и эпилог проповеди князя: вместо того чтобы добиться общего нравственного возрождения дворянства, способствовать его обращению в духовное старчество нации по плану, близкому программе И. Аксакова и журнала «Время», Мышкин лишь дискредитирует себя в глазах своего сословия. Его окончательное социальное отчуждение символически совпадает с припадком эпилепсии, предвосхищающим второе и куда более трагическое крушение: гибель Настасьи Филипповны и его собственную.

В контексте современной России идеальная аристократия Мышкина невозможна: «Князь только *прикоснулся* к их жизни, — пишет Достоевский 8 апреля 1868 года, — но *то*, что бы он мог сделать и предпринять, *то* все умерло с ним». Однако, будучи неосуществимым как *реальный социальный тип*, все же «где только он ни *прикоснулся* — везде он оставил неисследимую черту». Как раз через символическую смерть «Князя Христа» обнаруживается его *идеальная* значимость *духовного прообраза, регулирующей модели* для той социальной галактики — «*miserabl'e*й всех сословий» (9; 242), — из которой возникнет национально-всенародный общественный блок будущего. Дворянство же, потерявшее с «закатом» Мышкина единственный и последний шанс на возрождение, будет отныне представлять в творчестве Достоевского лишь доживающую свой век касту — без духовной силы и общественных перспектив.

В 1875 году в «программном» заключении «Подростка», проникнутом тонкой иронией как над «законченностью форм», над «красивым порядком культурного типа» родового дворянства, так и над последними литературными представителями этого типа (в первую очередь над Львом Толстым), Достоевский утверждает невозможность изображать «мираж» идеализированного, хоть и показанного во всех подробностях типа русского дворянства иначе чем в историческом плане: «ибо красивого типа уже нет в наше время, а если и остались остатки, то по владычествующему теперь мнению, не удержали красоты за собою». Теперешние потомки героев-дворян — «чудаки» и «мизантропы», занимающие в культурно-общественном развитии положение все более периферийное: «Еще далее — и исчезнет даже и этот

внук-мизантроп; явятся новые лица, еще неизвестные, и новый мираж; но какие же лица? Если некрасивые, то невозможен дальнейший русский роман. Но увы! роман ли только окажется тогда невозможным?» (13; 454).

Судьбы русского общества и русской культуры зависят от новой, еще только возникающей национально-всенародной социальной группы, в которой «с веселою торопливостью куски и комки» старого «красивого» дворянства «сбиваются в одну кучу с беспорядкующими и завидуемыми» (13; 453–454). Анализу этой грядущей социальной общности и посвящает свое творчество Достоевский.

**Почвенничество
и федерализм
(А.П. Щапов
и журнал «Время»)**

1

В начале августа 1859 года по дороге из сибирской ссылки в Тверь Достоевский остановился на десять дней в Казани. Озабоченный главным образом получением денег от брата Михаила, необходимых для продолжения путешествия, в древней татарской столице Федор Михайлович замечает только «дороговизну нестерпимую»¹ и проводит время в городской библиотеке. Вероятно, его мало интересовала местная культурная жизнь, в которой довольно важную роль в то время начинал играть 28-летний профессор Духовной академии, сибиряк по происхождению, Афанасий Прокофьевич Шапов.

В необыкновенно либеральной по тем временам казанской культурной среде все большее внимание привлекали шаповские теории об образовании Древней Руси путем постепенного освоения земель свободными крестьянами-колонизаторами. При полной самобытности областных общин, связанных лишь культурным и хозяйственным влиянием монастырей, сложилась, по мнению Шапова, русская земля как конфедеративный союз, управляемый сетью народных советов — от мирской сходки местных сельских общин (дума или вече в городах) до общерусского земского собора как «совета всей земли». По мере того как изначальное «общинно-демократическое народосоветие» (термин И. Т. Посошкова) постепенно вытеснялось централизацией бюрократического государства, сохранить древние традиции (в форме религиозного предания) позволил, по мнению Шапова, раскол.

Если бы, прогуливаясь около двухэтажного каменного дома, который и сейчас стоит на углу Арской и Академической

1 28/1; 362. На самом деле в предшествующем двухлетии цены на товары первой необходимости почти удвоились в Казанской губернии, что привело к резкому ухудшению качества жизни разночинной интеллигенции и университетских студентов недворянского происхождения. Вероятно, что это и стало причиной идеологической радикализации в данной социальной среде. См.: Вульфсон Г. Н., Бушканец Е. Г. Общественно-политическая борьба в казанском университете в 1859–1861 годах. Казань: 1955; Вульфсон Г. Н. Разночинно-демократическое движение в Поволжье и на Урале в годы первой революционной ситуации. Казань: 1974.

улиц, Достоевский познакомился тогда со Щаповым, он, возможно, узнал бы, что своеобразная смесь плебейского бунтарства, апокалипсического мистицизма и федеративно-демократических лозунгов, составлявшая основу взглядов Щапова, была генетически связана с той, что определила мировоззрение писателя. Распространением в Казани социально-религиозных утопий в духе Фурье и Сен-Симона занимались с 1847 года братья Бекетовы, соседи Достоевского по квартире и его товарищи по социалистическим кружкам в середине 40-х годов².

Также несомненна связь щаповских исторических воззрений с теориями Герцена о русской общине как ядре новых производственных отношений и будущего политического устройства, основанного на местном самоуправлении: «Дело вовсе не в том, чтоб раз в году собраться, выбрать депутата и снова воротиться к страдательной роли управляемого, — пишет Герцен в “Письмах из Франции и Италии”, очевидно, под влиянием анархо-федерализма Прудона. — Надобно было основать всю общественную иерархию на выборах, надобно было предоставить общине избрать свое правительство, департаменту свое; надобно было уничтожить всех проконсулов, получающих священный сан от министерского помазания; тогда только народ мог бы действительно воспользоваться правами и, сверх того, дельно избрать своих центральных депутатов»³.

Те же самые лозунги звучат в двух важнейших документах, напечатанных в «Колоколе»: в программной статье будущей «Земли и воли», называвшейся «Что нужно народу» и написанной Н. П. Огаревым, в которой тема самоуправления трактуется преимущественно в связи с налоговым правом⁴, и в «Ответе “Великоруссу”» (предположительное авторство Н. А. Серно-Соловьевича), отстаивающем «право

- 2 См.: Поддубная Р. Н. Бекетово-Майковский круг в идейных исканиях Достоевского 1840-х годов // Освободительное движение в России. Вып. 8. Саратов: 1978; Вульфсон Г. Н. Братья по духу. Питомцы Казанского университета в освободительном движении 1840–1870-х гг. Казань: 1989. Важную роль в применении социально-утопических теорий к истории русских религиозных движений сыграл Г. З. Елисейев: с 1845 по 1854 годы будущий сотрудник «Современника» преподавал историю церкви в Казани и «все чаще стал поговаривать о важности в русской истории народного элемента» (цит. по: Знаменский П. В. История Казанской Духовной академии. Т. 3. Казань: 1892. С. 278). Сам Щапов, который учился у него в 1852–1854 годах и занимал впоследствии его место в Духовной академии, признавал его решающее влияние на студентов (см. письмо Щапова к Елисейеву от 24 декабря 1872 года // А. П. Щапов в Иркутске. Иркутск: 1938. С. 77).
- 3 Герцен А. И. Собрание сочинений в 30-ти томах. Т. 5. М.: 1955. С. 162. Текст этот был впервые включен в издание писем 1854 года, но написан в конце 1848-го.
- 4 См.: Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. М.: 1997. С. 114.

народа на землю (...) и свободный союз областей»⁵. Напечатана в Лондоне и известная прокламация Н.В. Шельгунова «К молодому поколению» (распространялась в Петербурге в сентябре 1861 года), в которой говорилось: «Мы хотим развития существующего уже частью в нашем народе начала самоуправления (...). Наша сельская община есть основная ячейка, собрание таких ячеек есть Русь»⁶. Характерно, что и самый радикальный революционный призыв тех лет, прокламация «Молодая Россия» П.Г. Заичневского, требовал «изменения современного деспотического правления в республиканско-федеративный союз областей»⁷.

Не только Шапов, но и другой историк, чрезвычайно ценившийся в левых кругах, Н.И. Костомаров, придерживался теории об исконно-русском федеративно-вечевом строе: «Моя идея о том, что в удельном строе Руси лежало федеративное начало, — признавался украинский историк, — хотя и не выработалось в прочные и законченные формы, заставила подозревать — не думаю ли я применять этой идеи к современности и не основываю ли на ней каких-нибудь предположений для будущего»⁸. Популярность подобных идей была столь велика, что историк П.В. Павлов в знаменитой речи «Тысячелетие России» на литературно-музыкальном вечере 2 марта 1862 года (в котором принял участие и Достоевский, читавший там «Записки из Мертвого дома») счел нужным специально от них дистанцироваться: «В продолжение целого тысячелетия Россия была рабовладельческой страной. Несправедливо видеть в союзной, удельно-вечевой Руси общество вполне свободное»⁹.

2

Проблемой федеративного самоуправления достаточно рано начали заниматься культурные деятели, сгруппировавшиеся вокруг журнала «Время» и известные как «почвенники».

5 Там же. С. 119.

6 Там же. С. 103.

7 Там же. С. 146.

8 Автобиография Н.И. Костомарова. М.: 1922. С. 272–273.

9 Материалы для истории революционного движения в России в 60-х гг. СПб.: б. д. С. 52. Скептицизм по поводу превратившихся в общее место шаповских теорий выразил и Тургенев в ходе известной полемики с Герценом: «В течение лета я потрудился над Шаповым (истинно потрудился!) — и ничего не изменил теперь моего убеждения. *Земство* — либо значит то же самое, что значит любое односильное западное слово — либо ничего не значит — и в *шаповском* смысле непонятно ровно ста мужикам изо ста» (письмо от 26 сентября 1862 года, см. в: Тургенев И. С. Письма. Т. 5. М.: 1988. С. 113–114).

На первый взгляд почвенничество представляет собой разнородное и эклектичное явление, союз людей, объединенных одним только участием в издательских предприятиях братьев Достоевских, но идеологически глубоко чуждых друг другу: посредничество Ф. Достоевского в период расцвета движения (1861 — начало 1863 года) никак не влияло на тот факт, что публицисты позитивистского склада вроде А. Разина имели мало общего с неославянофилами, такими как А. Григорьев и Н. Страхов¹⁰. Тем не менее у почвенников оказывается по крайней мере одна общая идеологическая черта: неприятие сословно-бюрократического централизма как несвойственной для России политической системы и упор на необходимость культурного, а в перспективе и политического самоутверждения освобожденных от сословных перегородок народных масс.

Аргументация в пользу свободной самостоятельности общественного организма ведется у почвенников по различным линиям: ссылки на политическую экономию и на социологию позитивистского толка, с одной стороны, а с другой — идеализация изначального стремления к вольности, к свободному самоуправлению, якобы органически присущего русскому народу. Несмотря на неоднородность идеологических предпосылок, политическая перспектива, указанная всеми почвенниками, одинакова: местное самоуправление, децентрализация, основанная на межсословных институтах. Таким образом, внимание и сочувствие со стороны почвенников к щаповским теориям о земско-областном характере русского исторического развития — вполне естественное явление, тем более что сам Щапов оперировал научными теориями крайне эклектично: в его текстах мы находим и географический детерминизм, и романтическую идею «народного духа, творящего историю»¹¹.

Неслучайно и то, что первым почвенником, обратившим внимание на Щапова, является единственный представитель движения, обладавший специальным историческим образованием, — ученик М. Погодина и в юности друг С. Соловьева Аполлон Григорьев. Уже в середине 50-х годов будущий сподвижник Достоевского внимательно следит за спорами между сторонниками разных моделей русской истории, признавая за ними ключевую роль для будущего

10 Расхождения болезненно ощущались и некоторыми почвенниками: ср. письма А. А. Григорьева из Оренбурга с июня 1861-го по март 1862 года в: *Григорьев А. А. Письма*. М.: 1999. С. 250–276.

11 *Щапов А. П.* Великорусские области в Смутное время // *Отечественные записки*. 1861. № 10.

возрождения национального самосознания. С самого начала основным противником для него были «родовики», т.е. историки «государственной школы», которые поддерживали бюрократический централизм и считали его созидательной силой по отношению к пассивной народной массе, погруженной в косность «родового быта».

Сам Григорьев в письмах к В.П. Боткину от апреля 1856 года называл себя «общинником»¹², т.е. приверженцем спонтанного и «органического» народного творчества как в культурной, так и в общественной сфере. Но для выработки развернутого «общинного» (или «прапочвеннического») истолкования русской истории необходимы научные авторитеты. Работы М. Погодина и И. Беляева, которых чрезвычайно ценил Григорьев, выглядели методологически устаревшими на фоне новейших исследований русской истории, почти полностью находившихся под влиянием «родовиков», а работы самих славянофилов были приемлемы лишь частично — из-за того, что они опирались исключительно на крестьянскую патриархальность, из-за неприятия ими секуляризованной культуры в целом и превозношения ими допетровской Москвы. В письме к Погодину от января 1856 года Григорьев отвергает новорожденный славянофильский орган «Русская Беседа» как «журнал Троицкой лавры и проч.» и противопоставляет ему собственное направление — «народность демократическая и прогрессивная»¹³.

Исконно-русской политической традицией Григорьев считал не феодальное государство XVII века, но областной федерализм эпохи уделов — эта традиция была прервана татаро-московско-петербургским деспотизмом. В статье 1859 года, целиком посвященной опровержению методологических и идеологических предпосылок «Истории России» Соловьева, Григорьев устанавливает период, являющийся парадигмой «органической» модели развития, к которой русская государственность циклически возвращается: «Была минута, когда все это до сих пор еще старой задерживающейся жизнью живущее стихийное — развивалось само

12 Григорьев А.А. Письма. С. 107–112.

13 Григорьев А.А. Письма. С. 97. Отмежевание от традиционного славянофильства как направления «теоретического», «узкого», «барского» и неспособного ответить на вопросы современности станет общим местом в 60-е годы как для Григорьева, так и для Достоевского. См.: Григорьев А.А. Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой. Граф Л. Толстой и его сочинения. Статья первая // *Время*. 1862. Т. 1; 19; 57–66. Неоднозначно и отношение Шапова к славянофильству. См.: *Аристов Н.Я.* Жизнь Афанасия Прокофьевича Шапова // *Исторический вестник*. 1882. № 11. С. 296–297.

из себя — мучительными, но блестящими борьбами вырабатывало из себя и для себя свой центр. Эта минута есть XII век и начало XIII»¹⁴. Через пару лет критик подтверждает эту позицию, упрекая Карамзина в том, что он «не понял федеративной идеи, блестящую минуту развития которой представляет наш XII век и которую, без “попущения” божия, в виде татар, ждало великое будущее, не поняв городской жизни и значение князей, как нарядников»¹⁵.

Итак, федерализм, местное самоуправление с перевесом городского элемента — одновременно давнее прошлое и близкое будущее страны. Главным носителем традиционных ценностей и подлинно самобытных представительных учреждений является «чисто великорусская, промышленная сторона России»¹⁶ — купцы, ремесленники: «В классе среднем, промышленном, купеческом по преимуществу, видим старую, извечную Русь, с ее дурным и хорошим»¹⁷, — утверждал Григорьев в 1856 году. На необходимости духовного и материального раскрепощения творческих сил народа публицист настаивает с особенной силой после упразднения крепостного права:

Что татары оторвали нас от XII века и от нашего федеративного будущего, что северо-восточные князья-приобретатели, пользуясь татарским игом, централизовали и вместе кристаллизировали жизнь, это было, конечно, исторически необходимо, то есть, проще говоря, это произошло. Но ведь произошло также и то, что в эпоху междоусобицы вдруг раскрылись все язвы общественные, на время заглушенные хитрыми мерами Калиты и Ивана III и грозной централизацией Ивана IV, вдруг отозвались все подавленные стороны жизни и выступили под знаменами бесчисленных самозванств. Равномерно и в духовном процессе нашем совершаются такие факты, которые показывают, что связь наша с историей и бытом вовсе не так разорвана, как это казалось лет за пятнадцать назад, что кругом нас в тишине совершается жизнь, вовсе не так далекая от жизни даже XII столетия, как это кажется с первого раза¹⁸.

14 Григорьев А. А. Взгляд на «Историю России», соч. С. Соловьева // Русское слово. 1859. № 1. С. 14.

15 Григорьев А. А. Народность и литература // Григорьев А. А. Эстетика и критика. М.: 1980. С. 196.

16 Григорьев А. А. Письмо к М. П. Погодину от апреля 1857 года в: Григорьев А. А. Письма. С. 127.

17 Григорьев А. А. Письмо к А. И. Кошелеву от 25 марта 1856 года. Там же. С. 106.

18 Григорьев А. А. Западничество в русской литературе, причины происхождения его и силы. 1836–1851 // Григорьев А. А. Эстетика и критика. С. 225.

Среди «глубочайших» проявлений русского народного духа, по мнению Григорьева, числится и раскол: «Православие еще *ist im Werden*, — пишет он В.Боткину в апреле 1856 года. — Его *старобрядчество* и *раскол* имеют без малейшего сомнения основания гораздо глубочайшие, чем те, которые высказываются и преследуются официально»¹⁹. И так, вполне понятен интерес, с которым критик принимает первое сочинение Шапова «Русский раскол старообрядчества». Здесь же — в еще не вполне проработанном идеологически контексте — впервые зазвучали ставшие впоследствии характерными для шаповской публицистики определения раскола, такие как «*церковно-гражданский демократизм*, под покровом мистико-апокалипсического символизма (...), многозначительное выражение народного взгляда на общественный и государственный порядок России»²⁰. Прилагательные «демократический», «гражданский» и «национальный» по отношению к сектам чередуются как синонимы на страницах шаповской брошюры. В одном из немногих сочувственных отзывов на эту книгу Григорьев подчеркивает в первую очередь идеологическую продуктивность подобных определений: проанализировав возникновение раскола как явление «столько же, если не более, политическое, как и церковное», сибирский критик «взял живую струю дела, струю, которую смутно чувствовали многие»²¹.

3

Вероятно, мало до кого за пределами Казани доходили точные сведения о первых публичных выступлениях Шапова периода 1860–1861 годов, вплоть до нашумевшей панихиды по убитым в Бездне (апрель 1861 года)²². Наконец, в октябре-ноябре 1861 года, в политически напряженный

19 Григорьев А. А. Письма. С. 110.

20 Шапов А. П. Сочинения. Т. 1. С. 174.

21 Русское слово. 1859. № 8. С. 58. Заметим, что идеологический ментор Григорьева, М. Погодин, будучи проездом в Казани в начале мая 1860 года, лично познакомился со Шаповым, о книге которого по истории раскола уже знал. См.: Вульфсон Г. Н. Глашатай свободы. Страницы из жизни Афанасия Прокофьевича Шапова. Казань: 1984. С. 27. Погодин и дальше интересовался деятельностью Шапова и в начале 1861 года (т. е. более чем за два месяца до скандальной панихиды) получил сведения от одного знакомого о том, «что [Шапов] не за родовой быт и не за Соловьева; он зарабатывает тоже элемент общинный (...) под наитьем (...) взглядов Искандеровских» (Барсуков А. П. Жизнь и труды Михаила Погодина. Т. 18. СПб.: 1904. С. 537).

22 О деятельности Шапова в это двухлетие см. Вульфсон Г. Н. Глашатай свободы. Гл. V.

момент в «Отечественных записках» появляется длинное эссе «Великорусские области в Смутное время», в котором щаповское понимание русской истории впервые получает адекватную формулировку: «Русская история, в самой основе своей, есть по преимуществу история областей, разнообразных ассоциаций провинциальных масс народа — до централизации и после централизации»²³. Речь идет уже не об одном расколе, который был отдельным, хотя и значимым явлением. Развертывание русской истории определяется раскрепощением русского общества, благодаря которому, по мнению Щапова, исконный местный плюрализм получит широкое развитие: «В настоящее время, один из самых отрядных результатов великого вопроса освобождения крепостного народа представляет начинающееся сознание необходимости пробудить провинциальную жизнь к местной самодеятельности, к местному саморазвитию»²⁴.

В текстах современников вряд ли можно найти более восторженный отклик на это выступление Щапова, чем у Григорьева, из далекого Оренбурга превозносившего «великолепное начало» статьи как «фактическое оправдание всего того, что думает о России и о ее истории Островский, что думал и гадательно высказывал я по своей чуткости». В образе России как сети самоуправляющихся местных общин заключаются, по мнению Григорьева, окончательные черты оригинальной идеологии почвенничества: «Что же вы (то есть “Время”) не залучите такого человека, как Щапов, который носит в себе целое, совсем *новое* и вполне народное направление? Как это журналу, толкующему непрерывно хотя и крайне неопределенно, о народности, не сойтись с ним?»²⁵

Неудивительно, что интерес к щаповским теориям скоро заразит самого Достоевского, который, вернувшись в августе

23 Щапов А. П. Великорусские области в Смутное время. С. 648. Идеологическим ядром статьи была нашумевшая в свое время вступительная лекция в Казанском университете (11 ноября 1860 года), где Щапов прямо объявил, что «не с идеей централизации, а с идеей народности и общности вступаю я на кафедру русской истории» и что «идея единой державности не заключается в понятии народности» (Щапов А. П. Неизданные сочинения. Общий взгляд на историю великорусского народа // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском ун-те. 1926. Т. 33. Вып. 2/3. С. 12, 17).

24 Щапов А. П. Великорусские области в Смутное время. С. 653.

25 Письмо А. А. Григорьева к Н. Н. Страхову от 21 декабря 1861 года в: Григорьев А. А. Письма. С. 269. Об одобрительном отзыве Герцена и Огарева на щаповскую статью см.: Китаев В. А. «Отечественные записки» в идейной борьбе начала 60-х годов XIX в. // Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. М.: 1978. С. 175.

из первого путешествия по Европе, получил заказанную еще до отъезда книгу «Русский раскол старообрядчества» вместе с другими книгами о расколе²⁶. Шаповская интерпретация раскола успела проникнуть в публицистику Достоевского уже в феврале, начиная с программной статьи «Два лагеря теоретиков», в полемике с неославянофильством Ивана Аксакова, который, по мнению писателя, односторонне превозносит допетровскую Московию: «Если московская жизнь хороша была, то скажите пожалуйста, что же заставило русский народ отвернуться от московского порядка вещей и повернуть в другую сторону? Одним словом, что произвело наш русский раскол». Дальше Достоевский подчеркивает коренной характер раскола как инстинктивного проявления народного духа, не поддающегося ни под одну современную политическую доктрину: «Что указывает нам русский раскол? Замечательно, что ни славянофилы, ни западники не могут как должно оценить такого крупного явления в нашей исторической жизни (...). Они не поняли в этом странном отрицании страстного стремления к истине, глубокого недовольства действительностию»²⁷.

На страницах «Времени» переоценка раскола в демократическом духе была открыта уже в самом начале 1862 года кандидатом богословия Казанской Духовной академии Н.Я. Аристовым, близким другом и последователем Шапова:

В древней Руси в каждой области существовало самоуправление, развивалась свободно-самостоятельная жизнь, обусловливаемая местностью, племенным характером, особенным родом занятий и деятельности и т.п. С усилением централизации эта самобытная жизнь должна была сглаживаться, подчиняться общему течению и уровню. Неохотно расставались областные жители с своею самостоятельностью и свободою, с своими правами и стремлениями, и стояли в оппозиции долгое время к новому для них началу централизации. В смутное время самозванцев рушилось насильственное соединение областей; каждая область стремилась усилиться и возвратиться к прежней самобытной жизни и приобрести свои старые права. Но вот, с Михаила Федоровича и особенно с Алексея Михайловича,

26 Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. Т. 1. СПб.: 1993. С. 377.

27 20; 20–21. Еще раз, в начале 1863 года, Достоевский называет «положительно хорошими» (там же, с. 67) статьи, которыми Шапов открывает новый журнал «Очерки» с призывом добиваться «всеобщего народного освобождения» путем реализации регионального самоуправления (Очерки. 1863. № 1).

централизация усилилась, и в это время, по собственному утверждению народа, ему казалось, что излились на Русь Православную все апокалипсические фиалы горести²⁸.

Радикализм выступления Аристово усугубляется пространным разбором первого издания «Жития» Аввакума (1861): автор превозносит опального протопопа как одного из «народных героев в борьбе против угнетения и неправды», которые, «руководствуясь порывами ума и совести на пути к самостоятельности и свободе развития (...) организовали свое демократическое общество, составили тесное братство на народных началах, стали в оппозицию правительству»²⁹.

В апрельском «Времени» (раздел «Наши домашние дела», формально возглавлявшийся А. Порецким, близким знакомым и поверенным Достоевского, но составлявший судя по всему с непосредственным участием последнего) пространно и вполне сочувственно цитируется статья Щапова «Русские самородки», в которой историк затрагивает вопрос о предстоящем возникновении в России новой интеллигенции и в перспективе нового правящего класса из низов народа, который будет выражать подлинный национальный дух после падения крепостного права и словных перегородок:

«Щедро наделена земля наша от природы естественными источниками и материями народного богатства и благосостояния», говорит г. Щапов (...). «Обильна умственная почва русского народа разнообразными богатствами, силами, талантами ума и дела, мысли и практики». Далее говорит он еще, что «в настоящее время пробуждающегося народного самосознания нам особенно нужны самородные умы»; что «эти самородные таланты могли бы вливать, вносить в жизнь новые богатые элементы свежей, самобытной мысли, народного опыта» и пр. «Гибнут бедняги самородки

28 Аристов Н. Я. По поводу новых изданий о расколе // *Время*. 1862. Т. 1. С. 76. Есть предположение, что «при журнале «Время» образовалась небольшая группировка казанского землячества (Аристов, Баканин, Сунгуров, Щапов), связанная через Сунгурова с революционным студенчеством» (Коган Г. Ф. Журнал «Время» и революционное студенчество 1860-х годов // Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования, «Литературное наследство». Т. LXXXVI, М. 1973. С. 583). Некоторые члены этой группы, по мнению того же исследователя, впоследствии служили прообразами Раскольникова и его окружения в первых набросках «Преступления и наказания». О Щапове Аристов написал ценнейший биографический очерк: Жизнь Афанасия Прокофьевича Щапова // *Исторический вестник*. 1882. №№ 10, 11 и 12.

29 Аристов Н. Я. По поводу новых изданий о расколе. С. 82.

наши в глуши, в захолустьях!» восклицает потом автор, пересчитывая малое число выбившихся на свет наших самородков, начиная с Посошкова и Ломоносова и оканчивая Кольцовым и Березниковым. «Такова уж их вековая горькая доля!.. Чтоб чаще и полнее, и мощнее, и шире проявляться самородным силам народа, сначала нужно было выбиться из неволи, добиться свободных прав»³⁰.

«Русские самородки» — важное программное заявление журнала «Век»³¹. Вокруг этого журнала, издававшегося на артельных началах и под руководством бывшего наставника Шапова и ведущего сотрудника «Современника» Г.З. Елисеева, объединилась целая плеяда культурных и общественных деятелей разнообразного направления, от известных тверских либералов А.И. Европеуса, А.М. Унковского и А.Ф. Головачева до сторонников нелегальных методов политической борьбы Н.А. Серно-Соловьевича и Н.В. Шелгунова. Участвовали в этой артели и писатели Н.Г. Помяловский, Н.С. Лесков, Н.В. Успенский, братья Н.А. и Н.Н. Потехины, будущий автор «Писем из деревни» А.Н. Энгельгардт³². В августе 1861 года Шапов писал о будущем журнале (предположительное название — «Мирской толк»): «Основная потаенная идея журнала общинно-демократическая, федеральная или союзная конституция русская. Основные начала его: мир, земство, уравнение прав и средств развития низших классов народа с высшими, сельские и мирские сходы и межгородные думы, всеобщие земские общедеревенские советы и пр. и пр.»³³.

Такая программа осуществлялась в журнале «Век» не только Шаповым, но и идеологически близкими ему Шелгуновым и Елисеевым. Проблема образования новой «послепетровской» социокультурной среды из людей, органически связанных с народом, была очень близка почвенникам, и Достоевскому в частности³⁴. Прочитав статью «Русские самородки», публицист «Времени» развивает

30 Смесь. Наши домашние дела. Современные заметки // *Время*. 1862. Т. 4. С. 41.

31 *Век*. 1862. № 9–10. Статья больше не перепечатывалась.

32 Подробнее см.: *Козьмин Б.П.* Артельный журнал «Век» // *Козьмин Б.П.* Из истории революционной мысли в России. М.: 1961.

33 Цит. по: *Линков Я.И.* Очерки истории крестьянского движения в России в 1825–1861 гг. М.: 1952. С. 246.

34 Впрочем, не только Достоевский интересовался «вековцами», но и наоборот: один из казанских сподвижников Шапова, юрист П.А. Муллов, предлагая общую реформу уголовной системы, ссылается на «Записки из Мертвого дома». См.: *Муллов П.А.* Вопрос о местах заключения арестантов в России (по поводу «Записок из Мертвого дома» Ф. Достоевского) // *Век*. 1862. № 9–10.

собственные соображения о своевременности завершения фазы чисто отрицательной критики старого строя: «Когда мы, принимаясь за самоосуждение, раскрыли подлежащие источники, то нашли в них такую обильную пищу, которая удовлетворила нас до пересыщения. Объевшись этим кушаньем, не видя близкого иссякновения источников, из которых льется это брашно, и чувствуя, что уже претит, мы конечно должны были ощутить потребность освежить вкус, а говоря проще — отыскать надежду на выход из душающей среды»³⁵.

С исчезновением старого социального связующего — крепостного права, традиционные черты сословно-бюрократического общества теряют значение, идеологические ориентиры и социальное самовосприятие представителей образованного сословия делаются зыбкими. Только мощный взлет социокультурных сил, освобожденных от искусственного подчинения и разъединения, обеспечит подлинное обновление страны: «Подняли голову, оглянулись кругом — все как-то полиняло, все потерявшие шелковые одежды с почерневшими галунами и разползающимися прорехами; происходит ломка и перестройка, пыль столбом, за ней не различишь хорошенько лиц и физиономий; надежда обрывается; плывучий грунт не держит ее якоря. Обратились вниз — якорь упал на плотный грунт, забрал и — слышались симпатические речи о народе. Стало быть, тут дело простое и понятное; понятна кажется и мысль о самородках»³⁶.

Трудно определить, кому принадлежат эти строки, но очевидна нить, которая связывает размышления о щаповских «самородках» с рядом высказываний Достоевского об упадке старого «петровского» строя и о грядущих «новых людях»: «Верхний слой русских людей уж никуда не годится, отжил свое время, иссяк исконною жизнью и только способен умереть, — проповедует князь Мышкин в салоне Епанчиных незадолго до финальной катастрофы, — но все еще в мелкой, завистливой борьбе с людьми... будущими»³⁷. Князю вторит Шатов, обращающийся к Ставрогину: «Идет новое поколение, прямо из сердца народного, и не узнаете его вовсе ни вы, ни Верховенские, сын и отец, ни я, потому что я тоже барич, я, сын вашего крепостного лакея Пашки»³⁸.

35 Смесь. С. 41.

36 Там же. С. 41–42.

37 8; 456–457.

38 10; 202–203.

Подобные прогнозы Достоевский высказывает от своего имени в теоретических и публицистических выступлениях: в марте 1868 года он замечает «столкновение страшное новых людей и новых требований с старым порядком»³⁹, а в «программном» эпилоге к «Подростку» (1875) приводится пример «Войны и мира» Льва Толстого как «миража» идеального дворянства, которое теперь может быть представлено только в рамках исторического романа: «Еще далее (...), и явятся новые лица, еще неизвестные, и новый мираж»⁴⁰. Аналогичный подтекст имеют повествовательные вкрапления в «Дневнике писателя» и другие мелкие произведения середины 70-х годов. Как уже отмечалось выше (см. «Достоевский-экономист. Часть 2»), в середине 1860-х годов Достоевский постепенно утрачивает надежду на историческое (федеративно-демократическое) самоопределение русской нации — ее сменяет все более мистически-надысторическое верование в возрождение под эгидой ирократии, культура военного подвига и мучеников за веру. При этом упование на «самородков» и «лучших людей» сохраняется, но приобретает совершенно другие черты (аскетический богатырь-крестьянин архаического эпоса) и иной смысл — империалистически-изоляционистский.

4

В октябре 1862 года Шапов выбирает журнал братьев Достоевских для одного из своих крупнейших манифестов — статьи объемом более 90 страниц под названием «Земство и раскол. Бегуны». В ней история двух последних веков последовательно описывается под знаком борьбы разных «форм империи» против «внутреннего, исторического, созданного свободным бытом народным состава и строя русского земства»⁴¹. Религиозные секты, по мнению Шапова, — это «общинно-демократическая народная оппозиция» русского земства, раздавленного в течение XVII–XVIII веков государственным централизмом и насильственной вестернизацией. Следовательно, разлагающим началом является не религиозный раскол середины XVII века, но навязываемое государством деление на сословия: не случайно, по мнению Шапова, что поворотный пункт — это первая ревизия душ 1718–1725 годов. Религиозное брожение,

39 28/2; 281.

40 8; 454.

41 Шапов А. П. Земство и раскол. Бегуны // Шапов А. П. Сочинения. Т. 1. С. 505.

наоборот, представляет собой попытку сохранения однородной традиционной культуры и гармоничного общественного строя: «Вследствие этого раскола, разобщения, разрознения в земстве, и раскол старообрядчества, раскол церковно- и земско-демократический развивался еще сильнее, и восстал против разделения человека на чины или на сословия, против ревизии душ, против самой перепуганицы земли русской»⁴².

В екатерининское время народная реакция на действия сословно-бюрократического государства была двойкой: с одной стороны — *тугачевищина*, «рьяный, сбойчатый, мятежный порыв несносно-сдержанных могучих сил народа к выходу из-под векового гнета»; с другой — «все так называемые мистические, *пророчествующие* секты»⁴³. Но если народные движения, неспособные к организованному и рационально осмысленному политическому действию, колеблются между разрушительным бунтом и мистическим уходом от мира, идеал общественно устройства, который Щапов приписывает им, пусть в полуосознанном и наивно выраженном виде, не заключает в себе ничего особенно утопического или радикального и сводится к определенному кругу политэкономических приоритетов вполне буржуазного характера⁴⁴: упразднение гильдий и свобода торговли, упразднение чинов и сословий и уравнивание гражданских прав (в первую очередь, права землевладения), самоуправление, в том числе судебное и налоговое, а также участие общин «в издании указов и грамот»⁴⁵, т. е. ограничение самодержавия не только на местном, но и на общегосударственном уровне.

5

Щаповская статья появилась в чрезвычайно сложном и бурном политическом контексте, который и определил ее ключевую идеологическую роль. Самое крупное явление тех лет — подготовка земской реформы — вызвало борьбу между разными общественными течениями,

42 Там же. С. 531.

43 Там же. С. 544.

44 Неслучайно Щапов апеллирует не только к «народному воззрению», но и к теоретикам, к А. П. Ж. Тюрго и основателю «русской политической экономии» Н. С. Мордвинову.

45 Там же. С. 572. Заметим, что платформа эта буквально списана с программной статьи Н. Огарева «Письма к соотечественнику» (Колокол. 1 августа 1860 года, см. особенно с. 643). Меняется только метафорика: утопично-социалистическая у Огарева, утопично-религиозная у Щапова.

становившуюся все более ожесточенной по мере того, как реформаторский подъем постепенно заканчивался, и правительство, в связи с майскими пожарами и усугублением польского кризиса, переходило на оборонительные позиции⁴⁶. В апреле 1862 года вместо Н.А. Милютина, просвещенного сановника и сторонника широкого межсословного самоуправления, был назначен председателем Комиссии по разработке земской реформы министр внутренних дел П.А. Валуев, политическим идеалом которого была сословная, квазиконституционная монархия при фактическом перевесе аристократии и, на уровне местной администрации, поместного дворянства. «Я боюсь, — признавался И.Аксаков в конце 1861 года, — чтобы министр внутренних дел, вместе с дворянами, не сочинил нам un beau matin аристократию»⁴⁷.

В частности, на выборах в земские учреждения Валуев пытался дать преимущество дворянам-землевладельцам по отношению к недворянам. Несмотря на то, что ближайшим образцом для министра была скорее всего австрийская политическая система, активная «продворянская» агитация в прессе велась под флагом английского self-government'a. Подобная установка, особенно характерная

46 О земской реформе см.: *Гармиза В.В.* Подготовка земской реформы 1864 г., М.: 1957; *Лаптева Л.Е.* Земские учреждения в России. М.: 1993; *Емельянов Н.А.* Местное самоуправление в дореволюционной России. М.: 1996.

47 Письмо к А.Д. Блудовой от 21 декабря 1861 года в: *Аксаков И.С.* Письма к разным лицам. СПб.: 1896. С. 222. Полная библиография о Валуеве в: *Шиллов Д.Н.* Государственные деятели Российской Империи. 1801–1917. СПб.: 2002. С. 122–123. Парадоксальным образом сам Валуев за два года до закрытия «Времени» «спас» Шапова от последствий его речи на панихиде и устроил его чиновником своего министерства по раскольничьим делам. По свидетельству великого князя Константина Николаевича, дело обсуждалось даже в Совете министров. См.: Переписка Императора Александра II с Великим Князем Константином Николаевичем. Дневник Великого Князя Константина Николаевича. 1857–1861. М.: 1994. С. 320 (Записка от 11 мая 1861 года). Вероятнее всего, участие министра к опальному бакалавру объясняется заступничеством со стороны попечителя Казанского учебного округа князя П.П. Вяземского, сына Петра Андреевича и шурина самого Валуева. Впрочем, Шапов скоро начал заводить такие знакомства и распространять такие идеи, которые не могли найти в Валуеве ни малейшего сочувствия: получив уже в январе 1862 года от министра народного просвещения А.В. Головнина некую статью Шапова, Валуев ее отвергает как «пахнущую за версту пугачевщиной» (*Валуев П.А.* Дневник, М. 1961. Т. 1. С. 138. Вероятно, речь идет о так и неопубликованной статье «Областные земские собрания и советы», см. в: Сборник статей, недозволенных цензурою в 1862 г. Т. 1. СПб.: 1862. С. 3–48). По свидетельству Аристова, его выступления производили «самое неприятное впечатление в министерстве внутренних дел. Тогда совсем прекратили выдачу жалованья Шапову (...), а потом пришло известие, что он отчислен из министерства» (*Аристов Н.Я.* Жизнь Афанасия Прокофьевича Шапова // Исторический вестник. 1882. № 11. С. 335).

для публицистики М. Каткова и «Русского вестника» в целом, была воспринята глубоко враждебно почвенниками, увидевшими в ней новое проявление сословно-бюрократического управленчества. Полемика против Каткова, «теймствующего в Москве», велась Достоевским-публицистом с антисословной позиции: «Может быть, “Русскому вестнику” это очень досадно, но английских лордов у нас нет. (...) Взаимной вражды сословий у нас тоже развиться не может: сословия у нас, напротив, сливаются»⁴⁸.

На самом деле позиция Каткова излагалась почвенниками полемически и в несколько упрощенном виде. «Англомания» московского публициста состояла не в призыве дублировать в России английские учреждения, но в сложной и детально разработанной программе законодательных преобразований (например, в установлении высокого ценза на земских выборах), в согласии с которой дворянство, теряя чисто сословные преимущества, сохранит политическое и экономическое лидерство как класс богатых землевладельцев: «Поземельная собственность известных размеров или известного ценза, вот основание для местного самоуправления»⁴⁹, — пишет Катков во время завершения разработки земской реформы. «Задача законодателя, нам кажется, состоит в том, чтобы с одной стороны освободить земские учреждения от сословного характера и тем оградить их навсегда от опасности сделаться мишенью в сословной борьбе, а с другой стороны поставить их так, чтобы если не по закону, то по силе вещей они остались в руках людей политически наиболее способных, то есть, преимущественно в руках лучших людей из класса теперешних дворян — помещиков»⁵⁰.

Для выступления против подобных взглядов как нельзя лучше подходили щаповские теории, и именно на вышеуказанные номера «Современной летописи» нападает Разин, глава отдела внутренней политики журнала «Время» с ноября 1862 года, в статье под заголовком «Недовольный мистер Катков» и с прямой ссылкой на Щапова: «Напрасно г. Щапов в своих статьях неоспоримо исторически доказывает, что всякое насильствие народных наклонностей отзывается болезненно и вызывает распадение, антагонизм, отчуждение. Но раз забравши в голову, что Россия должна быть перестроена на английский лад, с лордами и судейскими париками, “Русский вестник” знать ничего

48 19; 19.

49 Современная летопись. 1862. № 45 (7 ноября). С. 12.

50 Современная летопись. 1862. № 46 (14 ноября). С. 10.

не хочет и жить без лордства не согласен»⁵¹. О том же, хотя и несколько иносказательно, пишет Григорьев в этом же номере, указывая на то, «что раскрывает перед вашими глазами деятельность г. Шапова», опровергая идеализацию феодальной знати как поборницы свободы в романе «Князь Серебряный» А. Толстого (не случайно опубликованного в «Русском вестнике» в качестве манифеста дворянского либерализма)⁵².

Месяца через четыре, в последнем номере «Времени», Разин уточняет, какова почвенническая альтернатива «английскому проекту» Каткова и Валуева: «Олигархические учреждения с пренебрежением народа не только по обычаю, но по закону, никогда не могли бы привиться к России (...), ни один народ на свете не относится к свободе учреждений так просто и естественно, как наш народ (...). Поэтому-то с величайшим доверием к будущности русского народа мы ожидаем расширения общественных прав и расширения круга деятельности, предоставленной разным местным в Империи учреждениям»⁵³.

6

Борьба разных политических направлений объясняет и внезапное закрытие «Времени» после апрельского номера, формально последовавшее из-за якобы «полонофильского» выступления Страхова «Роковой вопрос»⁵⁴. Именно в марте 1863 года Валуев начал активные лоббистские маневры, чтобы склонить Александра II к преобразованию Государственного совета на началах австрийского Reichsrat'a (с выборными представителями от дворянства)⁵⁵, и его

51 *Разин Е.А.* Наши домашние дела // *Время*. 1862. Т. 12. С. 25.

52 *Время*. 1862. Т. 12. С. 52. И в последние годы жизни Григорьев неоднократно говорил о симпатии к Шапову, равно как и К. Н. Бестужев-Рюмин и другие историки «почвеннического» склада, выступавшие около середины 60-х годов. См.: *Григорьев А.А.* Плачевные размышления о деспотизме и о вольном рабстве мысли // *Григорьев А.А.* Одиссея последнего романтика. М. 1988. С. 363–364; *Григорьев А.А.* Длинные, но печальные размышления о нашей драматургии // *Григорьев А.А.* Эстетика и критика. С. 411.

53 *Разин Е.А.* Наши домашние дела // *Время*. 1864. Т. 4. С. 166–167.

54 Именно содержание этой статьи менее всего может объяснить поспешность и решительность Валуева в закрытии журнала: сам министр разделял основной тезис Страхова о необходимости бороться с поляками не столько силою оружия, сколько идеями и политическими улучшениями в самой России. См. записку от 6 декабря 1863 года в: *Валуев П.А.* Дневник. Т. 1. С. 259; там же, с. 311. См. также письмо Валуева к М. Н. Каткову от 5 декабря 1863 года: «Можно связать Варшаву и Вильно с Тамбовым, но сделать из них Тамбова нельзя!» (*Русская старина*. 1915. № 8. С. 422).

55 Проект опубликован в: *Вестник права*. 1905. № 11.

продворянский проект земской реформы готовился к обсуждению в Государственном совете, причем министр имел все основания для того, чтобы ожидать упорного сопротивления. Момент был щекотливый, и Валуев, к которому в течение 1862 года перешло руководство цензурой, менее всего был склонен терпеть противодействие своей политике со стороны прессы: «Это чистейший произвол, и уже не прежний, мелкочиновический (...), а произвол, вооруженный сильною властью министерскою», — жаловался цензор А. В. Никитенко и добавлял, что валуевская цензура «несравненно сильнее николаевской»⁵⁶.

Скандал, поднятый катковскими «Московскими ведомостями» против «Рокового вопроса», послужил поводом для того, чтобы одновременно избавиться от журнала, имеющего «вообще вредное направление»⁵⁷, и от чиновников цензурных ведомств, унаследованных Валуевым от министерства народного просвещения и не сочувствовавших его политике жесткого контроля над прессой⁵⁸.

Здесь и обрывается «щাপовская» тема у почвенников. После ухода Разина со сцены и установления идеологической гегемонии Страхова в новом журнале «Эпоха» почвенники переходят на консервативно-националистические позиции — тем более что взрыв польской революции в 1863 году как нельзя лучше доказал опасность игры с политической децентрализацией. Полемической мишенью для Достоевского с 1864 года становится уже не Катков, а «нигилятина» щедринского «Современника». В этом контексте Щапов оказывается идеологически непригодным⁵⁹: его идеи сменяют славянофильская историософия и, во второй половине десятилетия, имперская геополитика и биологический панславизм В. И. Ламанского, Н. Я. Данилевского, Ю. Ф. Самарина.

56 Никитенко А. В. Дневник в трех томах. Т. 2. Л.: 1956. С. 505.

57 Валуев П. А. Дневник. Т. 1. С. 226. О закрытии журнала см.: Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». Гл. XIV.

58 Речь идет в первую очередь о председателе петербургского Цензурного комитета В. А. Цеэ, близком сотруднике министра народного просвещения А. В. Головнина и вдохновителе в начале 1862 года «мягкой» линии по отношению к печати и стратегии постоянного «согласовывания» правительства с литераторами. О нем см.: Мезьер А. В. Словарь русских цензоров. М.: 2000. С. 121. Закрытие «Времени» и увольнение Цеэ вызвали одобрение консервативно настроенных писателей: см. Письма В. П. Боткина к И. С. Тургеневу от июня и июля 1863 года в: Боткин В. П. и Тургенев И. С. Неизданная переписка 1851–1869 гг. М. — Л.: 1930. С. 177–181.

59 Поздний Достоевский настроен критически к Щапову, «человеку без твердого направления деятельности» (24; 201). Такая неприязнь имела и личные основания: в анонимном некрологе Щапову (Дело. 1876. № 4) приводились оскорбительные высказывания умершего по поводу М. М. Достоевского, что и вызвало резкую реакцию Федора Михайловича. 22; 132–135.

Апология инстинктивной бессловности, солидарности русского народа и подозрительное, если не враждебное отношение к дворянству остаются идеологическим стержнем позднего Достоевского, однако его политической перспективой будет уже не демократическая федерация свободных общин, но агрессивная апология русской государственности как ядра будущей всеславянской империи.

Были ли славянофилы либералами?

Придется поневоле снять с себя либеральные украшения. Надобно будет сказать последнее слово системы, а это слово — православная патриархальность, не совместная ни с каким движением вперед.

*Т. Н. Грановский К. Д. Кавелину,
письмо от 2 октября 1855 года*

Ни Хомяков, ни кто-либо из нас никогда не высказывался против либерализма, либералов и всего того, чем ограждаются личные и имущественные права людей; мы даже упрекали западников в недостатке либерализма, ибо они навязывали народу учреждения, постановления и мнения, которым он нисколько не сочувствовал.

*А. И. Кошелев, «Записки»
(слова, притисываемые И. С. Аксакову)*

1

Определение славянофильства как *либерального* течения может показаться парадоксальным. Весь славянофильский идеологический комплекс (традиционализм, неприятие индивидуалистического и секуляризированного общества и договорно-представительской политической концепции) возникает и развивается в открытом противопоставлении всей «классической» либеральной традиции (от теории естественного права до утилитаризма), не говоря уже о либерально-конституциональном историзме конца XVIII — начала XIX века (скажем, от В. фон Гумбольдта до Ф. Гизо): ведь не только к Руссо и его последователям, но и к славянофилам могли бы быть отнесены критические замечания Б. Константа, который в противовес «коллективной свободе» античных народов и новых утопистов, основанной на «полном подчинении личности власти целого», превозносит «современную свободу» как исключительно частную сферу, связанную с пользованием собственностью и личными правами.

Более того, противопоставляя целой сфере юридических, политических и гражданских отношений (т.е. «государству») свой до- и внеполитический идеал «народа» как цельного и недифференцированного «организма», славянофилы, на первый взгляд, следуют августиновской модели «двух градов» и отвергают любые секулярные политические концепции. Их общественно-политические взгляды, казалось бы, еще более архаичны, чем политическая философия Фомы Аквинского, идеалом которого была власть, просвещенная благодатью и направленная к «общей пользе», и который ставил вопрос о формальном примирении различных интересов в политической и гражданской сфере. Для самих славянофилов, впрочем, подобная постановка вопроса была лишь идеологической проекцией той феодально-католической цивилизации, от которой «либеральная» Европа унаследовала все свои неизлечимые противоречия.

И все же парадоксу славянофилов, стоявших в политическом отношении «справа» от Фомы Аквинского, можно противопоставить другие парадоксы. Кто «либеральнее» — Т. Джефферсон, в 1776 году торжественно провозгласивший в Филадельфии «All men are created equal» и в то же время обладавший поместьями и рабами в родной Вирджинии, или же славянофил Ю. Ф. Самарин, который в конце 60-х годов XIX века составлял законодательный проект об уничтожении крепостного права в самой прогрессивной (и экономически выгодной для крестьян) форме из возможных на тот момент? Или кто «либеральнее» — западники Б. Н. Чичерин и М. Н. Катков, утверждавшие в 1862 году (на страницах журналов, субсидируемых царским правительством) политическую и общественную гегемонию дворянского сословия в пореформенной России, или славянофил И. С. Аксаков, один из самых смелых публицистов того времени, призывавший (при поддержке Достоевского и его сподвижников из журнала «Время») к уравниванию всех сословий, к полной свободе слова и народному самоопределению?

Неудивительно, что о «либеральности» славянофильской идеологии идут споры уже более ста лет¹.

2

С одной стороны, советскими и российскими учеными за последние тридцать лет была проведена огромная архивно-исследовательская работа, цель которой — определение

1 См. библиографию по данному вопросу в журнальном варианте статьи: Вопросы истории. 2002. № 9.

специфики славянофильской идеологии и ее отношения к другим общественно-политическим течениям. Однако дилемма славянофильского «либерализма» этим далеко не разрешается. Дело в том, что в советской политической науке было принято сводить либеральную идеологию к чисто экономической программе: слово «либерал» являлось синонимом «ревнителя капитализма». Многочисленные работы Е. А. Дудзинской и Н. И. Цимбаева не оставляют никакого сомнения в том, что славянофилы (или, по крайней мере, младшее их поколение) считали развитие капиталистических отношений в России неизбежным и даже желательным: одни из них (Ю. Ф. Самарин, В. А. Черкасский) играли активную роль в реорганизации пореформенного сельского хозяйства на основе предпринимательства и вольнонаемного труда, другие (А. И. Кошелев, И. С. Аксаков) искали политической поддержки (и финансовой помощи для своих издательских предприятий) в среде протобуржуазного купечества Москвы, что, между прочим, тоже указывает на явную «прокапиталистическую» (и значит, с точки зрения советского марксизма, весьма «либеральную») позицию.

Тем не менее крайняя эксцентричность общего славянофильского мировоззрения по отношению к этой экономической платформе заставляла большинство советских исследователей противопоставлять «утопическое ядро» славянофильства (религиозный интегрализм, дворянскую патриархальность, консервативный романтизм) его же конкретной реформаторской, и очевидно «либеральной», практике. Таким образом, эта «практика» лишается идеологической основы, поскольку славянофилы якобы придерживались ее *вопреки* своему утопическому консерватизму. Кроме того, остается непонятным, в чем же состоит идеологическая разница между славянофилами и их постоянными оппонентами — западниками: советские ученые вынуждены были выделять два вида «либерализма», понимаемого ими как простая «жажда капитализма». Попытки провести различие между «крупнопоместным либерализмом» славянофилов и «чисто буржуазным» либерализмом западников схематичны и не подтверждаются никакими объективными данными.

Западные же ученые, со своей стороны, определяют понятие «либерализм» преимущественно с этико-политической точки зрения — как утверждение личных прав и самой идеи «автономной личности». Соответственно, русский либерализм толкуется и определяется с внеклассовой и внеэкономической точки зрения как перспектива мирной общественной эволюции и постепенного достижения «общечеловеческих» ценностей, уже выработанных западной

цивилизацией. В этом случае очевидно, что славянофилы — не либералы, а истоки их реформаторского активизма остаются невыясненными. Те немногие западные ученые, которые принимаются за решение этого вопроса, неизбежно приходят к тем же самым выводам, что и советские марксисты, только с другого конца: получается, что идеология славянофилов «противоположна буржуазному либерализму», а их «практическая программа», наоборот, оказывается «своеобразным вариантом дворянского либерализма».

3

Таким образом, налицо два зеркально-противоположных диагноза славянофильской «шизофрении»: перед нами либо «буржуазно-либеральная» общественно-политическая программа, которая возникает и реализуется «вопреки» своему консервативному утопизму, либо утопически-консервативный «образ мысли», который «превращается в своеобразный вариант крупнопоместного пути развития». При этом сами славянофилы даже не подозревали о существовании такого «раскола» между теорией и практикой, считая свое мировоззрение единственной теоретической основой для «настоящего» либерального реформизма в России.

Итак, дело не только в том, чтобы установить на основе какого-либо заранее готового определения «либерализма», были ли славянофилы либералами, и если да, то до какой степени. Речь идет об изучении особых политических и общественно-экономических обстоятельств, при которых группа ярких и отнюдь не склонных к парадоксам мыслителей и общественных деятелей считала возможным, а пожалуй даже и необходимым, предложить либеральную программу преобразований в таких идеологических и философских категориях, которые в Западной Европе (и в самой России несколько десятилетий спустя) могли служить опорой лишь для крайней антилиберальной реакции.

Приступая к определению славянофильского либерализма, нам необходимо извлечь понятийные критерии из самого изучаемого материала. Во-первых, мы должны учесть характер исторической и общественно-политической эволюции страны, в которой славянофильство образовалось и в которой славянофилы собирались разворачивать реформаторскую деятельность. Известно, что у этой эволюции нет аналогов в историческом развитии Западной Европы, в которой либерализм, начиная с традиции физиократии и естественного права, возникает и развивается как

апология свободы индивидуума и собственника в противоположность старинным корпоративно-феодалным «свободам» и «старому режиму» в целом.

Совсем иначе обстояло дело в России: поколение пост-декабристской интеллигенции должно было бороться не с феодально-корпоративными порядками западного типа, а с обществом, в котором первоначальные общинно-родовые структуры были раздавлены и раздроблены авторитарной модернизацией Петра Великого, заменившего их искусственной иерархией совершенно разъединенных каст. В этой государственно-политической структуре общей фрагментации общественных связей соответствовала всеобщая бюрократическо-деспотическая нивелировка. Ясно, что подобная ситуация, которая вдобавок совпала с периодом очевидного застоя, а начиная с 20-х годов — с хроническим кризисом производительных сил, должна была оставлять у реформаторской интеллигенции ощущение «не-общества», или, по Герцену, «необозримой степи»: «иди, куда хочешь, во все стороны — воля вольная, только никуда не дойдешь»². Еще более определено высказалось по этому поводу Белинский в письме 1840 года, адресованном как раз будущему славянофильскому радикалу К. С. Аксакову: «Мы люди вне общества, потому что Россия не есть общество. У нас ни политической, ни религиозной, ни ученой, ни литературной жизни. Скука, апатия, томление в бесплодных порывах — это наша жизнь. Что за жизнь для общества вне человека? Мы ведь не монахи средних веков. Гадкое государство Китай, но еще гаже государство, в котором есть богатые элементы для жизни, но которое спелено в тисках железных»³.

В ответ на эту «потребность в обществе» западники предлагали идеал гибкого и всеобъемлющего «гражданского общества» как сферы посредничества и постепенного примирения личных интересов; и здесь, между прочим, необходимость развития «свободной личности» утверждается исключительно в соответствии с ее способностями к созданию общества. У первых либералов западного толка полностью отсутствует (если не учитывать отдельных случаев, например В. П. Боткина) типичная черта западного либерализма — превознесение «свободы» как независимости и самоценности частной сферы.

Ответом на эту же «надобность в обществе» были и идеи славянофилов. Они требуют «свободы» не для индивидуума

2 Герцен А. И. Повести и рассказы. М.: 1974. С. 188.

3 Белинский В. Г. Избранные философские сочинения. М.: 1941. С. 117.

и не от корпоративно-феодальных структур, отсутствующих в России, но для «земли», то есть для народа как некоего целого, свободно объединенного в общинно-родовые подгруппы: «Народ не имел у нас характера демократического, — писал К. Аксаков в 1857 году, в самый разгар подготовки реформ, — он не составлял низшего класса, как везде на Западе. Над народом у нас не было аристократии, которая везде была в чужих краях. У нас народ значит — все, весь мир, вся земля»⁴. Итак, свобода для «земли» как целого и от той неестественной смеси социальной атомизации и политического централизма — форма, которую приобрела Россия в результате реформ Петра.

В представлении как славянофилов, так и западников петровский порядок («тиски железные» — по В. Белинскому, «дело обезьянства» — по К. Аксакову) мог утвердиться в России только деспотическим образом, путем закрепощения общественных сил и систематического замедления свободного развития экономики. С его падением, как считали славянофилы, традиционные, не вполне уничтоженные общинно-родовые формы спонтанно воскреснут, разумеется, не для того, чтобы возвращать Россию к допетровскому *status quo ante*, а чтобы снова ступить на «правильный», давно прерванный путь общественного развития: «Славянофилы, — писал К. Аксаков, — думают, что должно воротиться не к состоянию древней России (это значило бы окаменение, застой), а к пути вперед! Там слово *назад* не имеет смысла»⁵. Как ни парадоксально, восхваление определенных сторон древнерусского политического устройства (например, *Уложения* 1649 года) гораздо более характерно для политических течений, диаметрально противоположных славянофильству, например для аристократического конституционализма конца 50-х годов.

4

Идеал славянофильства — это прежде всего солидарное общество с высокой степенью внутренней мобильности и самоуправления на основе местных общественных организаций. На политическом уровне любая конституционно-представительная перспектива отвергается как фактор индивидуалистического раздробления, временами обнаруживается стремление (правда, не слишком четко

4 Цит. по: Славянофильство: из истории русской общественно-политической мысли XIX века. М.: 1986. С. 159.

5 Там же. С. 237.

выраженное) к возрождению земского собора как «голова земли», который служил бы связующим звеном между царем (сакральная, объединяющая функция которого не подлежит сомнению) и «народом». Собрание это, следовательно, предполагалось как чисто совещательный орган и, главное, как орган, основанный не на индивидуальном избирательном праве, а на коллективном праве местных производительных общин. Показательно, что в середине 50-х годов XIX века К. Аксаков считал созыв земского собора несвоевременным: «Созвать в настоящее время земской собор было бы делом бесполезным. Из кого состоял бы он? Из дворян, купцов, мещан и крестьян. Но стоит написать имена этих сословий, чтобы почувствовать, как далеки они в настоящее время друг от друга, как мало единства между ними». Самарин разделял это мнение и предлагал вполне конкретные шаги к восстановлению гомогенного общества: «Надо пробудить от сна все производительные силы страны, как нравственные и умственные, так и материальные, уничтожив рабство (казенное и помещичье крепостное право), возвратив слово церкви, дав более широкое основание народному просвещению, преобразовав нашу подушную подать и тоже рекрутскую»⁶.

Еще более определенно и детально выражается Самарин в 1861 году — в условиях стремительного общественно-политического подъема, в то время, когда, напомним, западный фронт заметно «правел»:

После освобождения крестьян, которое могло быть исполнено успешно и мирно только самодержавной властью, нам нужны: веротерпимость, прекращение полицейской проповеди против раскола, гласность и независимость суда, свобода книгопечатания как единственное средство выгнать наружу все зараженные соки, отравляющие нашу литературу, и через это самое вызвать свободное противодействие искренних убеждений и частного здравомыслия. Нам нужны: упрощение местной администрации, преобразование наших налогов, свободный доступ к просвещению, ограничение непроизводительных расходов, сокращение придворных штатов и т. д.⁷

6 Там же. С. 246.

7 Самарин Ю. Ф. [По поводу толков о конституции]. // Самарин Ю. Ф. Статьи, воспоминания, письма. М.: 1997. С. 98. Статья написана в начале 1862 года в форме письма И. С. Аксакову — как протест против предполагавшегося (но впоследствии так и не состоявшегося) обращения московского дворянства с просьбой о даровании конституции.

Сам институт самодержавия оправдывается, по Самарину, не римско-католической доктриной о божественном происхождении власти, но определенными обстоятельствами русской истории. Считая теоретически возможным представительное ограничение самодержавия в будущем, Самарин полагает, что в настоящее время взаимная отчужденность и неприязнь между образованным меньшинством и массой народа угрожает превратить любую попытку введения конституции в олигархию или в бунт черни: «Сочувствие народа электрическим током тянет прямо к царю, через все посредствующие сословия, учреждения, общественные слои, не останавливаясь на пути своем *ни на чем и ни на ком*»⁸.

Стержневыми пунктами славянофильского реформизма были преодоление крепостного права и создание широкого и всеобщего местного (земского) самоуправления: «Мы переживаем теперь громаднейшую социальную революцию, — писал И. Аксаков в середине 1861 года. — Крестьянское дело — это такая реформа, которая по важности своей равняется только петровскому перевороту. (...) Земская жизнь пробудилась, в этом нет сомнения. Народ тронулся, как вешний лед. Навстречу этому движению можем идти только мы. (...) Все прочие, как бы они ни либеральничали, все наши столичные либералы и демократы, все остальные органы не могут сочувствовать пробуждающейся народной жизни»⁹.

Что же касается экономических перспектив России, славянофильская программа предусматривает что-то вроде «капитализма без пролетариата», а именно: а) ликвидацию всякого внеэкономического принуждения (например, крепостного права); б) смешанное земледелие, при котором общинная и частная (бывшая помещная) формы владения взаимно дополняют друг друга; в) развитие мелкой промышленности, распространенной по всей территории и допускающей, подобно земледелию, общинно-кооперативные формы. Благодаря появлению этой «диффузной» промышленности избыточное сельское население сможет дополнять земледельческий труд другими источниками дохода и избежать таким образом полной пролетаризации. Самарин с неподдельным пафосом обрушивается на воистину нелиберальные попытки насильственно преобразовывать общественно-экономическую структуру России на абстрактно выдуманный западно-капиталистический лад:

8 Там же. С. 97.

9 Цит. по: Славянофильство: из истории русской общественно-политической мысли XIX века. М.: 1986. С. 213.

Сегодня, например, кого-то озарила мысль, что жителям сел подобает быть хлебопашцами и что только в городах может существовать промышленность. Так действительно было в Германии, так должно быть и везде. Правда, что у нас на Севере, в течение полугода, земледельческие занятия поневоле прекращаются, и поселяне по необходимости должны обращаться к торговле и промыслам; правда также, что есть у нас целые губернии, для которых хлебопашество составляет лишь второстепенное подспорье, и что именно там встречаются богатейшие села, где в каждой избе заведена фабрика; но что до этого! Обычай не указ *науке*. *Наука* требует городов; подавайте нам города, мануфактуры, фабрики. (...) А что, если завтра другому книжнику почудится, что нам совсем не нужны ни фабрики, ни мануфактуры, что мы исключительно земледельцы, что наше дело пахать, пасти овец и топить сало, а все остальное мы должны получать от других? Бедная земля! Какой бесконечный ряд операций и опытов готовится для нее впереди, сколько ломки, противоречий, сколько ударов по самым чувствительным жилам, сколько даром погубленного труда, сколько напрасного насилия!¹⁰

5

Итак, были ли славянофилы либералами? В определенном смысле, на который мы постарались указать, разумеется, *да*. Может возникнуть естественное возражение, что определение «либерализм» является терминологически натянутым и не подходит для политической доктрины, не имеющей ничего общего с западной либеральной традицией, — хотя при определенных политических условиях она и могла играть модернизирующую и политически прогрессивную роль, которую в Западной Европе играл либерализм. На самом деле определенная связь между двумя течениями все-таки существует — речь идет о руссоистской традиции. Конечно, с точки зрения классического либерализма руссоизм представляется «ересью», особенно в своих крайних проявлениях (Кондорсе, Сен-Жюст или Мабли, который не случайно является постоянным предметом для нападок со стороны Б.Констана), но при этом он присутствует как постоянный объект размышлений у авторов великих либеральных систем конца XVIII — начала XIX века (Кант, Гегель).

¹⁰ Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. М.: 1996. С. 520. Слова эти были направлены против С. М. Соловьева, клеймившего славянофильскую программу как «антиисторическую» и «мистическую». См.: Самарин Ю. Ф. Шлецер и антиисторическое направление // Русский вестник. 1857. № 8.

У Руссо «общественный договор» не ограничивается примирением личных интересов, но создает настоящее «коллективное существо», управляемое непосредственным нравственным инстинктом народа (в противоположность эгоистическому «разуму»). Оно является единственным хранителем «воли» и «суверенитета», по отношению к которым индивидуум «принуждается к свободе», то есть становится полноценной личностью лишь по мере того, как способствует общему самоопределению народа. Ясно, что в круге вопросов, поставленных Руссо и развиваемых его последователями, славянофилы чувствовали себя как дома: «Лучшие славянофилы, — иронически отмечал уже Белинский, — высосали [свои] понятия из социалистов, и в статьях своих цитируют Жоржа Занда и Луи Блана»¹¹.

Нас не должна смущать характерная для славянофилов (и сама по себе «реакционная») акцентировка религиозно-интегралистских и неомифологических мотивов. Как замечает крупнейший исследователь немецкой «новой мифологии» XIX столетия, «расцвет мифических мировоззрений никогда не является простой реакцией, но указывает на то, что государство больше не в состоянии утвердить рационально свое обоснование перед гражданами»¹². В периоды общественно-политического застоя, когда возможности для реформаторской деятельности до крайности сужены, уход в миф представляется для определенных социальных групп мощным идеологическим рычагом и единственно возможной перспективой преобразования мира. Если учесть, что в том же направлении двигались и другие последователи Руссо, т.е. западные теоретики демократического «нового христианства», основанного на всенародной «церкви трудящихся» и долженствующего воскресить «органичность» средневековья на новых, «индустриальных» основах (Сен-Симон), становится ясно, в чем заключается разница между подобными «теократическими» попытками преодоления современной «раздробленности», с одной стороны, и с другой — неприятием современности, характерным для идеологов католического традиционализма времен Реставрации: у *первых* (Ж. де Местр, Ф. К. Баадер, поздний Ф. Шлегель и их русские последователи С. С. Уваров и С. П. Шевырев) «органическая» утопия была основана на восстановлении божественного права, патримониального государства и феодальной ренты; у *вторых* — на общинном самоуправлении народа

11 Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. Т. 12. С. 468.

12 Frank M. Die Dichtung als «Neue Mythologie» // Bohrer K. H. Mythos und Moderne. Frankfurt a. M.: 1983. S. 35.

и на его активном участии в социокультурной и хозяйственной деятельности.

И все же славянофилы принимали общую схему руссоизма и следующих за ним социальных доктрин не для того, чтобы способствовать развитию общества в радикально-демократическом направлении, а наоборот, чтобы *избежать* подобного развития: западные социальные утопии толкуются славянофилами как «потребность какого-то крепкого, самостоятельного начала, собирающего личности», как «тоска» Запада по безвозвратно потерянному цельному и органическому обществу и как попытка заменить его «условными, искусственными ассоциациями» (Самарин). Для России же общинная цельность — прошлое недавнее и все еще живое в крестьянских общинах и в церковном учении о соборности. Полное восстановление этой цельности во всех сферах политической и общественной жизни предохранило бы страну от противоречий и дилемм либеральной Европы и обеспечило бы постепенный и гармонический прогресс, свободный от социальных противоречий и революционных потрясений: «В России единственный приют торизма — черная изба крестьянина», — пишет Самарин в замечаниях на книгу Алексиса де Токвиля «Старый порядок и революция»¹³.

С 1835 по 1840 год — приблизительно в то же время, когда в России формировался идеологический «двуликий Янус» (Герцен), определивший и славянофильское, и западническое течения, — во Франции публиковалась работа «Демократия в Америке», в которой молодой Токвиль объявил о необходимости «новой политической науки для уже обновленного мира», т.е. о необходимости «расширения» либерализма, его примирения с демократическими требованиями — дабы сделать его способным сопротивляться возрастающей угрозе эгалитарного радикализма. Токвиль подходит вплотную к руссоистской проблематике, противопоставляя теоретическому конструированию демократической утопии, к которой историко-политическая действительность должна подгоняться посредством революции, эмпирическое описание уже существующей американской демократии. Эта демократия основана отнюдь не на всеобъемлющем «общественном теле» Руссо, а, наоборот, на принципах индивидуализма и независимости, еще неизвестных старой Европе, ведущая роль которой во всемирной истории, по Токвилю, приближается к концу — на смену ей

13 Цит. по: Славянофильство: из истории русской общественно-политической мысли XIX века. М.: 1986. С. 205.

приходят Америка и Россия. Итак, цели и стратегия у французского либерала и у славянофилов (которые испытывали к нему постоянный интерес и большое уважение) одинаковы, хотя идеологические точки опоры диаметрально противоположны: с одной стороны — американский индивидуализм, с другой — русская общинность. Если классическая либеральная традиция старой Европы образовалась в борьбе с феодально-корпоративным обществом, а одержав победу, потеряла способность к дальнейшему развитию, то в странах, никогда не знавших феодализма, либерализм нового типа сможет, надеялись они, выработать идеологические и общественные модели, способные отразить грядущий удар со стороны эгалитарного радикализма.

«Деньги до зарезу нужны»: темы денег и агрессии в «Братьях Карамазовых» (опыт статистического анализа)¹

¹ Полная версия этой статьи (с таблицами и сводными кривыми) будет опубликована в журнале *Philologica*. Т. 9. №. 21-22.

Я убежден и готов поспорить со всяким: дайте мне книгу, но не показывайте ее заглавия, я прочту несколько стихов и путем стилистического анализа, анализа прилагательных и авторской манеры поэта, сумею Вам описать его политическую позицию, разумеется, не с абсолютной точностью, но с довольно близкой степенью приближения.

*П. П. Пазолини*²

0. Постановка вопроса

Возможно ли — и если да, то каким образом —

1) количественно измерить одно или несколько семантических полей какого-либо литературного произведения;

2) установить процентные соотношения между семантическими полями текста, а также между каждым из них и текстом в целом;

3) провести статистический анализ развития этих отношений в сюжетной динамике;

4) сделать герменевтические выводы из данного анализа?

В полном соответствии с позитивистской утопией интегральной математизации гуманитарных наук, Б. И. Ярхо считал «вопрос об измерении концепции» путем статистического метода единственной задачей поэтики³. Он определяет «концепцию произведения» как «идею или представление об эмоции, служащие для связывания сюжетобразующих элементов»⁴. Принципам, которыми нужно руководствоваться при измерении «концепций» или «эмоционального тона»⁵ произведения,

2 *Pasolini P.P.* Una discussione del '64' // Pasolini P.P. Saggi sulla politica e sulla società. Milano: 1999. P. 748–785. Перевод мой. — Г. К.

3 *Ярхо Б. И.* Методология точного литературоведения: Избранные труды по теории литературы. М.: 2006. С. 46.

4 *Ярхо Б. И.* Простейшие основания формального анализа // *Ars poetica*. I. М.: 1927. С. 24.

5 *Ярхо Б. И.* Методология точного литературоведения: Избранные труды по теории литературы. М.: 2006. С. 125.

Ярхо посвятил хорошо известный декалог, в предельной форме воплотивший идею формального метода в поэтике и примененный им при сравнительном изучении средневековых рыцарских поэм и в работе о драматургии Корнеля⁶.

Не входя в подробности теоретической дискуссии о возможностях и границах «точных методов» в гуманитарных науках⁷, я лишь замечу, что если в стиховедении прозрения Ярхо принесли многочисленные плоды, то метод сравнительного измерения семантических полей — который можно было бы назвать с е м а с и о м е т р и к о й — так и не получил должного развития. Причину этого угадать несложно. Все аналитические методы, разработанные Ярхо, требуют немалых затрат труда, но «взвешивание» семантических полей по трудоемкости превосходит даже их: ведь оно предполагает тотальную квантификацию как текста в целом, так и его частей, разбитых по семантическим группам. До появления электронных носителей информации было невозможно провести подобную операцию над текстами значительно объема: недаром Ярхо работал со средневековым эпосом и классицистическими трагедиями, то есть со сравнительно небольшими сочинениями, где немногочисленность и однообразие предложений облегчает изоляцию семантических групп. Без новейших компьютерных средств произведения большей протяженности и с более сложной семантикой могли быть предметом лишь выборочного анализа: сам Ярхо предлагает «взвесить» прозу Льва Толстого на основе выборки в 120 000 печатных знаков⁸, то есть, надо полагать, максимального — с его точки зрения — объема, при котором трудоемкость работы окупается ожидаемыми результатами.

1. Предмет

В первой части этой книги, анализируя разные подходы Достоевского (романиста и публициста) к теме денег, я заметил, что повсюду — в форме государственного пятипроцентного билета или «радужных» сторублевых купюр — деньги связаны с актами насилия и произвола и что

6 Там же. С. 123–127. Ср.: с. 365–368, 405–410.

7 См. например: Шапир М. И. «Тебе числа и меры нет»: О возможностях и границах «точных методов» в гуманитарных науках // Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения: Избранные труды по теории литературы. М.: 2006; Гладкий А. В. О точных и математических методах в лингвистике и других гуманитарных науках // Вопросы языкознания. 2007. № 5; Перцов Н. В. О точности в филологии // Вопросы языкознания. 2009. № 3.

8 Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения: Избранные труды по теории литературы. М.: 2006. С. 127.

персонажи не заинтересованы в богатстве как таковом. Деньги, полученные способом, далеким от какого-либо производственного процесса, сами по себе не имеют и не могут иметь ценности: ведь их обладатели не ставят себе целью накопить капитал, то есть вложить их в какую-либо деятельность, чтобы получить добавочную стоимость. Деньги в творчестве Достоевского — объект непроизводительной спекуляции, в силу чего они превращаются в символ и катализатор хаоса, а их аккумуляция (или расходование) является лишь атрибутом влечения к смерти.

Циркуляция непроизводительного богатства, лишенная самостоятельных целей, — придаток тех психических склонностей, которые Ярхо определял как «мизантропические чувства»⁹; по Марксу, «(...) деньги, грязь и кровь сливаются в один поток»¹⁰. Априори соотношение денежной темы и темы агрессии может показаться односторонним и предвзятым. Поэтому попытаемся статистически измерить упомянутый «поток» в произведениях Достоевского, его направление, внутренние движения, водороты и мели. «Я хочу оставаться при факте, — говорит Иван Карамазов Алеше. — Я давно решил не понимать. Если я захочу что-нибудь понимать, то тотчас же изменю факту, а я решил оставаться при факте...»¹¹ В отличие от Ивана Федоровича я убежден, что решение «остаться при факте» отнюдь не мешает пониманию, но, наоборот, является его важнейшим предварительным условием.

2. Метод

Информационные технологии могут помочь при подсчете повествовательных единиц и при проведении статистических операций над текстом, однако тем их роль и ограничивается. Затруднительно, например, прибегать к информационно-компьютерным методам при выборе и маркировке семантических полей. В отличие от иных, более или менее предсказуемых риторических систем вроде рыцарских поэм, реалистическая проза XIX века семантически весьма тонка и изменчива; например, в концовке «Бесов»: «Гражданин кантона Ури висел тут же за дверцей»¹² — ни одна лексема не указывает прямо на самоубийство.

9 Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения: Избранные труды по теории литературы. М.: 2006. С. 365.

10 Маркс К. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 гг. М.: 1985. С. 30.

11 14; 222.

12 10; 516.

Выбор и маркировка семантических полей основаны на непосредственной экзегезе. Тем не менее исследователь обязан придерживаться принципа, который в свое время выдвинул Ярхо: «Идея должна быть *expressis verbis* выражена в тексте произведения: только тогда можно сказать, что она в нем наличествует. Выводить ее путем произвольной экзегезы — бесплодное занятие»¹³. Фрейдист в полном праве счесть любое острое или тупое оружие у Достоевского подсознательным фаллическим символом, но было бы курьезом учитывать это при статистическом анализе сексуальной тематики в его произведениях.

Вопрос лишь в способе «одискречивания»¹⁴ смыслового континуума. По словам Д. С. Лихачева, «для того, чтобы научная теория могла считаться точной, ее обобщения, выводы, данные должны опираться на какие-то однородные элементы, с которыми можно было бы производить различные операции (комбинаторные, математические в том числе). Для этого изучаемый материал должен быть формализован»¹⁵. Поэтому особенно важна номенклатура о т б о р а, очерчивающая классы «однородных элементов». Она может основываться на трех критериях: семантическое поле, адресант и адресат данного высказывания. В нашем случае имеются следующие варианты:

1) семантические поля — D (деньги) и M (мизантропические чувства). В свою очередь, M следует разделить на: M_0 — отрицательные эмоции общего характера (тревога, страх, гнев и т. д.), M_2 — вербальная агрессия (имплицитная и эксплицитная), M_4 — физическая агрессия (имплицитная или эксплицитная), M_8 — убийство (имплицитное или эксплицитное), M_{10} — самоубийство (имплицитное или эксплицитное)¹⁶;

2) адресанты — n (повествователь), a (Алеша), d (Дмитрий), g (Грушенька), i (Иван), l (Лиза), f (Федор Павлович), s (старец), t (Катерина), v (Смердяков), z (прочие или коллективный адресант);

3) адресаты — они же.

13 Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения: Избранные труды по теории литературы. М.: 2006. С. 123.

14 Шапир М. И. Universum versus: Язык — стих — смысл в русской поэзии XVIII–XX веков. М.: 2000. С. 91–93.

15 Лихачев Д. С. Литература — реальность — литература. Л.: 1984. С. 246.

16 Первоначально я выделил 11 типов мизантропических чувств, обозначив их нарастающую интенсивность номерами от 0 до 10. В настоящей работе я ограничился пятью разновидностями M , сохранив, однако, их маркировку для того, чтобы иметь возможность сравнивать полученные данные с другими подсчетами.

К сожалению, точная маркировка референта высказывания, то есть лица, к которому относится содержание высказывания, «того, о ком идет речь», не представляется возможной: слишком часто референт изменчив, не определен или коллективен. Это обстоятельство, конечно, налагает ряд серьезных ограничений на процесс выборки: например, в главе 4.12.11 («Денег не было. Грабежа не было») доля текста, посвященная деньгам, достигает исключительно высокого уровня в 45,59% и, разумеется, касается многих адресатов, но невозможно отделить их друг от друга и определить дискретные текстовые отрезки. Поскольку данная глава состоит из речи, которую защитник Дмитрия обращает к публике и присяжным, весь словесный материал, касающийся денег, будет инвентаризован как *Dzz*.

Как проводить отбор? Ясно, что любой подход будет носить условный характер. Логичнее всего, мне кажется, разбивать текст на простые предложения: выделено будет каждое простое предложение, эксплицитно касающееся темы денег или агрессии. Если о данном предмете говорится в главной клаузе сложного предложения, маркировано будет целое предложение; если в предложении, выделенном по одной теме, находится подчиненная клауза, выражающая другую релевантную тему, эта клауза маркируется отдельно по своей теме.

Как считать? Отобранные клаузы и сложные предложения можно «взвешивать» по лексемам (словам) или по графемам (печатным знакам). При всех аргументах в пользу лексем, для настоящего, первого эксперимента я выбрал печатные знаки, ибо они допускают максимальную точность: например, синтагмы *мне нужно* и *испытываю необходимость* содержат по две лексемы, однако состоят из, соответственно, 9 и 23 графем. Во всяком случае, в больших словесных отрезках оба способа подсчета приводят к почти идентичным процентным соотношениям. Процентные соотношения семантических полей исчисляются по главам, таким образом складывается общий график процентного развития каждого поля по всему роману¹⁷.

Не будучи специалистом по статистике, я ограничусь здесь опытом литературной герменевтики: статистические приемы, которые я использую, весьма тривиальны и имеют вспомогательный характер. Тем не менее не исключено, что они, при всей своей элементарности, могут помочь исследователю при установлении структур

17 Выражаю глубокую благодарность другу и ученице Франческе Вазелли за помощь в изнурительных подсчетах.

и процессов, ускользающих от непосредственной интуиции: уже князь Мышкин знал, что «очень часто только так кажется, что нет точек общих, а они очень есть»¹⁸.

3. Деньги

А. Я. Шайкевич¹⁹ обратил внимание на то, что слово *деньги* играет в произведениях Достоевского необычайно большую роль: оно занимает 15-е место по частоте среди существительных (99 на 100 000 словоупотреблений). При этом «в литературных текстах [Достоевского] мы наблюдаем явную связь *денег* со словами, ассоциируемыми с преступлением: *вор, воровать, грабеж, ограбить, подсудимый, окровавленный, убийца, убить*»²⁰.

Экономическая тема (*D*) в «Братьях Карамазовых» «весит» в среднем: $\mu D = 6,14\%$. Диапазон вариации (ω , то есть разница между максимальной и минимальной вариантой, или внутригрупповая дисперсия переменных) весьма широк: $\omega = 45,59$. Это делает общую среднюю по роману мало значимой, тем более что среднее квадратичное отклонение (σ , standard deviation, или полоса относительной «нормальности» выше и ниже среднего арифметического, «нормальный» размах колебаний), вычисленное по всем данным, достигает $\sigma = \pm 7,88$: величина явно бесполезная и по своей излишней широте, и потому, что опускает нижнюю границу «полосы нормальности» до $D < 0$ ²¹.

Весьма продуктивным представляется совет Ярхо разбивать общий диапазон колебаний по квартилям (*q*) и затем q_1 и q_3 дробить надвое, распределяя все данные по пяти «оценочным зонам»: «малые» (первая половина q_1), «ниже среднего» (вторая половина q_1), «средние» (q_{1-3} или δq), «выше среднего» (первая половина q_3), «большие» (вторая половина q_3)²². Если исчислить среднюю и среднее квадратичное отклонение без первого и последнего полуквартелей, получаются $\mu D = 4,59\%$ и $\sigma = \pm 3,86$. Итак, *п о л о с а с т а б и л ь н о с т и* экономического семантического поля — это $0,73\% \leq D \leq 8,45\%$. Более узкий отбор можно проводить по «сред-

18 8; 24.

19 Шайкевич А. Я. Пространство семантических словарей // Язык как материя смысла: Сборник статей к 90-летию академика Н. Ю. Шведовой. М.: 2007. С. 704.

20 Там же. С. 705.

21 О трактовке этих понятий в литературоведении см.: Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения: Избранные труды по теории литературы. М.: 2006. С. 152–153.

22 Там же. С. 153–158.

ней» зоне δq : таким образом, $\mu D = 3,78\%$ и $\sigma = \pm 2,35$. Полоса безусловной нормальности экономического семантического поля — это $1,43\% \leq D \leq 6,13\%$.

Проанализируем теперь процентные вариации наших рубрик по главам. В первых четырех главах, где автор представляет нам главных героев, тема денег сразу вторгается в текст, причем в поражающем воображение масштабе: $\mu D (1.1.1-1.1.4) = 14,76\%$. Отношение к деньгам тесно увязывается с теми чертами поведения и характера, которые предопределяют судьбу главных героев: невротическое барышничество Федора Павловича; разнузданная склонность к непроизводительному расточительству — как денег, так и собственного существования, — выраженная во всем поведении Дмитрия; внешне спокойная и блаженная уравновешенность Алеши; травматическое осознание собственной бедности, всю жизнь сопровождающее Ивана.

С главы 1.1.5 до 1.2.2 (начало спора главных героев в присутствии старца Зосимы) мы находимся в полосе стабильности, так как в последующих главах 1.2.3–1.2.5 (встреча старца с богомолками и изложение теократической утопии) денежная тема почти сведена на нет. Это наводит на требующую дальнейшей верификации мысль, что закрытый монастырский мир в романе сам по себе совершенно чужд деньгам и им противопоставлен, но когда в него вторгаются «миряне», привнося с собой тему денег, развитие этой темы стабилизируется и становится подконтрольным, что коррелирует с теократической утопией Ивана, в которой церковь призвана подавлять мизантропические инстинкты человека.

Однако монастырское затишье оказывается недолгим: в 1.2.6 тема денег возникает опять (пусть и в полосе стабильности). Главы 1.2.7–1.3.2 составляют своеобразную интерлюдия, в которой у денег нет специфических коннотаций, но, как только появляется Дмитрий со своими «исповедями» перед Алешей, данная тема буквально врывается в повествование: в главах 1.3.3–1.3.5 $\mu D = 11,33\%$, с 1.3.5 — больше 20%. В отрезках романа, посвященных деятельности Мити, тема денег присутствует в среднем выше полосы стабильности, совершая при этом судорожные скачки.

Экономическая тема снова стабилизируется в длинной секции 2.5.4–3.7.4 (свыше 300 000 печатных знаков): здесь $\mu D = 4,05\%$, и, за исключением 2.7.1 (похороны старца, где, разумеется, деньги не играют особой роли) и 3.7.3 (D выше среднего, ибо введение в роман Грушеньки требует и отчета о ее корыстных аферах), все главы не выходят за пределы полосы нормальности.

Эти тематически разнообразные главы разделены двумя основными, зеркально противоположными проповедями — «бунтом» Ивана и «житием» старца — и скреплены сквозным образом Алеши, который именно здесь совершает большую часть своего духовного пути: подобно старцу, Алеша не упраздняет тему денег — волей-неволей необходимых в мире вне монастыря, — но приближает ее к среднему показателю, нейтрализует, как бы обезвреживает разрушающую силу денег в «подведомственных» ему главах.

Все это соответствует тому, что проповедовал в то время сам Достоевский. В августе 1880 года Достоевский пишет в «Дневнике» духовное завещание — «Объяснительное слово» по поводу «Речи о Пушкине», в котором автор подчеркивает не «экономический», но «*нравственный*» характер обязательств, руководящих русским человеком в его деятельности во имя всеобщего спасения: «Основные нравственные сокровища духа (...) не зависят от экономической силы»²³. Необходимо быть в курсе происходящих экономических процессов, но только для того, чтобы угадать в них эпи феномены гораздо более глубоких антропологических потрясений²⁴.

Неудивительно, что, как только мы перейдем к книге 8 и к перипетиям Митиной судьбы, «денежный поток» выйдет из установленных Алешей рамок: при $\mu D = 9,44\%$ в данной книге величина D сильно колеблется — почти всегда в q_3 . Многозначительным исключением является 3.8.4, глава так и не состоявшегося отцеубийства, где D падает до 0,42%: в решительную минуту, когда «дьявол с богом» вступают в финальную схватку в Митином сердце, денежный поток будто затихает на время, чтобы сразу после вновь зашуметь с удвоенной силой. В разнообразной по содержанию книге $9D$ заметно колеблется при высоком $\mu D = 10,6\%$, достигая апогея в главах, где Митю допрашивают о происхождении роковых 3000 (или 1500) рублей, и лишь в заключительной главе 3.9.9 тема возвращается в полосу стабильности, таким образом свидетельствуя о вновь приобретенном духовном равновесии персонажа.

Ситуация радикально меняется в книге 10, где D почти отсутствует (общее $\mu D = 0,23\%$): мир детства и ранней юности, подобно монастырскому миру, непроницаем для денег. Книга 11 возвращается

23 26; 131–132.

24 См.: Карпи Г. Достоевский-экономист. Гл. «Между Коробочкой и Марией Египетской». Наст. изд. С. 113.

в полосу нормальности при доминировании сюжетов, связанных с Алешей (в главах 4.11.1–4.11.5 $\mu D = 2,54\%$), но во второй половине книги, сосредоточенной на Иване и его «свиданиях», денежная тема (общее $\mu D = 4,95\%$) образует любопытную параболу, сопровождая постепенно усугубляющийся психический недуг персонажа и исчезая наконец в момент его умопомрачения.

По свершении его судеб главных героев развитие экономической темы становится менее последовательным, в отличие от тех фрагментов текста, в которых деньги предопределяют жизненные перипетии различных персонажей: разумеется, деньги — важнейшая тема разговора во время суда (книга 12, $\mu D = 11,25\%$), но о них говорят почти исключительно повествователь или посторонние лица ($D_n = 2,4\%$, $D_z = 7,5\%$; вместе они занимают 88,17% всего объема D). В эпилоге μD падает до 1,37%, то есть ниже полосы нормальности, и общее тематическое поле D постепенно исчезает.

4. Агрессия

Общее среднее по всему роману $\mu M = 10\%$. Если экономическая тема — предмет достаточно однородный и как таковой легко прослеживается, то величина M , то есть «тема агрессии (разрушения или саморазрушения)» (определение М. И. Шапира), — предмет весьма разнородный. Поскольку M является простой суммой различных склонностей, мыслей и действий (от неопределенного плохого настроения до совершения убийства и/или самоубийства), было бы наивно ожидать приемлемых результатов без предварительной разбивки M на составляющие и без анализа процентных данных по каждому персонажу. Не лишним будет уточнить, что «проанализировать персонажа» значит учесть как его собственные слова (Ma, Md, Di, Dg etc.), так и рассказ о нем повествователя (Mna, Mnd, Dni, Dng etc.): тогда семасиометрически релевантные формулы будут выглядеть ($Ma+Mna$), ($Dg+Dng$) и т.д.

В отличие от D в данном случае предпочтительно не работать над «средними» полосами частотности (они малопоказательны при столь гетерогенном материале), но сосредоточиться на крайней полосе. Чтобы проверить, до какой степени разнородно семантическое поле M , достаточно бегло рассмотреть главы, где оно присутствует в большей степени, то есть последний полуквартиль при $M \geq 19,14\%$. В порядке возрастания получим:

1.3.9 («Сладострастники»). $M = 19,16\%$, при этом $2/3$ составляет M_8 (11,55%) и $1/3$ — M_4 (6,75%). Драка и обмен

смертельными угрозами отличают в убывающем порядке Ивана (9,5%), Дмитрия (5,98%) и Алешу (3,4%): неудивительно, что ведущую роль играет тот герой, который станет предстоящим вдохновителем преступления.

2.5.6 («Пока еще очень неясная»). $M = 20,02\%$. Здесь лидирует M_0 (15,03%): тревога Ивана (выступающего с $Mi+Mni = 17,92\%$), порождаемая предчувствием смерти ($M_8 = 3,31\%$).

3.9.6 («Прокурор поймал Митю»). $M = 20,96\%$. Здесь превалирует тревога Мити ($M_0 = 10,47\%$), а не специфическая тема отцеубийства ($M_8 = 3,98\%$). Зеркально противоположно положение в тематически близкой 3.9.3 («Хождение души по мытарствам. Мытарство первое»): здесь $M = 21,45\%$, составленное из $M_8 = 12,65\%$ и из $M_0 = 7,07\%$.

4.10.7 («Илюша»). $M = 22,40\%$, где, конечно, доминирует отчаяние, вызванное Илюшиной агонией ($M_0 = 16,21\%$), не без значительного комического противовеса в виде Колиных глумлений над злополучным «лекарем» ($M_2 = 5,74\%$).

4.11.7 («Второй визит к Смердякову»). $M = 25,18\%$, где тема отцеубийства ($M_8 = 14,35\%$) сопровождается и другими формами мизантропии ($M_0 = 5,97\%$, $M_4 = 3,58\%$, $M_2 = 1,24\%$). Тем не менее (само)разрушительные склонности Ивана скоро найдут свой центр тяжести: в следующей главе («Третье, и последнее, свидание со Смердяковым») общий показатель мизантропии ниже ($M = 16,72\%$), но в ней отцеубийство превалирует уже подавляющим образом ($M_8 = 11,00\%$).

4.12.7 («Обзор исторический») и 4.12.8 («Трактат о Смердякове»), соответственно $M = 25,80\%$ и $38,53\%$, целиком посвящены обвинительной речи на суде и, следовательно, превалирует M_8 , с малой долей участия темы самоубийства в 4.12.8 ($M_{10} = 2,97\%$).

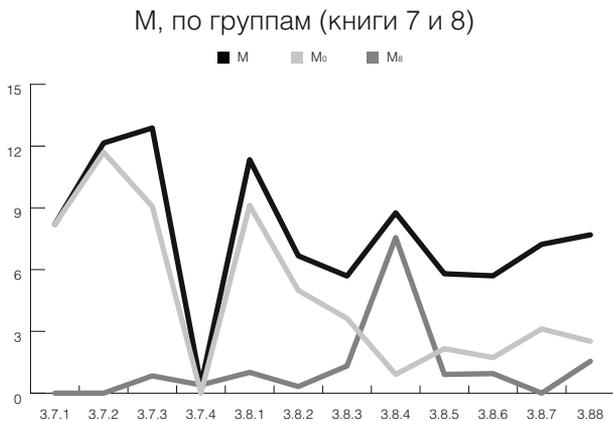
4.11.3 («Бесенок»). $M = 30,92\%$. Глава почти полностью посвящена мизантропическим склонностям Лизы; ее показатель — ($Mi+Mni$) = $27,77\%$, на грани маниакально-депрессивного синдрома: $M_8 = 14,42\%$, $M_0 = 10,89\%$, $M_4 = 3,5\%$, $M_2 = 0,26\%$. Можно предположить, что Достоевский собирался использовать и развить столь богатый мизантропический потенциал данного персонажа в так и не написанном продолжении романа.

2.5.4 («Бунт»). $M = 32,98\%$. Навязчивые ананказмы Ивана (обсессивные монологи которого монополизируют мизантропическое поле на $Mi+Mni = 32,52\%$) обладают столь же пестрой «спектрограммой», что и у Лизы: $M_8 = 10,41\%$, $M_0 = 7,11\%$, $M_4 = 15,36\%$, $M_{10} = 0,10\%$. Неслучайно, что между двумя персонажами, которых связывает целый ряд общих тем — как, например, детоубийство, — установится двусмысленное обоюдное влечение.

2.4.3 («Связался со школьниками»). $M = 36,36\%$. Глава почти «монографична», с преобладанием физического насилия ($M_4 = 26,31\%$), а также чувства тревоги, горя ($M_0 = 7,29\%$) и глумления ($M_2 = 2,45\%$). Здесь впервые представлен Илюша, который с самого начала причастен темам б и т в ы и с т р а д а н и я: это соединение маленького богатыря и ребенка-мученика сделает образ Илюши знаковым и парадигматичным, достойным подражания, как и объяснит Алеша своим маленьким ученикам в последней главе²⁵.

1.2.8 («Скандал»). $M = 36,98\%$. Эта глава еще «монографичнее»: доминирует поток ругательств ($M_2 = 31,01\%$), обращенный Федором Павловичем к своим сотрапезникам в монастыре. Глава содержит около 1/4 всей темы M_2 в романе и как нельзя лучше характеризует природу Карамазова-отца.

Разнородный состав M также явствует из микроанализа определенной текстовой секции. Сравним, например, книгу 7, преимущественно посвященную Алеше, с книгой 8, где речь идет о Митиных приключениях. В книге 7, при $\mu M = 8,4\%$, тема мизантропии почти всецело занята M_0 ($\mu M_0 = 7,24\%$), то есть тревогой Алешы, за исключением глумления Грушеньки над Ракиным в 3.7.3. Высокий относительный процент M_0 обнаруживается в начале книги 8, но затем M_0 падает по мере возрастания M_8 (пик в 3.8.4). См. график:

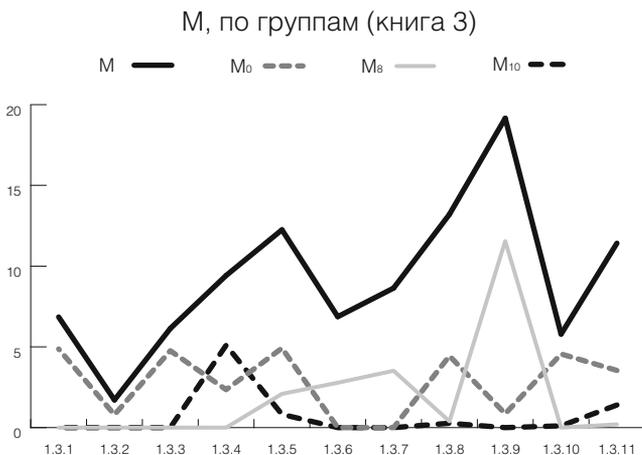


Чтобы с большей точностью определить одновременное развитие двух форм мизантропии [(M_0d+M_0nd) и (M_8d+M_8nd)] в этих главах, нам может пригодиться

25 См.: Карли Г. Достоевский-экономист. Ч. 2. Гл. «Война» // Наст. изд. С. 122.

простой коэффициент корреляции r (коэффициент Пирсона), то есть показатель степени зависимости переменных или корреляционной связи между двумя рядами вариантов. Коэффициент корреляции r , определяющий степень, в которой значения двух переменных «пропорциональны» друг другу, впервые применяется к текстовому анализу самим Ярхо: «При $r > 0,5$ связь можно считать безусловно существующей, при $r > 0,75$ мы можем говорить о тесной связи. Связи ниже $\pm 0,5$ в литературном материале я считаю практически равными 0, ибо это означает, что не связанности больше, чем связанности»²⁶. В интервале 3.8.1–3.8.4, то есть до кульминационного момента, когда Дмитрий чуть не становится «отцеубивцем», корреляция между M_0 и M_8 явно обратная: $r = -0,73$. По мере созревания у Дмитрия склонности к убийству снижается M_0 , то есть неопределенная тревога (являющаяся, надо полагать, показателем инстинктивного сопротивления злу): таким образом, статистически определены «бог» и «дьявол» — сверхестественные противники, которые «борются» в сердце героя. После отказа от отцеубийства общий показатель M остается высоким, но его состав становится более разнородным.

Другой отрезок, где коэффициент r оказывается несомненно полезным, — это интервал 1.3.1–1.3.11. См. график:



²⁶ Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения: Избранные труды по теории литературы. М.: 2006. С. 221.

На первый взгляд, казалось бы, найти значительную корреляцию между M_0 , M_8 и M_{10} непросто (это три наиболее «весомых» варианта M в данном интервале), но, если разделить книгу 3 по группам тематически однородных глав, то динамика M становится ясной и статистически идентифицируемой: в отрезке 1.3.3–1.3.5 («Исповедь горячего сердца»), целиком состоящем из излияний Дмитрия перед братом, между M_0 и M_{10} существует почти совершенная обратная (отрицательная) корреляция ($r = -0,98$); затем следует отрезок 1.3.6–1.3.7, в котором главное место уделено Смердякову; вслед за этим начинается новая секция, сосредоточенная — хотя и в меньшей степени, чем первая — на Мите, и где отрицательная корреляция продолжается ($r = -0,96$), но частично с новыми членами: теперь M_0 взаимодействует с M_8 . Вот смысл обширного фрагмента, посвященного в 1.3.4 суицидальным наклонностям, которые испытал Митя сразу после первой встречи с Лизой: психическая деградация Мити рождается от контраста между неопределенной тревогой (предполагаемым показателем инстинктивного сопротивления злу) и изначальной склонностью к самоубийству, и только потом это последнее уступит место собственно отцеубийственному влечению.

5. Тема денег и тема агрессии (мизантропии)

Наивным упрощением было бы считать, что величины M и D должны находиться в постоянной корреляции по ходу всего сюжета. Ясно, что семантически разнородное выражение мизантропических чувств M будет вступать в тесную корреляцию с темой денег D лишь на определенных отрезках, являющихся тем не менее достаточно значительными и длинными, чтобы распространять эту корреляцию на поэтику всего произведения.

Некоторые персонажи явно не сопоставляют эти две темы (см. пример Алеши). Иначе ведет себя старец Зосима, который уделяет немало внимания темам денег и мизантропии в трех главах своих поучений (книга 6). В этих главах $\mu M = 4,82\%$ и $\mu D = 4,15\%$, при том что Зосима устанавливает почти совершенную отрицательную корреляцию между двумя темами: $r = -0,96$. Инверсия rDM наглядно демонстрирует заклятие денег, старец осуществляет радикальное обезвреживание их разрушительной силы, а Алеша продолжает его в более индифферентной форме.

Чтобы найти положительную rDM , следует обратиться к фигуре Дмитрия, корреляция которого по всему

роману — уже значительное $r = 0,49$, то есть на одну сотую меньше порога, установленного отнюдь не снисходительным Ярхо, чтобы однозначно решить, что связь есть. Однако если учитывать, что во многих главах Дмитрий не действует, корреляция по всему роману может ввести исследователя в заблуждение: кажется более уместным сосредоточиться на более значимом отрезке — интервале 3.8.1–3.9.9. Но здесь нас ожидает первое разочарование: $r(Dd+Dnd)(Md+Mnd) = 0,21$, хотя в этой секции корреляция «деньги — насилие» легко ощутима даже эмпирически.

Корреляция $(Dd+Dnd)(Md+Mnd)$
в главах 3.8.1–3.9.9

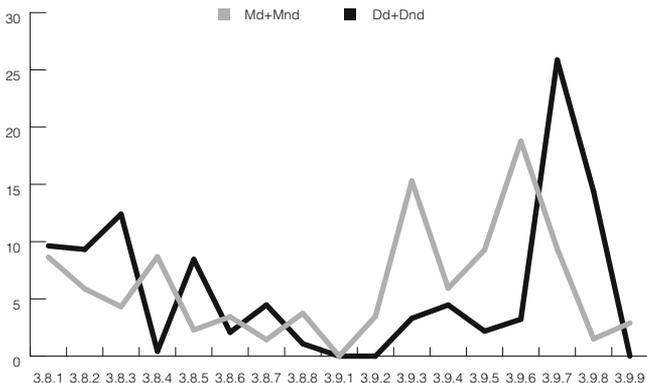


График сам по себе подсказывает возможное решение проблемы: если установить корреляцию $r(Dd+Dnd)(Md+Mnd)$, то есть M с D следующей главы, мы получим вполне удовлетворительный $r = 0,76$. Это подтверждает наше первоначальное впечатление о том, что у Дмитрия жажда денег — не причина разрушительных наклонностей, а, наоборот, их наглядное следствие, возросшее на самой почве мизантропии, но описанное всегда одной главой позже.

То же самое повторяется в той части романа, где D и M начинают коррелировать, когда в действие вступает Иван, — речь идет о главах 4.11.5–4.11.10 (ряд столкновений Ивана с Алешей, со Смердяковым и с дьяволом, самоубийство Смердякова, новая встреча с Алешей и окончательное расстройство ума). Здесь корреляция $(Mi+Mni)$ с $(Di+Dni)$ следующей главы дает $r = 0,78$. Что же касается Смердякова, то в его случае корреляция DM в 4.11.5–4.11.10 устанавливается внутри каждой главы, а не между главами (как у Ивана),

и при этом она весьма высока: $r = 0,85$. Смердяков буквально поверил в те нигилистические теории, которые у Ивана являлись лишь проявлением психического расстройства: значит, он думает и чувствует, что убивает исключительно ради денег. Тем не менее и для него действует общий закон энтропии: для персонажа, совершившего «квалифицированный поступок» убийства²⁷, деньги и сама жизнь теряют всякую ценность. Отсюда отдача денег и самоубийство.

Парадоксальным образом среди членов семейства Карамазовых именно Федору Павловичу свойственна столь же прямая и одновременная корреляция между темой денег и темой мизантропии, что и Смердякову. В данном случае представляется невозможным полностью проследить эволюцию сочетания DM по какому-либо достаточно длинному отрезку романа: Карамазов-отец зачастую не действует самостоятельно, о нем больше говорят другие, а фрагменты, где его фигура выдвигается на первый план (1.2.8, 1.3.8), не превосходят границ одной главы. Это означает, что нам остается лишь одно: подобрать все главы, где нужные нам показатели вообще имеются, считать ряд M (точнее, сумму $Mf+Mnf$) за основной, а $(Df+Dnf)$ — за переменный. Варианты основного ряда располагаются в порядке возрастания, а варианты переменного ряда следуют за этим порядком, чтобы можно было проследить их соотношение. Из полученного ряда мы удалили 1.2.8 (вышеупомянутая «монографическая» и аномальная глава в монастыре) и 3.9.2 (при уже убитом Федоре Павловиче). Между двенадцатью остальными главами корреляция DM составляет $r = 0,72$. При разбивке M по составляющим находим, что более тесным образом у Карамазова-отца корреляция с D касается M_8 ($r = 0,84$) и M_2 ($r = 0,63$). Тем не менее M_8 количественно слишком ничтожен, чтобы быть действительно релевантным: зато корреляция DM_2 подтверждает то, на что мы уже намекнули, говоря о главе 1.2.3: «мизантропическая аура» Федора Павловича целиком состоит из вербализованной обиды и глумления.

Таким же образом (располагая M в порядке возрастания) можно проанализировать корреляцию DM у других важных персонажей, появляющихся, однако, только спорадически, например у пары женщин-соперниц.

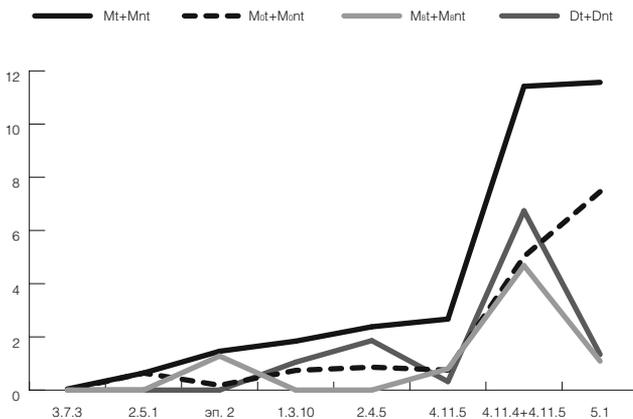
В случае Грушеньки ряд при возрастающих значениях $(Mg+Mng)$ и соответствующих им значениях $(Dg+Dng)$ выглядит так, что, если мы не будем учитывать главы,

27 Определение Л. В. Пумпянского. См. выше: с. 68, сноски 124.

в которых $(Dg+Dng) = 0$, и главу 3.9.8 (где Грушенька подвергается предварительному допросу в Мокром о происхождении Митиных денег, что неестественным образом усиливает соответствующий показатель), в остальной группе глав $r = 0,93$. Эта удивительно строгая корреляция целиком зависит от M_0 (точнее, от (M_0g+M_0ng)), и на этот раз $r = 0,93$, в то время как другие категории $(Mg+Mng)$ не вступают в значимую корреляцию с $(Dg+Dng)$. Как сказала однажды сама Грушенька, для нее страсть к деньгам является непосредственной сублимацией юношеской обиды и возникающего при этом комплекса вины²⁸. Именно поэтому динамика величины D у Грушеньки близко соответствует именно колебаниям M_0 без ощутимого участия других форм мизантропии: как бы жестоко — используя деньги или половое влечение — ни вела она себя с другими людьми, Грушенька казнит только саму себя.

В случае Катерины Ивановны корреляция $(Dt+Dnt)$ $(Mt+Mnt)$ четко выражена ($r = 0,72$), но при этом и столь же явно разбалансирована, ибо без главы 2.5.1 (которая является еще и главой с наивысшими процентными показателями) $r = 0,97$:

Корреляция $(Mt+Mnt)(Dt+Dnt)$



Если не учитывать указанную выше главу, и именно Катя становится тем персонажем, у которого корреляция DM ближе всего к абсолютному тождеству. Но каково в данном контексте значение главы

²⁸ 14; 320. К такому же заключению приходит прокурор во время процесса. См.: 14; 132.

2.5.1 и ее очевидной аномалии? Ответить на этот вопрос можно, разбив M на главные составные M_0 и M_8 . По всему ряду (кроме аномальной главы) они находятся в теснейшей корреляции ($rM_0tM_8t = 0,92$), но именно в самой мизантропически «весомой» главе 5.1 они разбегаются в противоположные стороны: M_0 резко устремляется вверх, а M_8 столь же радикально падает. В аномальной главе M_8 продолжает следовать за параболой денежной темы: по всей группе глав $rDtM_8t = 0,88$.

Катина мизантропия, в отличие от Грушенькиной, по всем параметрам развивается одновременно с денежной темой, что делает данного персонажа гораздо более «роковым» для Мити. Подобная траектория несвойственна только главе 5.1, где составные M «расслаиваются» и M_8 следует за D по его убывающей параболе, в то время как M_0 со своим возрастающим грузом тревоги резко отходит от денежной кривой и подготавливает примирение с Митей в следующей главе.

Методом расположения M в порядке возрастания можно также проверить уже полученные результаты по Смердякову, но уже учитывая все главы с его участием. Подсчеты в общем подтверждают проведенный нами выше анализ отрезка 4.11.5–4.11.10. Общая корреляция DM у него достаточно высокая: $r(Dv+Dnw)(Mv+Mnw) = 0,71$. По ходу кривых разных вариантов M можно также уточнить, какие именно доминирующие склонности скрепляют две общие серии. M_8 тесным образом объединяет D с M : $r(Dv+Dnw)(M_8v+M_8nw) = 0,86$. Другие варианты M коннексивно иррелевантны. Впрочем, вряд ли кого-нибудь удивит утверждение, что для Смердякова тяга к убийству и тяга к деньгам тесно связаны между собой.

6. Итоги

К каким же результатам привели наши предварительные поиски в области между статистикой и поэтикой? Несмотря на нашу далекую от совершенства терминологию и на элементарность наших статистических методов, оказалось возможным:

- 1) превратить семантические поля в переменные, которые образуют легко исследуемые кривые;
- 2) установить определенную и четкую шкалу большей или меньшей процентной «нормативности» любого семантического поля и проследить развитие сюжета в соответствии с вариациями данного семантического поля по шкале нормативности;

3) проверить степень и вид корреляции между разными семантическими полями (либо между разновидностями одного поля) в текстовом отрезке или по отношению к определенному персонажу. В последнем случае, если персонаж не играет релевантной роли в достаточно высоком числе смежных глав (или других текстовых единиц), можно сгруппировать релевантные главы, расположить переменные одного ряда в порядке прибывающих весов, исследовав затем, как ведут себя другие показатели.

Попытка перенести объективную доказательность подобных операций (в свою очередь, основанных на целом ряде постулатов и условных определений) в плоскость герменевтического анализа представляется нам проявлением излишнего позитивизма: следуя меткой метафоре Д. С. Лихачева²⁹, это было бы недопустимой попыткой налагать приемы «жесткой периферии литературоведения» на его куда более гибкую (и диалектически неоднозначную, не поддающуюся точному анализу) сердцевину, ведь, по М. Л. Гаспарову, «здесь описывается создание арсенала (...), а не те войны, которые велись оружием из этого арсенала»³⁰. И все-таки удачи тем, кто отправится на герменевтическую войну, не забыв прихватить с собой хотя бы самое скромное статистическое оружие!

29 Лихачев Д. С. Литература — реальность — литература. Л.: 1984. С. 250.

30 Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха: Метрика; Ритмика; Рифма; Строрфика. М.: 1984. С. 4.

FALANSTER.SU



КНИЖНЫЙ МАГАЗИН

ФАЛАНСТЕР

★ обмен денег на книги ★

www.falanster.su

тел. +7 495 749 5721

falanster@mail.ru

без перерыва, без выходных
с 11-00 до 20-00

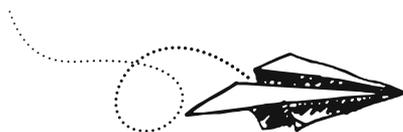
614000

город пермь

улица луначарского, 51а

ПИОТРОВСКИЙ

НЕЗАВИСИМЫЙ КНИЖНЫЙ МАГАЗИН



ВСЕ СВОБОДНЫ

Книжный магазин. DIY-bookstore

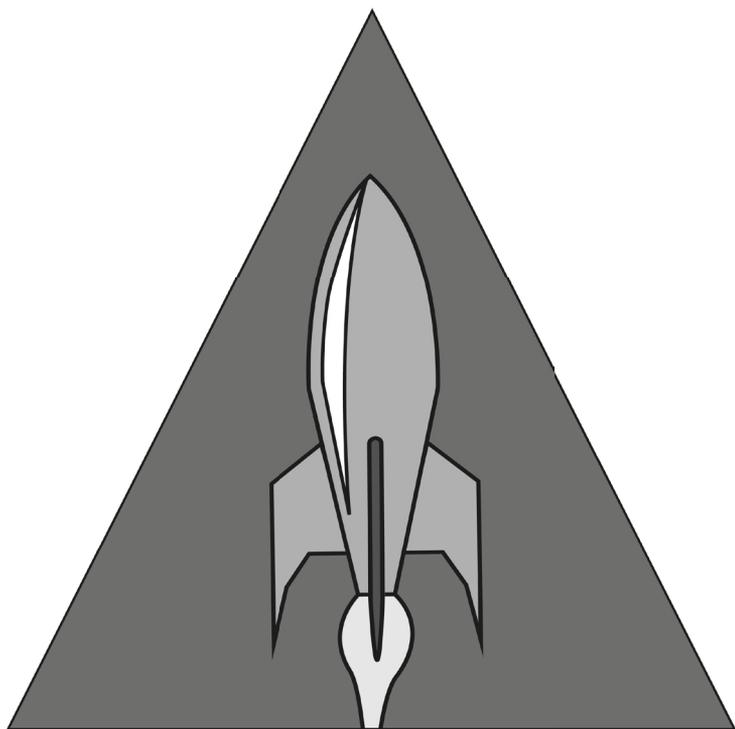
Книжный магазин интеллектуальной литературы
по низким ценам.

Книги независимых издательств, современная
проза, поэзия и нон-фикшн
(философия, социология, политология, история, искусство).

Чай: улуны, пуэры, мате, посуда и чаепития.
Встречи, кинопоказы, дискуссии.

Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 28,
второй двор (код на воротах 489)
тел. +7 911 977 40 47

<http://vse-svobodny.com> vsesvobodny@gmail.com



**КНИЖНЫЙ МАГАЗИН
ЦИОЛКОВСКИЙ**

Гuido Карпи
Достоевский-экономист.
Очерки по социологии литературы

Редактор *И. Аксенов*
Корректор *М. Нагришко*

ООО Фаланстер
Малый Гнездниковский пер., 12/27
тел. +7 495 749 5721

В оформлении обложки использована работа
Фарела Далримпла

Подписано в печать 23.04.2012
Формат 84 x 108/32
Печать офсетная
Тираж 1000 экз.
Заказ № nnnn

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Дом печати — ВЯТКА» в полном соответствии
с качеством предоставленных материалов
610033, г. Киров, ул. Московская, 122
Факс: (8332) 53-53-80, 62-10-36
<http://gipp.kirov.ru>
e-mail: order@gipp.kirov.ru